

И.А.
БУНИН

И.А. БУНИН

собрание
сочинений

в

девяти
томах

под общей редакцией
А.С. мясникова,
Б.С. рюрикова,
А.Т. твардовского



■
издательство
художественная
литература
москва

69
И. А. БУНИН

собрание
сочинений

том
первый

СТИХОТВОРЕНИЯ
1886-1917

152568
87214



БИБЛИОТЕКА КГПИ

Инд. № 87213

195 г.

издательство
художественная
литература
1965

**P1
Б91**

**Вступительная статья
А. Т. ТВАРДОВСКОГО**

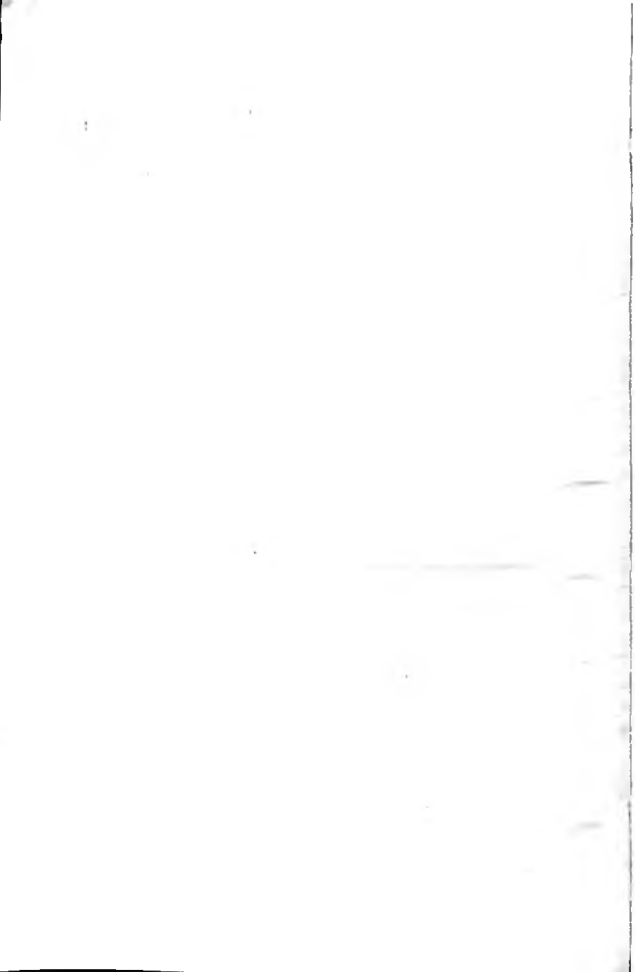
**Подготовка текста
А. К. БАБОРЕКО**

**Примечания
О. Н. МИХАЙЛОВА,
А. К. БАБОРЕКО**

**Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА**



П. А. БУНИН
1914



От издательства

В настоящее Собрание сочинений И. А. Бунина входит все наиболее значительное и художественно совершенное из литературного наследия писателя.

Редакцией учтены авторские поправки И. А. Бунина в тексте его произведений для собрания сочинений, выпущенного в издательстве «Петрополис» (Берлин) в 1934—1936 годах, а также все известные советским исследователям изменения и уточнения, сделанные автором в последующие годы.

Собрание сочинений строится по жанрово-хронологическому принципу.

Первый том составляют стихотворения дооктябрьского периода (1886—1917).

Второй—седьмой тома—произведения художественной прозы (1890—1952).

Восьмой том—стихотворения 1918—1953 годов и переводы.

Девятый том—воспоминания, литературно-критические статьи и заметки, а также дневниковые записи И. А. Бунина.



О БУНИНЕ

1

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знаменем литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской Академии наук, в глазах передовых читателей, само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем Вторым решения академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году,— акция, носившая, конечно, двусмысленно тенденциозный, политический характер,— художественная ценность творений Бунина была там лишь поводом,— естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы впу-трилитературных толков,— при появлении в 1910 году его

повести «Деревня». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в бунинской биографии случая. Отсюда еще далеко было до того, что называется славой писателя, подразумевал не полуполегандарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина — Л. Андреева или А. Куприна.

Бунину только теперь обретаешь у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкий дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее у нас несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И. А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров — цифра космическая в сравнении с зарубежными тиражами бунинских изданий — давно разошлось. Кроме того, выходили одитомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе — их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслящимся ему поправкам ею святынь культуры и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключающей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авторам, некогда отвергавшимся от нее и даже ропщавшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел значительного круга своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику сам он неистово отвергал. Обожаемый Буниным

Чехов, со свойственной ему сдержанностью, но очень благосклонно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунина пользовался со стороны М. Горького. М. Горькому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, постоянно советовал молодым писателям учиться у него. Он по-человечески очень любил Бунина, хотя и знал за ним «барскую неврастенку» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда пужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, полное бережливой нежности и восхищения — вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза — для «Летописи» и для меня — праздник, — писал ему Горький в 1916 году. — Это не пустое слово. Я Вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы, может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное... Вы для меня — великий порт, первый порт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет, так сказать, широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным.

Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности.

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты — то настоящее, чем люди живы и что даст незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко — поцелую верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет после того, как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, сделает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу

разных обстоятельств (один из многих примеров — письма в Горькому...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художническому опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкупе со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его известных пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, прежде всего о Ю. Казакове, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывалось, пожалуй, в наиболее очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихопосова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина, которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы — реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

2

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы определило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно

отдельно, вне ряда классических мастеров русской литературы конца XIX — первой половины XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все, помнившие его в 20-х, в 30-х годах по книжкам собрания сочинений в приложении к дореволюционной «Ниве», даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что могло вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только временная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подвернулось ясной забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины, еще издавелека, то более, то менее внятно, подслазывается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции, — здесь могли быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность — пути и этапы его развития более значительны, его трагедия являла собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения», «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», конечно, поверхностны и неполны, но не были неверными по существу. Эти мотивы его поэзии очень органичны и никак не являлись данью литератур-

ной моде. Многими литературными современниками молодого Бунина они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Это внезапно ожившая элегичность», — писал Короленко в 1904 году, — нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего — мы уже имели ее так много и в таких сильных образах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успело родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это пышнее запыленное?».

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особенность, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» бунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорева живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический по существу период прожигания и проматывания помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хороших, период афер, прожектов и малоуспешных попыток переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты закатилось, счастье золотое!», не только не вызывает в сыне осуждения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания: «Не судья тебе я за грехи бывшего...» О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода, — пишет Бунин в своих автобиографических заметках, — давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого

века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает, — это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, па старомодный лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и — захолустный степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависяющие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети еще при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дожде крышей, но какая их ждет судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народнического толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Поэт с юности живет в мире сладчайших воспоминаний — и своих воспоминаний детства, еще осененного «старыми липами», еще лелеемого остатками бывшего помещичьего довольтва, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольтве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах...»

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворья этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князь во князьях» — Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остаткий лесок, землю, а то и саму усадьбу. Феноменальная память писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представлялись молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом отношении, сколько в смысле избегания духовного убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не «под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в мещанских, поповских и мелкочиновничьих домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на говор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого говора. Молоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзываясь о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворения И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый, «дворянский» реализм декадентствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда, до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до явных крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов под влиянием молодости: «Прошел я не очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготею больше всего к социал-демократам, хотя сторонюсь всякой партийности»¹.

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы с М. Горьким. Самое верное здесь — слова об отстранении от «всякой партийности».

¹ Здесь и ниже газетные интервью И. А. Бунина цитируются по подготовленной для «Нового мира» публикации А. Нинова.

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «...Я просто не мог слушать... когда мне проповедывали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен привести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному... в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику...»

Несомненно, что «своего батуринского Клима» Бунин любит, готов всячески помочь ему и даже защитить его — все это не расходится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе».

Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуринский Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «сбирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен исказить реальную действительность в соответствии со своими более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим художеством, забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора. Это живые «батуринские» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты». Но они же — во всем своем единичном «батуринском» обличье — теперь уже не только «батуринские» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего «Батурина», и не только одного Подстепья, но всей русской деревни пачала века.

Когда Анисья Миняева («Веселый двор»), покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся, наконец, на «место» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та,

живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищенные мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («Горох еще и не наливался. Кабы налился, наелась бы досыта — и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей пищи, «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание» таких страниц: в них все так плотно, так слитно и неразделимо, что нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в дореволюционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадельной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде — о краюхе хлеба, луковнице, картошках с солью), униженных или напуганных властью или капиталом. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнавшим соблазны отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недобрым, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить, девкам жамки косить...» — Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» — один из таких ненавистных Бунину людей. Примечательно, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы», где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия — «проталерията», а также назвать все это вместе «кляповатой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждешкой», забытых, замордованных, по сохранивших свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, неприязнительность. Он не унижает их снисходительным — сверху вниз — взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски безмысленностью их поплитий — он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзажных» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми» и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть покамест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или людьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хорошей стороны, забывал обо всем дурном и жестоким, — близких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости восьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или смешить ему рубаху. Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За плеть-то годов воть съест. А то пожил бы»), опять же независимо от воли художника, предъявляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, оп вызывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне, в пору разорения и утраты благообразия деревенской жизни, равно — и мужику и помещику — дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» — мы восприни-

маем и запомнили его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги — я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди людей деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и перемен — в канун и в первые годы коллективизации, разъезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благостных Аверкиев в должностях колхозов, скотников, почтовых сторожей; безответных колхозных Однодворок, наделенных непостижимой «двужилностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников Серых и Егоров Мишневых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходов, собраний, толчен и горлодерства па людях; видел «древних деда» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; видел, конечно, и тех людей новой деревни — агитаторов, агитаторов и вожakov из самой крестьянской массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть.

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые нотации в крестьянских голосах, которые уже не только не оставляли сомнений относительно противоположных настроений, но были явными признаками предгрозового времени. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знающие» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым па похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные петухи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знаменем.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» — повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909—1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означала наивысшую

степень сближения бунинской музыки с современной действительностью и ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине. «Кто бы мог подумать,— писал В. Воровский,— что утонченный поэт, увлекавшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «ве от мира сего», по крайней мере не от большего мира наших дней,— за что, вероятно, и удостоился академических лавров,— и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправления в самой Дурповке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленного борзыми помещика Дурпово; и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казацки сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаля венмущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, какого он, при всем очевидном своеобразии его письма, держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог,— на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разногласия, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет спустя.

В «Деревне» немного героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней,— гораздо больше безымян-

пого сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, почтовых сторожей,— и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в натуре не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и крестинизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сживания со свету стариков в семьях как раз не бедных; и «уступка» жеп мужьями по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «сплюхавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю поленину ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов, в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни», стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слащавое освещение этого материала в поздненароднической литературе. Но своеобразное полемическое «антибуниновское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление буниновской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспощадности», следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободравший мужиками бык бежит у Бунина «за сценой», в изустной молве,— это слух, полутелеца той поры «деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора («Ночной разговор»).

У Вольнова же все мужицкие «художества» — дикое пьянство, избиение жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п. подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И страшная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картина погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхолаживает какой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычайностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости свособразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказала, позднее например, в «Брусках» Ф. Паиферова с их натуралистическими излишествами описаний, воспроизведения местных речений и т. п.

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы Красова, уездным чудаком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие судьбы дикой и нищей деревни — это судьбы России. «Повесть моя, — говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году, — представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадостные ее картины и подразумеваемые выводы сейчас представляются в значительной степени тогда уже подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и непримемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы, — говорит он

в 1914 году,— будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дождался 3-й, до 4-й Думы, до толков... о Саянских... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изолгавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахинев, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до двей славя Пурешкевича, Распутина, Макса Ливдера, слова Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать провидцем исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь дель уходит на газеты... И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси».

3

При всем том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них оговоренности взглядов автора, они на проверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам — любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть тому, от чего Бунин в своих высказываниях открепивался до косяка дней и чему противопоставит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности, которая незвольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий, неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности.

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!» Этой красивой копцовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы», безмолвно взирающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей буинской поэзии. Они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неурядицы и бедствия рода человеческого, и в том числе за судьбу не только «собирабельного», но и «своего батурицкого Клим». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти, — говорит Буин в «Жизни Арсеньева». — Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было, как известно, отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности — пусть своеобразно понимаемой — за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции, в годы реакции после революции 1905 года. У Буина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Буина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Буину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ли у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя», — он как бы не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегавшей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила...

Все как было. Только жизнь прошла...

Правда, поэзия Бунина в высшей степени присущее постоянное стремление найти в мире «сочетание прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящесть, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет...

В напряженном самовнушении этого чувства слитности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохранившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью. Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» герой со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей — тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкобюрократической карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершению любви предпочтительнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» негладившей встречи или законного брака после первоначальной запретной близости. Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости способной на верность и нежность, Букин замечает только у простых людей, — например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть ничем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод, вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме — в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость — этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Букину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена, в конце концов, либо на пошлость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Букину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей — перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безымянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот наиболее известный из букинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и афемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девица Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасты гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Букина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удив-

тельной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматики любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме своеобразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Букин в «Митинкой любви», «Деле корнета Елагина», в книге «Темные аллеи» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Букина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обостривший и без того «обостренное чувство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец, одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением копцов с копцами, не всегда могут себе позволить роскошь отвлеченных размышлений о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадёжности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философические углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных — больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, небольшое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертны, все там будем, вообще не выпускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время. Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззабот-

ность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете, — позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупой отпущенной на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждено народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «долеики», для которых он честно потрудились на земле и выполнил свой долг перед ними. Наедине с самим собой — понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества — с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостки, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и необязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти, подобно дорогам и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напряженных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В пагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце... И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший,

печный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь:

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце, но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца — образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, прощания.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных в целом произведений или страниц, ради которых можно припять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то при всем их мастерстве, отслапности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особый острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал и усердно перечитывал в молодости по его «ливскому» собранию сочинений, по все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются некоторой «обезжиренностью» или дистиллированностью, — это уже не та родниковая вода, выражался словами Толстого, от которой зубы ломит. И, в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни остановились» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан с некоторыми изменениями и в «Арсеньеве», и ему же посвящено стихотворение «Ландыш»...

Но это еще не предмет для упрека художнику — могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправлял их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами.

«Поправок» и купюр в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в 30-х годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы только стилистические, исправления подсказаны очевидным стремлением вытравить в прошлом Бунинские элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина» с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи, настолько прижимающие талант Бунина, что славное литературное имя его обливает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в такие сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книге «Темные аллеи» и других рассказах последних лет. И надо всем этим — как застоявшийся дым — тоска безнадежная, болезненное переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной части эмиграции, литератор, пишущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встре-

чах с Бунинным. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть...» Со снисходительной прощайной снисхождением и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению,— пишет Набоков,— я не терпелу ресторанов, водочки, закусок, музычки — и задушевных бесед... К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая, как и положено эмигранту, незаурядные способности к имитации: «...в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на ставню, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отрывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность потонул старый писатель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисуящемуся тем, что, мол, занялся энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют большой предмет его честолюбия, чем литература,— этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и рекам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени, по родной речи и ее живому народному звучанию.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоразительным — писатель сам углубил разрыв с отчизной. В своих «Воспоминаниях», где, в частности, представляется целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами, и не нас критикует, нас просто нет,— и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопыхательское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это — крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолodu и до конца дней

жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликавшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всепародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может давать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него, — нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который остается для нас выдающимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобщившим к достояниям нашей национальной культуры свою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возражение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно, что вычеркивать, например, в «Воскресении» Толстого цитаты из Евангелия, приводимые в конце второй книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов «Окаянные дни», где язык искусства, выскателный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения, — эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбрать: либо, отвергая Бунина — реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скачывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достоинство нашей национальной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгонистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

4

Бунин родился, вырос и определился как художническая натура «в том плодородном Подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым» («Автобиографические заметки»).

У него не было возможности литься в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исторических особенностей, как, например, у Маммина-Сибиряка с его горнорудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее непритязательной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в натуре и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной.

Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполнял его дорогими и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему — он уже был широко открыт и утверждён в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанным этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великое мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утопиться до эпитонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о времени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга Бунина прежде всего в развитии им и доведении до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконченности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преобразенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова, одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые два — Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях плетет читателя новыми средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он приковывает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей

жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта несколько не унижает нас, как на экзамене, — она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда — наше помышляющее самооценку чувство равенства с художником и чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и это нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой повизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «старинной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может.

Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений, на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесполо-

ротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящести, по крайней мере, хоть этой радости жизни. Отсюда — особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей черноземной грязью весенне-осенних и белой, тучной пылью летних степных дорог, с опрашками, заростками дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракитами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рощицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, пятапутый над вчерашними лужидками, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебриво-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запах мокрой листвы и лежащих яблок, или в дымную, крутящуюся почную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками, — все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, щемлящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке, ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежный игольчатый зеленый весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распустившейся при майском холоде; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений — значит, все это доходит до нас не впервые и вы-

зывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы. Он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения, сообщаящий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...

По части красок, звуков и запахов, «всего того», — выражаясь словами Бунина, — чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунина вспоминал в своей псковской автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пылел, обонял запах ландыша или старой книги...» Поистине «внешние чувства» как средства проникновения постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художнических целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек, — какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд мещанина — арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то», — именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил, — шум, поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» — это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различении, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стояло бы написать отдельно и подробно — они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», элегически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навел автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящичке письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов «меда и осенней свежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносятся старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других, — талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сева, хлеба, огородов и тому подобного, — Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи пеничков из перекап-поле, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, заграницы и далекие экзотические моря и земли — еще множество других различных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и приметность — во всех планах, от тонко-лирического до едко-саркастического, — прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе — у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в 80-х годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «посом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п.

Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёль с уточненной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Буниня это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепня, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых переходах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, обезлюдивший с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под *деревом*. — Он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые, он большой, между прочим, знаток лошадей и их стати, красоте, королю часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам, особо подкупающий характер невидуманности, подлинности, неуязвимой ценности художественного свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, попятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинками и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве — никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре, — лес — терем вдовы Осени перед зимой, — с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), по ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры на-

отроемием красивого уявления и угасания природы, то, как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатлелние какой-то мертвенности, попросту не берет за живое...

Непреходящая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описаниями природы. Чаще всего только по возвращении с охоты — на ночлег — или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие филологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был таким уж занятым охотником. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скатет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоялый двор — словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубоко, пристально, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучвеющего, набирающего силу сельского торговца, и попа с причтом, и помещика, скупщика или арендатора, шпыряющего по деревням в чалмине «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера, из еще бо-

лее оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жилье, еду и одежду, ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру — у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основой музыке, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы — это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малоискушенных — реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников — в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи, или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой — «Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Григорович с Некрасовым прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью продали совершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.

Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутасть, разворачивание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом рассказе и т. д. — где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по

письму и языку повествования, амусыкальняую, будто с кочки па кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться па той отчетливо выраженной у Буннина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера — па особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит па слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная оснастка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию — будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы — в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Буннина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка буннинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека па индивидуальные судьбы, — это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра, — главное в нем — эта негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать, этот скорбный и торжественно-строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его

тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта — «Деревня». Она уже основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, — краткой мужицкой родословной взят строгий и жесткий ритм: «Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барины Дурново...» И вся повесть идет в энергическом, первом, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую — свою особую у того и другого — музыку их прозаической речи?

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Портитческое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении: «...портический язык (в смысле стихотворный. — А. Т.) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «писанном» собрании сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных

родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немалые по канонам «высокой поэзии», прозаические подробности, как газы, подставляемые под капелю с потолка в запущенном барском доме с дырчатой крышей («Дворецкий») или «кочья шерсти и помет» на месте волчьих свадеб в зимней степи («Сапсан»).

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества — из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в равнем реблчестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от всяческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкупе и как бы не видя разницы между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний, например:

Как все спокойно и как все открыто...

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».

Или белые стихи, ритмическим строем своим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегают впотьмах
И узорною пеною светится,
И лазурным синищем реет у скал на песке...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сошных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток...

Можно было бы еще указать на такие неожиданные у Бунина ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла...»), как «Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» или «Мужичок» («Ельничком, березиничком...»), «Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной

внутреннего достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убиение читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут причем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одних языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России,— говорил он в 1911 году,— я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной направленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» — Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе целым созвездием писателей — уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания — даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы ископаемыми присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно стру-

дом расстающиеся с привычными с детства словечками и речениями родных мест и с непривычно относящиеся к замене их новыми, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенностью речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, пересыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых шершавостей и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе, мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к вывелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той передко удручающей безязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким умением и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» — всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишённого теплой крови живого народного языка.

«Обломный ливень» — непривычному слуху страшен этот ритм, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.

«Листья муругия» для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски — какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубиков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же — редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «гладки» совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «смерзшиеся гладки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово — такое звучное, весомое и образное — без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Заявляю, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком по-русски — *дубок*, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок — это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, тандемам и барам океанского парохода — по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... подводной утробе парохода... где глухо *гоготали* исповинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени...».

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топки углем... А слово то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плаванья. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунину нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки — ни одной полой или провисающей — каждая, как струна, — за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русскому, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен *пройти* Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, умению отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело, — к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая

критикой, отчасти — примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстые романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к началу до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и чтобы добраться до полнотенной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой приблизительностью и неряшливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке...

Бунин — по времени последний из классиков русской литературы, чей опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Пьер Бунина — ближайший к нам по времени пример подвижнической изыскательности художника, благородной сжатости русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкоотрапчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунина иногда бывает чрезмерно густ, как «неразведанный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобранности, экономичности письма — главная наша беда сегодня.

Нынешнее собрание сочинений И. А. Бунина, наиболее полное из всех выходивших в свет до сих пор, надо полагать, не залежится на складах подписных изданий и полках магазинов и библиотек. Конечно, и оно не может рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многопланова, пестра, неоднородна. Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвращения от каждодневных забот и обязанностей, идущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтением, — для таких читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться,

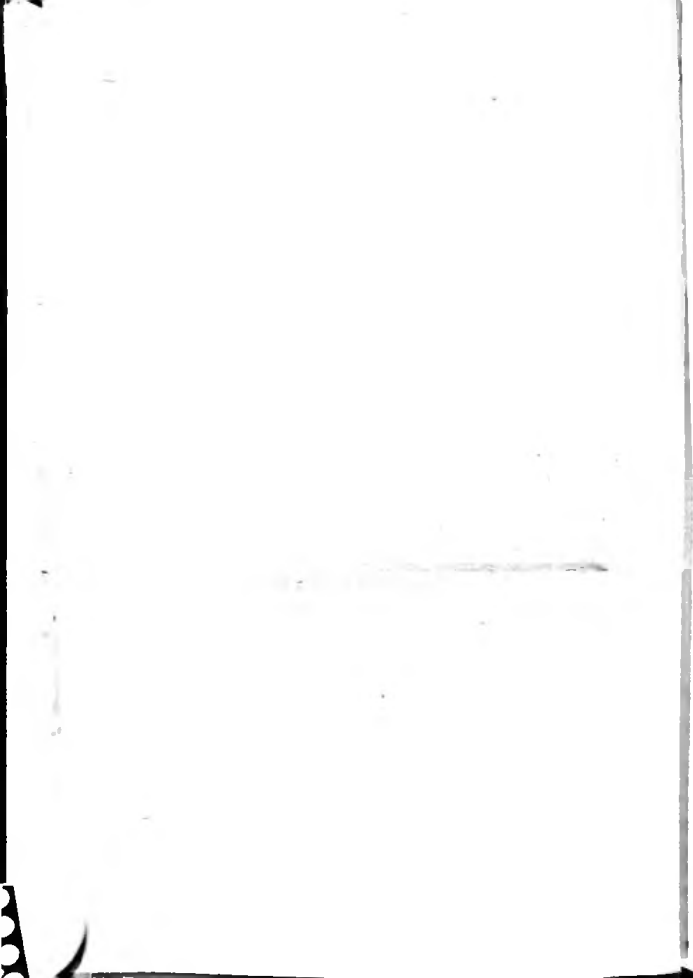
что Бунина, конечно, не всегда обладал той магней доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искущенного, и в самой малой степени подготовленного читателя без привлечения примитивных средств занимательности.

Я не хотел бы здесь быть попятным так, будто я противник вообще занимательности в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страстных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпапова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

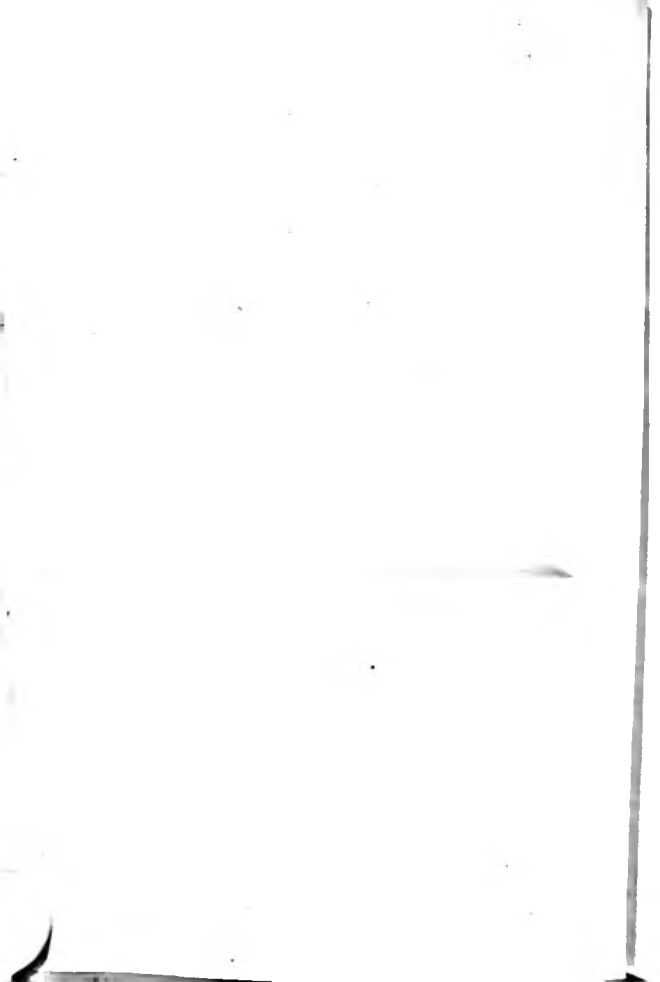
Бунин — художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построенными подобиями жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малоозначительных, будничных и заурядных, — такой художник вполне рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере поначалу, со стороны читателя.

Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имел в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.

А. ТВАРДОВСКИЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ



• • •

Шире, грудь, распахнись для приятия
Чувств весенних — минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятии,
Чтоб я слился с красою твоей!

Ты, высокое небо, далекое,
Беспредельный простор голубой!
Ты, зеленое поле широкое!
Только к вам я стремлюся душой!

28 марта 1886

ПОЭТ

Поэт печальный и суровый,
Бедняк, задавленный вуждой,
Напрасно ищет оковы
Порвать стремишься ты душой!

Напрасно хочешь ты презреньем
Свои несчастья победить
И, склонный к светлым уялеченьям,
Ты хочешь верить и любить!

Нужда не раз еще отравит
Минуты светлых дум и грез,
И позабыть мечты заставит,
И доведет до горьких слез.

Когда ж, измученный скорбями,
Забыв бесплодный, тяжкий труд,
Умрешь ты с голоду,— цветами
Могильный крест твой перевьют!

1886

ДЕРЕВЕНСКИЙ НИЩИЙ

(Первое напечатанное стихотворение)

В стороне от дороги, под дубом,
Под лучами палящими спит
В зипунишке, заштопанном грубо,
Старый нищий, седой инвалид;

Изнемог он от дальпей дороги
И прилег под межей отдохнуть...
Солнце жжет истомленные ноги,
Обнаженную шею и грудь...

Видно, слишком нужда одолела,
Видно, нигде приюта сыскать,
И судьба беспощадно велела
Со слезами по окнам стонать...

Не увидишь такого в столице:
Тут уж впрямь истомленный нуждой!
За железной решеткой в темнице
Редко виден страдалец такой.

В долгий век свой немало он сил
За тяжелой работой убил,
Но, должно быть, у края могилам
Уж не стало хватать ему сил.

Он идет из селенья в селенье,
А мольбу чуть лепечет изны,
Смерть близка уж, но много мученья
Перетерпит несчастный старик.

Он заснул... А потом со стенанием
Христа ради проси и проси...
Грустно видеть, как много страдавья
И тоски и пужды на Руси!

1886

• • •

Месяц задумчивый, полночь глубокая...
Хутор в степи одинокий...
Дремлет в молчанье равнина широкая,
Тепел ночной ветерок.
Желтые ржи, далеко озаренные,
Морем безбрежным стоят...
Ветер повеет — ови, полусонные,
Колосом спелым шуршат.
Ветер повсест — и в тучку скрывается
Полного месяца круг;
Медленно в мягкую тень погружается
Ближнее поле и луг.
Зыблется пепельный сумрак над пивами,
А над далекой межей
Свет из-за тучек бежит переливками —
Яркою, желтой полной.
И сновиденьем, волшебною сказкою
Кажется ночь, — и смущен
Ночи июльской тревожною ласкою
Сладкий предутренний сон...

1886

* * *

Как печально, как скоро померкла
На закате зоря! Погляди:
Уж за ближней межою по живую
Ничего не видать впереди.

Далеко по широкой равнине
Сумрак ночи осенней разлит;
Лишь на западе сумрачно-алом
Силуэты чуть видны ракит.

И ни звука! И сердце томится,
Непонятною грустью полно...
Оттого ль, что ночлег мой далеко,
Оттого ли, что в поле темно?

Оттого ли, что близкая осень
Вест чем-то знакомым, родным —
Молчаливою грустью деревни
И безлюдьем степным?

1886

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ

В блеске огней, за зеркальными стеклами,
Пышно цветут дорогие цветы,
Нежны и сладки их тонкие запахи,
Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,
Их привезли из-за синих морей;
Их не пугают метели холодные,
Бурные грозы и свежесть ночей...

Есть на полях моей родины скромные
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой,
Видят они не огни, а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.

Всё от них красотой стыдливою,
Сердцу и взору родные они
И говорят про давно позабытые
Светлые дни.

1887

НА ПРУДЕ

Ясным утром на тихом пруде
Резво ласточки рсют кругом,
Опускаются к самой воде,
Чуть касаются влаги крылом.

На лету они звонко поют,
А вокруг зеленеют луга,
И стоит, словно зеркало, пруд,
Отражая свои берега.

И, как в зеркале, меж тростников,
С берегов опрокинулся лес,
И уходит узор облаков
В глубину отраженных небес.

Облака там нежней и белей,
Глубина — бесконечна, светла...
И доносится мерно с полей
Над водой тихий звон из села.

1887

• • •

В темнеющих полях, как в безграничном море,
Померк и потонул зари печальный свет —
И мягко мрак ночной плывет в степном просторе
Немой заре послед.

Лить суслики во ржи скликаются свистками,
Иль по меже тушкан, таинственно, как дух,
Несется быстрыми, пелышными прыжками
И пропадает вдруг...

1887

• • •

Серп луны под тучкой длинной
Льет полночный слабый свет.
Над безмолвною долиной —
Темной церкви силуэт.

Серп луны за тучкой тает, —
Проплывал, гаснет он.
С колокольни долетает,
Замирая, сонный звон.

Серп луны в просветы тучи
С грустью тихою глядит,
Под ветвями ив плакучих
Тускло воду золотит.

И в реке, среди глубокой
Предрассветной тишины
Замирает одинокий
Золотой двойник луны.

1887

ЗАТИШЬЕ

За днями серыми и темными ночами
Пастала светлая прощальная пора.
Спокойно дремлет день над тихими полями,
И веют прелестью раздумья вечера.

Глубоко степь молчит — ни звука, ни движенья...
В прозрачном воздухе далеко тонет взор...
На солнце желтый лес сверкает в отдаленье,
Как ярким золотом пылающий костер.

В саду листки берез, без шороха срываясь,
Средь тонких паутин, как бабочки, блещут
И, слабо по ветвям цепляясь и качаясь,
На блеклую траву беспомощно летят.

Плывут узоры туч прозрачною фатою
В пустынных небесах, высоко над землей.
И все кругом светло, все веет тишиною,
В природе и в душе — молчанье и покой.

1887

ОКТАБРЬСКИЙ РАССВЕТ

Ночь побледнела, и месяц садится
За реку красным серпом.
Сонный туман на лугах серебрится,
Черный камыш отсырел и дымится,
Ветер шуршит камышом.

Тихь на деревце. В часовне лампада
Меркнет, устало горя.
В трепетный сумрак озябшего сада
Льется со степи волнами прохлада...
Медленно дует заря.

1887

* * *

Высоко полный месяц стоит
В небесах над туманной землей,
Бледным светом луга серебрит,
Напоенные белою мглой.

В белой мгле, на широких лугах,
На пустынных речных берегах
Только черный засохший камыш
Да вершушки раkit различишь.

И река в берегах чуть видна...
Где-то мельница глухо шумит...
Спит село... Ночь тиха и бледна,
Высоко полный месяц стоит.

1887

* * *

Помню — долгий зимний вечер,
Полумрак и тишина;
Тускло льется свет лампы,
Буря плачет у окна.

«Дорогой мой, — шепчет мама, —
Если хочешь задремать,
Чтобы бодрым и веселым
Завтра утром быть опять, —

Позабудь, что вост вьюга,
Позабудь, что ты со мной,
Вспомни тихий шепот леса
И полдневный летний зной;

Вспомни, как шумят березы,
А за лесом, у межи,
Ходят медленно и плавно
Золотые волны ржи!»

И знакомому совету
Я доверчиво внимал
И, облекаясь мечтами,
Забываться начинал.

Вместе с тихим сном сливалось
Убаюкивание грез —
Шепот зреющих колосьев
И невинный шум берез...

1887

* * *

Какая теплая и темная заря!
Давным-давно закат, чуть тлея, чуть горя,
Померк над сонными весенними полями,
И мягкими на все ложится ночь тенями,
В вечерние мечты, в раздумье погрузив
Все, от затихших рощ до придорожных пв,
И только вдалеке печерней тьмой не скрыты
На горизонте грустные ракиты.

Над садом облака нахмурившись стоят;
Весенней сыростью наполнен тихий сад;
Над лугом, над прудом, куда ведут аллеи,
Ночные облака немного посветлее,
Но в чаще, где, сокрыв весенние цветы,
Склонились кущами зеленые кусты,
И темь, и теплота...

1888

* * *

Бледнеет ночь... Туманов пелена
В лощинах и лугах становится белея,
Звучнее лес, безжизненной луна
И серебро росы на стеклах холоднее.

Еще усадьба спит... В саду еще темно,
Недвижим тополь матово-зеленый,
И воздух слышен мне в открытое окно,
Весениним ароматом напоенный...

Уж близок день, прошел короткий сон —
И, в доме тишины не нарушая,
Неслышно выхожу из двери на балкон
И тихо светлого восхода ожидаю...

1888

* * *

Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Ближний лес затихает, и в нем
Показались всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвою,
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!

Побродил же в последние дни
По аллее, давно молчаливой,
И с любовью и с грустью взглянул
На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи
Вспомни песни, что пел соловей,
Вспомни летние ночи
И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье,
Нам они не вернут
Обманувшего счастья...

1888

• • •

Любил я в детстве сумрак в храме,
Любил вечернею порой
Его, сияющий огнями,
Перед молящейся толпой;
Любил я всепоющее бденье,
Когда в напевах и словах
Звучит покорное смирение
И покаяние в грехах.
Безмолвно, где-нибудь в притворе,
Я становился за толпой;
Я приносил туда с собой
В душе и радости и горе;
И в час, когда хор тихо пел
О «Свете Тихом», — в умиление
Я забывал свои волненья
И сердцем радостно светлел...

1888

• • •

Не пугай меня грозою:
Весел грохот вешних бурь!
После бури над землею
Светит радостней лазурь,
После бури, молодея
В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
Распускаются цветы!

Но страшит меня невнастье:
Горько думать, что пройдет
Жизнь без горя и без счастья,
В суете дневных забот,
Что увянут жизни силы
Без борьбы и без труда,
Что сырой туман унылый
Солнце скроет навсегда!

1888

• • •

Туча растаяла. Влажным теплом
Веет весенняя ночь над селом;
Ветер приприсит с полей аромат,
Слабо алеет за степью закат.

Тонкий туман над стемневшей рекой
Лег серебристою нежной фатой,
И за рекою, в неясной тени,
Робко блещут золотые огни.

В тихом саду замолчал соловей;
Падают капли во мраке с ветвей;
Пахнет черемухой...

1888

• • •

Ветер осенний в лесах подымается,
Шумно по чащам идет,
Мертвые листья срывает и весело
В бешеной пляске летит.

Только замрет, припадет и послушает,—
Снова взмахнет, а за ним
Лес загудит, затрепещет,— и сыплются
Листья дождем золотым.

Веет зимою, морозными вьюгами,
Тучи плывут в небесах...
Пусть же погибнет все мертвое, слабое
И возвратится во прах!

Зимние вьюги — предтечи весенние,
Зимние вьюги должны
Похоронить под снегами холодными
Мертвых к приходу весны.

В темную осень земля укрывается
Желтой листвою, а под ней
Дремлет побегов и трав прозябание,
Сок животворных корней.

Жизнь зарождается в мраке таинственном.
Радость и гибель ея
Служат нетленному и неизменному —
Вечной красе Бытия!

1888

• • •

В полночь выхожу один из дома,
Мерзло по земле шаги стучат,
Звездами осыпая черный сад
И на крышах — белая солома:
Трауры полночные лежат.

Ноябрь, 1888

• • •

Пустыня, грусть в степных просторах.
Синеют тучи. Скоро снег.
Леса на дальних косогорах
Как желто-красный лисий мех.
Под небом визким, сивелатым
Вся эта сумрачная ширь
И пестрота лесов по скатам
Угрюмы, дики как Сибирь.
Я перейду луга и доли,
Где серо-сизый, неживой
Осыпался осинник голый
Липонной мелкою листвою.

Я поднимусь к лесной сторожке
И с грустью глянут на меня
Ее подслепые окошки
Под вечер сумрачного дня.
Но я увижу на пороге
Дочь молодую лесника:
Малы ее босые ноги,
Мала корявая рука.
От выреза льняной сорочки
Ее плечо еще круглей,
А под сорочкою — две точки
Стопчих девичьих грудей.

1888

* * *

Как все вокруг сурово, спешно,
Как этот вечер сиз и хмур!
В морозной мгле краснеют окна нежно
Из деревенских вишенских конур.

Ночь северная медленно и грозно
Возносит косное величие свое.
Как сладко мне во мгле морозной
Мое звериное жилье!

1889

* * *

Под орган душа тоскует,
Плачет и поет,
Торжествует, негодует,
Горестно зовет:

О благий и скорбный! Будь
Милостив к земле!
Скудны, нищи, жалки люди
И в добре, и в зло!

О Исусе, в крестной муке
Преклонивший лик!
Есть святые в сердце звуки,—
Дай для них язык!

1889

* * *

На поднебесном утесе, где бури
Свишут в слепящей лазури,—
Дикий, зловонный орлиный приют.

Пью, как студеною воду,
Горную бурю, свободу,
Вечность, летящую тут.

Крым, 1889

ЦЫГАНКА

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса,—
Впереди опять свобода,
Степь, простор и небеса.

Но притворщица отстала,
Ловко семечки грызет,
Говорит, что в сердце жало,
Яд горючий унесет.

Говорит... А что ж играет
Яркий угольный зрачок?
Солнцем, золотом сияет,
Но бесстрашен и далек.

Сколько юбок! Ногу стройно
Облегают башмачок,
Стан струится беспокойно
И жемчужна смуглость щек...

Впереди большак, подвода,
Старый пес у колеса,
Счастье, молодость, свобода,
Солнце, степи, небеса.

1889

* * *

Не видно птиц. Покорно чихнет
Лес, опустевший и большой.
Грибы сопли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.

Глушь стала ниже и светлее,
В кустах сваялася трава,
И, под дождем осенним тлея,
Чернеет темная листва.

А в поле ветер. День холодный
Угрюм и свеж — и целый день
Скитаюсь я в степи слободной,
Вдали от сел и деревень.

И, убаюкан шагом конным,
С отрадной грустью внемлю я,
Как ветер звоном однотонным
Гудит-поет в стволы ружья.

1889

* * *

Седое небо падо мной
И лес раскрытый, обнаженный.
Внизу, вдоль просеки лесной,
Чернеет грязь в листве лимонной.

Вверху идет холодный шум,
Внизу молчанье увяданья...
Вся молодость моя — скитанья
Да радость одиноких дум!

1889

* * *

Далеко за морем
Догорает вечер...
Потемнело небо,
Потемнели волны...
Только на закате
Светит тихим светом
Полоса зари...

Но душе все это
Чуждо, незнакомо;
Каждый день с закатом
Ухожу на берег
И сажусь на камне,
Вижу белый парус,
Вижу, как темнеет
Полоса зари...

И знакомой грустью
Сердце сладко поет:
Кажется, что снова
По степи родимой
Еду я проселком,
И закат далекий
Долго-долго светит
Над стемневшим морем
Зреющих хлебов...

1889

Один встречаю я дни радостной недели,—
В глуши, на севере... А там у вас весна:
Растаял в поле снег, леса повеселели,
Даль заливных лугов лазурна и ясна;

Стыдливо белая береза зеленеет,
Проходят облака все выше и нежней,
А ветер сушит сад и мягко в окна веет
Теплом апрельских дней...

1889

Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами —
И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.

Тепло и влажный блеск. Запахли медом ржи,
На солнце бархатом пшеницы отливают,
И в зелени ветлей, в березах у межи,
Беспечно иолги болтают.

И весел звучный лес, и ветер меж берез
Уж веет ласково, а белые березы
Роняют тихий дождь своих алмазных слез
И улыбаются сквозь слезы.

1889

В СТЕПИ

Н. Д. Телешову

Вчера в степи я слышал отдаленный
Крик журавлей. И дико и легко
Он прозвенел над тихими полями...
Путь добрый! Им не жаль нас покидать:

И повал цветущая природа,
И новая весна их ожидает
За синими, за теплыми морями,
А к вам идет утрюмая зима:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет,
Осенний ветер, тучи нагонял,
Открыл в кустах звериные лазы,
Листной засыпал доли и овраги,
И по ночам в их черной темноте,
Под шум деревьев, свечками мерцают,
Таинственно блуждая, волчьи очи...
Да, край родной не радует теперь!
И все-таки, кочующие птицы,
Не пробуждает зависти во мне
Ваш звонкий крик, и гордый и свободный.

Здесь грустно. Ждем мы сумрачной поры,
Когда в степи седой туман почует,
Когда во мгле рассвет едва белеет
И лишь бугры чернеют сквозь туман.
Но я люблю, кочующие птицы,
Родные степи. Бедные селенья —
Мол отчизна; я вернулся к ней,
Усталый от скитаний одипоких,
И понял красоту в ее печали
И счастье — в печальной красоте.

Бывают дни: повеет теплым ветром,
Проглянет солнце, ярко озаряя
И лес, и степь, и старую усадьбу,
Пригреет листья влажные в лесу,
Глядишь — и все опять повеселело!
Как хорошо, кочующие птицы,
Тогда у нас! Как весело и грустно
В пустом лесу меж черными ветвями,
Меж золотыми листьями берез
Синеет паше ласковое небо!
Я в эти дни люблю бродить, вдыхал
Осинников поблекших аромат
И слушая дроздов пролетных крики;
Люблю уйти один на дальний хутор,

Смотреть, как озимь мягко зеленеет,
Как бархатом блестят на солнце пашни,
А вдалеке, на жнивьях золотых,
Стоит туман, прозрачный и лазурный.

Моя весна тогда зовет меня,—
Мечты любви и юности далекой,
Когда я вас, кочующие птицы,
С такою грустью к югу провожал!
Мне вспоминается бывшее счастье,
Былые дни... Но мне не жаль былого:
Я не грущу, как прежде, о былом,—
Оно живет в моем безмолвном сердце,
А мир везде исполнен красоты.
Мне в нем теперь все дорого и близко:
И блеск весны за синими морями,
И северные скудные поля,
И даже то, что уж совсем не может
Вас утешать, кочующие птицы,—
Покорность грустной участи своей!

1889

В КОСТЕЛЕ

Гаснет день — и звон тяжелый
В небеса плывет:
С башни старого костела
Колокол зовет.

А в костеле — ожиданье:
Сумрак, гул дверей,
Напряженное молчанье,
Тихий треск свечей.

В блеске их престол чернеет,
Озарен темно;
Высоко над ним желтеет
Узкое окно.

И над всем — Христа распятие:
В диадеме роз,
Скорбно братские объятья
Распростер Христос...

Тишина. И вот, незримо
Уносится с земли,
Звонко песня серафима
Разлилась вдали.

Разлилась — и отзывчала:
Заглушил, покрыл
Гром органного хора
Песнь небесных сил.

Вторит хор ему... Но, боже!
Отчего и в нем
Та же скорбь и горе то же, —
Мука о земном?

Не во тьме ль веков остался
День, когда с тоской
Человек, как раб, склонился
Ниц перед тобой

И сиял зловещей славой
Пред лицом людей
В блеске молнии кровавой
Блеск твоих очей?

Для чего звучит по храме
Снова скорбный стон,
Снова дымными огнями
Лик твой озарен?

И тебе ли мгла куренья,
Холод темноты,
Запах воска, запах тленья,
Мертвые цветы?

Дивен мир твой! Расцветает
Он, тобой согрет,
В небесах твоих сияет
Солнца вечный свет,

Гимн природы животворный
Льется к небесам...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм!

1889

* * *

...Зачем и о чем говорить?
Всю душу, с любовью, с мечтами,
Все сердце стараться раскрыть —
И чем же? — одними словами!

И хоть бы в словах-то людских
Не так уж все было избито!
Значенья не сыщете в них,
Значенье их позабыто!

Да и кому рассказать?
При искреннем даже желанье
Никто не сумеет поплять
Всю силу чужого страданья!

1890

* * *

...Поздним летом
Это было, друг милый.
Уж давно не звучали
Соловьиные песни
По безмолвным садам;

В темпоте по аллее
Разливался неясный
Запах листьев сухих
И склоненных акаций...

Там, где в двери балкона
Лампа смутно светила,
Зачипались песни,
И веселые речи
Молодых голосов
Раздавались неясно...
Сговорившись как будто,
Мы спустились с балкона
И в аллею вошли... Сердце билось,—
Сердце ждало признанья,
Опасалось любви... И приснился
Вешний сон поздним летом...

Дни идут... Еще много
Будет в жизни обид,
И потерь, и страданий,
И нерадостных дум...
Но, как грустную песню
О далеком, о милом,
Вспоминай, дорогая,
Светлый сон, что приснился
Поздним летом на миг!

1890

ПОДРАЖАНИЕ ПУШКИНУ

От праздности и лжи, от суетных забав
Я одинок бежал в поля мои родные,
Я странником вступил под сень моих дубрав,
Под их навесы вековые,

И, зноем истомлен, я на пути стою
И пью лесных ветров живительную влагу...
О, возврати, мой край, мне молодость мою,
И юных блеск очей, и юную отвагу!

Ты видишь — я красы твоей не позабыл
И, сердцем чист, твой мир благословляю...
Обетованному отеческому краю
Я приношу остаток гордых сил.

1890

* * *

В туче, солнце заступающей,
Прокатился гулкий гром,
Ангел, радугой сияющий,
Золотым взмахнул крестом —
И сорвался бурей, холодом,
Унося в пыли бурьян,
И помчался шумно, молодо
Дымным ливнем ураган.

1891

* * *

Ту звезду, что качалась в темной воде
Под кривою ракией в заглушшем саду,—
Огонек, до рассвета мерцавший в пруде,
Я теперь в небесах никогда не найду.

В то селенье, где шли молодые года,
В старый дом, где я первые песни слагал,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь никогда, никогда.

1891

Нет, не о том я сожалею,
Прощаясь с юностью моею! —
Не жаль мне первых ясных дней,
И сладких грез, и увлечений,
Но жаль мне гордости своей
И первых самообольщений!

Да, я гордился, я мечтал.
Но не сулила гордость эта
Ни благ житейских, ни похвал,
Ни лавров славного поэта:
Звучали струны, но не те!
То было счастье просветленья,
Высокий трепет приобщенья
К духовной жизни, к красоте!

1891

АНГЕЛ

В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал.

Он видел сумрак предзакатный, —
Уже синел вдали восток, —
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.

Он шел, колосья собирая,
Сплетал венок и пел в тиши,
И были в песне звуки рая —
Невинной, неземной души.

«Благослови меньшого брата, —
Сказал господь. — Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»

И ангел светлою улыбкой
Ребенка тихо осенил
И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске вежних крыл.

И, точно крылья золотые,
Заря пылала в вышине,
И долго очи молодые
За ней следили в тишине!

1891

РОДИНЕ

Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...

Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей,

Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела
И для него, ко дню свиданья,
Последний грошик берегла.

1891

Лес, — и ясно-лазурное небо глядится
По-весеннему в светлые воды реки,
На лугах заливных тонкий пар золотится,
И рыбалки блестят, и кричат кулики,

Лес зеленый кругом, молодой и росистый,
А в лесу тишина, и среди тишины —
Только голос кукушки. Вещув голосистый!
Отзовись, доживу ли до новой весны?

И приду ли опять в этот лес, напоенный
Ароматом весенним и блеском лучей,
Буду ль снова считать в чаще темной, зеленой,
Сколько светлых еще мне осталось дней?

Буду ль снова принимать тебе с грустью глубокой,
С тайной грустью в душе, что проходят года,
Что весь мир я люблю, но люблю одиноко,
Одинокий везде и всегда?

1891

* * *

Свежеют с каждым днем и молодеют сосны,
Чернеет лес, синеет мягче даль,—
Сдается наконец сырым петрам февраль,
И потемнел в лощинах снег наносный.

На гумнах и в саду по-зимнему покой
Царит в затишье дедовских строений,
Но что-то тянет в зал, холодный и пустой,
Где пахнет сыростью весенней.

Сквозь стекла потные заклеенных дверей
Гляжу я на балкон, где снег еще навален,
И голый, мокрый сад теперь мне не печален,—
На гнезда в сучьях лиц опять я жду грачей.

Жду, как в тюрьме, давно желанной воли,
Туманов мартовских, чернеющих бугров,
И света, и тепла от белых облаков,
И первых жаворонков в поле!

1892

* * *

Бушует полная вода,
Шумит и глухо, и протяжно.
Грачей пролетные стада
Кричат и весело, и важно.

Дымятся черные бугры,
И утром в воздухе нагретом
Густые белые пары
Напоены теплом и светом.

А в полдень лужи под окном
Так разливаются и блещут,
Что ярким солнечным пятном
По залу «зайчики» трепещут.

Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковее греет
В затишье гумен и дворов.

Весна, весна! И все ей радо.
Как в забытии каком стоишь
И слышишь свежий запах сада
И теплый запах талых крыш.

Кругом вода журчит, сверкает,
Крик петухов звучит порой,
А ветер, мягкий и сырой,
Глаза тихонько закрывает.

1892

* * *

Догорел апрельский светлый вечер,
По лугам холодный сумрак лег.
Спят грачи; далекий шум потока
В темноте таинственно заглох.

Но свежее пахнет зелеными
Молодой озябший чернозем,
И струится чище над полями
Звездный свет в молчании ночном.

По лощинам, звезды отражая,
Ямы светят тихою водой,
Журавли, друг друга окликая,
Осторожной тянутся гурьбой.

А Весна в зазеленевшей роще
Ждет зари, дыханье затая,—
Чутко внемлет шороху деревьев,
Зорко смотрит в темные поля.

1892

СОЛОВЬИ

То разрастаясь, то слабей,
Гром за усадьбой грохотал,
Шумела тополей аллея,
На стекла сумрак набегал.
Все ниже тучи наплывали;
Все ощутительней, свежей
Порывы ветра облевали
Дождем и запахом полей.
В полях хлеба к межам клонились...
А из лощин и из садов —
Отвсюду с ветром доносились
Напевы ранних соловьев.

Но вот по тополям и кленам
Холодный вихорь пролетел...
Сухой бурьян зашелестел,
Окно захлопнулось со звоном,
Блеснула молния огнем...

И вдруг над самой крышей дома
Раздался треск короткий грома
И тяжкий грохот... Все кругом
Затихло сразу и глубоко,
Сад потемневший присмирел, —
И благодатно и широко
Весенний ливень зашумел.
На межи низко поклонились
Хлеба в полях... А из садов
Все так же звучно доносились
Напевы ранних соловьев.

Когда же, медленно слабей,
Дождь отпумел и замер гром,
Ночь переполнила аллеи
Благоуханьем и теплом.
Пар, неподвижный и пахучий,
Стоял в хлебах. Спала земля.
Заря чуть теплилась под тучей
Полоской алого огня.
А из лощин, где распускались
Во тьме цветы, и из садов
Лились и в чащах отдавались
Все ярче песни соловьев.

1892

• • •

Гаснет вечер, даль синеет,
Солнышко садится,
Степь да степь кругом — и всюду
Нива колосится!
Пахнет медом, зацветает
Белая гречиха...
Звон к вечерне из деревни
Долетает тихо...
А вдали кукушка в роще
Медленно кукует...

Счастлив тот, кто на работе
В поле заночует!

Гаснет вечер, скрылось солнце.
Лишь закат краснеет...
Счастлив тот, кому зарею
Теплый ветер всет;
Для кого мерцают кротко,
Светятся с приветом
В темном небе темной ночью
Звезды тихим светом;
Кто устал на ниве за день
И уснет глубоко
Мирным сном под звездным небом
На степи широкой!

1892

• • •

Еще от дома на дворе
Синеют утренние тени,
И под навесами строений
Трава в холодном серебре;
Но уж сияет яркий зной,
Давно топор стучит в сарае,
И голубей пугливых стаи
Сверкают снежной белизной.

С зари кукушка за рекою
Кукует звучно вдалеке,
И в молодом березняке
Грибами пахнет и листвою.
На солнце светлая река
Трепещет радостно, смеется,
И гулко в роще отдается
Над нею ладный стук валька.

1892

ВЕСЕННЕЕ

Тает снег — и солнце ярко
Блещет в полдень над полями;
В блеске солнца влажный ветер
По лесам-полям гуляет.
Но поля еще пустынные,
Но леса еще безмолвны;
Только сосны, точно арфы,
Напевают одностонно.
И под их папег неясный,
В заповедных чащах бора,
Сладко спит весна-царевна
В белоснежном саркофаге.
Спит, — а скоро уж в долинах
Солнце белый снег растопит,
И пойдут бурлить потоки
По долинам и оврагам.
Налетят лесные птицы,
За шумят грачи, а с ними —
Зацветут, зазеленеют,
Оживут леса и роши.
И придет апрель-царевич
Из заморских стран далеких
На заре, когда в долинах
Тают синие туманы,
На заре, когда от солнца
Пахнет лес зеленой хвоей,
Пахнет теплою землею
И апрельскими цветами,
И склонится он с улыбкой
Над царственною безмолвной
И прильнет к устам царевны
Крепко жаркими устами,
И она в испуге вздрогнет,
Разомкнет свои ресницы,
Глянет, вспыхнет — и улыбкой
Озарит весь мир влюбленный!

* * *

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни — и апрельский день.
Ласково сияет утреннее небо,
Легкой белой зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блесстит пад пашпей... А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

В стороне далекой от родного края
Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,
Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый, — степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский,
И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье —
Юности и счастья первая весна!

1893

* * *

За рекой луга зазеленели,
Вет легкой снежестью воды;
Веселей по рощам зазвенели
Песни птиц на разные лады.

Ветерок с полей тепло приносит,
Горький дух лозины молодой...
О, весна! Как сердце счастья просит!
Как сладка печаль моя весной!

Кротко соляде листья пригревает
И дорожки мягкие в саду...
Не пойму, что душу раскрывает
И куда я медленно бреду!

Не пойму, кого с тоской люблю я,
Кто мне дорог... И не все ль равно?
Счастья жду я, мучась и тоскуя,
Но не верю в счастье уж давно!

Горько мне, что я бесплодно трачу
Чистоту и нежность лучших дней,
Что один я радуюсь и плачу
И не знаю, не люблю людей.

1893

ТРОИЦА

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над пивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат.
Весенний праздник твой, и светлый и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых петлей,
Печали тихий вздох, молитву — и смиренья.

1893

Крупный дождь в лесу зеленом
Проглумел по стройным кленам,
По лесным цветам...
Слышишь? — Звонко песня льется,
Беззаботный раздается
Голос по лесам.

Крупный дождь в лесу зеленом
Проглумел по стройным кленам,
Глубь небес ясна...
В каждом сердце возникает,—
И томит, и увлекает
Образ твой, Весна!

О надежды золотые!
Рощи темные, густые
Обманули вас...
Голос нежный и призывный!
Прозвучал ты песней дивной —
И в дали угас!

1893

В ПОЕЗДЕ

Все шире вольные поля
Проходят мимо вас кругами;
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

Вот под горою скит святой
В бору белеет за лугами...
Вот мост железный над рекой
Промчался с грохотом под нами...

А вот и лес! — И гул идет
Под стук колес в лесу зеленом;
Берез веселых хороход,
Шумя, встречает нас поклоном.

От паровоза белый дым,
Как хлопья ваты, расплываясь,
Плывет, цепляется по ним,
К земле беспомощно склоняясь...

Но уж опять кусты пошли,
Опять деревьев строй редееет,
И бесконечная вдали
Степь развернулась и синеет,

Опять привольные поля
Проходят мимо нас кругами,
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.

1893

• • •

Ночь идет — и темнеет
Бледно-синий восток...
От одежд ее веет
По полям ветерок.

День был долог и зноен...
Ночь идет и поет
Колыбельную песню
И к покою зовет.

Грустен взор ее темный,
Одинок ее путь...
Спи-усни, мое сердце!
Отдохни... Позабудь.

1893

• • •

...И снилось мне, что осенней порой
В холодную ночь я вернулся домой.
По темной дороге прошел я один
К знакомой усадьбе, к родному селу...

Трещали обмерзшие сучья лозия
От бурного ветра на старом валу...
Деревня спала... И со страхом, как пор,
Вошел я в пустынный, покинутый двор.

И сжалось сердце от боли во мне,
Когда я кругом поглядел при огне!
Навис потолок, обленились углы,
Повсюду скрипят под ногами полы
И пахнет печами... Заброшен, забыт,
Навеки забыт он, родимый наш дом!
Зачем же я здесь? Что осталось в нем,
И если осталось — о чем говорит?

И снилось мне, что всю ночь я ходил
По саду, где ветер кружился и выл,
Искал я отцом посаженную ель,
Тех комнат искал, где собиралась семья,
Где мама качала мою колыбель
И с нежною грустью ласкала меня,—
С безумной тоскою кого-то я знал,
И сад обнаженный гудел и стонал...

1893

МАТЬ

И дни и ночи до утра
В степи бураны бушевали,
И лешки снегом заматали,
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом —
И стекла в рамах дребезжали.
И снег сухой в старинной зале
Кружился в сумраке почном.

Но был огонь — не угасая,
Светил в пристройке по ночам,
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая.

Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все папела и ходила...

И ночь тянулась без конца...
Порой, дремотой обвеяв,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца.
Когда ж бура в порыве диком
Внезапным шквалом палетал,
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым, дальним криком
В степи на помощь призывал.
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блеснул,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами...

1893

КОВЫЛЬ

Что ми шумить, что ми звенить
давеча рано предъ зорями?

Сл. о П. А. Невр.

I

Что шумит-звенит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Смутно травы шепчутся сухие,—
Сладкий сон их нарушает ветер.
Опускаясь низко над полями,
По курганам, по могилам сонным,
Нависает в темных балках сумрак.
Бледный день над сумраком забрезжил,
И рассвет ненастный задымился...

Что шумит-звепит перед зарею?
Что колышет ветер в темном поле?

Холодеет ночь перед зарею,
Серой мглой подернулись балки...
Или это ратный стан белеет?
Или снова веет вольный ветер
Над глубоко спящими полками?
Не ковыль ли, старый и сопливый,
Он качает, клонит и качает,
Вежи половецкие колышет
И бежит-звепит старинной былью?

II

Непастный день. Дорога прихотливо
Уходит вдаль. Кругом все степь да степь.
Шумит трава дремотно и лениво,
Немых могил сторожевая цепь
Среди хлебов загадочно спшеет,
Кричат орлы, пустынный ветер веет
В задумчивых, тоскующих полях,
Да тень от туч кочующих темнеет.

А путь бежит... Не тот ли это шлях,
Где Игоря обозы проходили
На сипый Дов? Не в этих ли местах,
В глухую ночь, в яругах волки выли,
А днем орлы на медленных крылах
Его в степи безбрежной провожали
И клетком псов на кости созывали,
Троя ему великою бедой?
— Гей, отзовись, степной орел седой!
Ответь мне, ветер буйный и тоскливый!

...Безмолвна степь. Одиа ковыль сопливый
Шуршит, склоняясь ровной чередой...

1894

В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

...И в этот час, гласит преданье,
Когда, сомнением томим,
Изнемогал он от страданья,
Все преклонилось перед ним.

Затихла почь в благоговенье,
И слышал он: «Моих ветвей
Колючий терп — венцом мученья
Возложат на главе твоей;

Но терп короною зеленой
Чело святое обовьет —
В мир под страдальческой короной,
Как царь царей, господь войдет!»

И кипарис, над ним шумящий,
Ему шептал во тьме ночной:
«Благословен господь скорбящий,—
Велик и славен подвиг твой!

Я вознесу над всей вселенной
Мой тяжкий крест, и на кресте
Весь мир узрит тебя, смиренный,
В неизреченной красоте!»

Но снова он в тоске склопился,
Но снова он скорбел душой —
И ветер ласковой струей
Его чела в тиши касался:

«О, подними свой грустный взор!
В час скорби, в темный час страданья
Прохлады свежее дыханье
Я принесу с долин и гор,

Я нежной лаской аромата
Твои мученья облегчу,
Я от востока до заката
Твои глаголы возвещу!»

1894

Могилы, ветряки, дороги и курганы —
Все смерклось, отошло и скрылось из глаз.
За дальней их чертой погас закат румяный,
Но точно ждет чего вечерний тихий час.

И вот идет она, Степная Ночь, с востока...
За нею синий мрак над нивами встает...
На меркнувший закат, грустна и одинока,
Она задумчиво среди хлебов идет.

И медлит на межах, и слушает молчанье...
Глядит вослед зари, где в призрачной дали
Еще мерещутся колосьев очертанья
И слабо брезжит свет над сумраком земли.

И полон взор се, загадочно-унылый,
Великой кротости и думы вековой
О том, что ведают лишь темные могилы,
Степь молчаливая да звезд узор живой.

1894

Неуловимый свет разлился пад землею,
Над кровлями безмолвного села.
Отчетливей кричат перед зарею
Далеко на степи перепела.

Нет ни души кругом — ни звука, ни тревоги..
Спят безмятежным сном зеленые овсы...
Находясь, кобчик спит на кочке у дороги,
Покрытый пылью матовой росы...

Но уж светлеет даль... Зелено-серебристый,
Неуловимый свет восходит пад землей,
И белый пар лугов, холодный и душистый,
Как фимнам, плывет перед зарей.

1894

Если б только можно было
Одного себя любить,
Если б прошлое забыть,—
Все, что ты уже забыла,

Не смущал бы, не страшил
Вечный сумрак вечной ночи:
Утомившиеся очи
Я бы с радостью закрыл!

1894

• • •

Нагая степь пустыней веет..
Уж пал зазимок на поля,
И в черных пашнях снег белеет,
Как будто в трауре земля.
Глубоким сном среди лощины
Деревня спит... Ноябрь идет,
Пруд застывает, и с плотины
Листва поблекшая лозины
Уныло сыплется на лед.

Вот день... Но скупое над землею
Сияет солнце; поглядит
Из-за бугра оно зарю
Сквозь сучья черные раkit,
Пригреет кроткими лучами —
И вновь потонет в облаках...
А ветер жидкими тенями
В саду играет под ветвями,
Сухой травой шушит в кустах...

1894

* * *

Что в том, что где-то, на далеком
Морском побережье, валуны
Блестят на солнце мокрым боком
Из набегающей волны?

Не я ли сам, по чьей-то воле,
Вообразил тот край морской,
Осепный ветер, запах соли
И белых чашек шумный рой?

О, сколько их — невыразимых,
Ненужных миру чувств и слов,
Душою в сладкой муке зримых, —
И что они? И чей в них зов?

1895

КОСТЕР

Ворох листьев сухих все сильнее, веселей разгорается,
И трещит, и пылает костер.
Пышет пламя в лицо; теплый дым на ветру развевается,
Затянул весь лесной косогор.

Лес гудит на горе, низко гнутся березы ветвистые,
Меж стволами качается тень...
Блеском, шумом листвы наполняет леса золотистые
Этот солнечный ветреный день.

А в долине — затишье, светло от орешника яркого,
И по светлой долине лесной
Тянет гарью сухой от костра распаленного, жаркого,
Развевается дым голубой.

Камни, заросли, рвы. Лучезарным теплом очарованный,
В полусне я лежу у куста...

Странно желтой листвою озарен этот дол заколдованный,
Эти лисьи, глухие места!

Ветер стопы несет... Не собаки ль вдали заливаются?
Не рога ли тоскуют, вопят?

А вершины шумят, а вершины скрипят и качаются,
Однотонно шумят и скрипят...

17.IX.95

Лес Жемчужникова

• • •

Когда на темный город сходит
В глухую ночь глубокий сон,
Когда метель, кружась, заводит
На колокольнях перезвон,—

Как жутко сердце замирает!
Как заупынно в этот час,
Сквозь вопли бури, долетает
Колоколов невнятный глас!

Мир опустел... Земля остыла...
А вьюга трупы замела,
И ветром звезды загасила,
И бьет во тьме в колокола.

И на пустынном, на великом
Погосте жизни мировой
Кружится Смерть в веселье диком
И развевает саван свой!

1895

Ночь наступила, день угас,
Сон и покой — и всей душою
Я покоряюсь в этот час
Ночному кроткому покою.
Как облегченно дышит грудь!
Как нежно сад благоухает!
Как мирно светит и сияет
В далеком небе Млечный Путь!
За все, что пережито днем,
За все, что с болью я скрываю
Глубоко на сердце своем,—
Я никого не обвиняю.
За счастье минут таких,
За светлые воспоминанья
Благословляю каждый миг
Былого счастья и страданья!

1895

НА ПРОСЕЛКЕ

Вет утро прохладой степною...
Тишина, тишина на полях!
Заросла павиликой-травой
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колен утопают,
А за ними, с обеих сторон,
В сизых ржах пасильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно овсы,
И в колосьях брильянты росы
Ветерок зажигает душистый,

И вликает отраду он в грудь,
И свевает с души он тревоги...
Весел мирный проселочный путь,
- Хороши вы, степные дороги!

1895

* * *

Долог был во мраке ночи
Наш неверный трудный путь!
Напрягались тшкетно очи
Разглядеть хоть что-нибудь...
Только гулала и скрипела
Тяжко мачта, да шумело
Море черное, и челн
Уносило и качало,
И с разбегу осыпало
Ледяною пылью волн...

Но редееет мрак холодный;
Отделились небеса
От седой пучины водной,
И сереют паруса;
Над свалившеюся тучей,
Как над черной горной кручей,
Звезды блещут серебром;
Над кормой огонь сигнальный
Искрой бледной и печальной
Догорает... А кругом, —
Из морской дали туманной, —
Бледным сумраком одет,
Уж сквозит рассвет багряный,
Дышит холодом рассвет!

И все ярче меж полнами,
В брызгах огнепо-живых,
В переливах голубых,
Золотое блещет пламя,

И все пыше пад волной
Глубью радостной, иной
Бирюза сквозит и тает,
И, качая быстрый челя,
Светлой влагой, пылью поля
Море весело кидает!

1895

* * *

Поздний час. Корабль и тих и темен,
Слабо плещут волны за кормой.
Звездный свет да океан зеркальный —
Царство этой почи веземной.

В царстве безграничного молчанья,
В тишине глубокой сторожат
Час полночный звезды над морями
И в морях таинственно дрожат.

Южный Крест, загадочный и кроткий,
В душу льет свой нежный свет ночной —
И душа исполнена предвечной
Красоты и правды веземной.

1895

М Е Т Е Л Ь

Ночью в полях, под напелы метели,
Дремят, качаясь, березки и ели...
Месяц меж тучек над полем сияет,—
Бледная тень набегает и тает...
Мнится мне ночью: меж белых берез
Бродит в туманном сиянье Мороз.

Ночью в избе, под напевы метели,
Тихо разносится скрип колыбели...
Месяца свет в темноте серебрится —
В мерзлые стекла по лавкам струится...
Мнится мне почью: меж сучьев берез
Смотрит в безмолвные избы Мороз.

Мертвое поле, дорога степная!
Вьюга тебя замечает почная,
Спят твои села под песни метели,
Дремлют в снегу одинокие ели...
Мнится мне почью: не степи кругом —
Бродит Мороз на погосте глухом...

1887—1895

* * *

В окошко из темной каюты
Я высунул голову. Ночь.
Кипящее черное море
Потопом уносится прочь.

Над морем — тупая громада
Стальной пароходной степи.
Торчу из нее и пьянею
От зыбко бегущей волпы.

И все забирает палево
Покатая к носу стена,
Хоть должен я верить, что прямо
Свой путь пролагает она.

Все вкось чья-то сила уводит
Наш темный полуночный гроб,
Все будто на нас, а все мимо
Несется кипящий потоп.

Одно только звездное небо,
Один небосвод недвижим,
Спокойный и благодостный, чуждый
Всему, что так мрачно под ним.

1896

РОДИНА

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочпо-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой свежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

1896

* * *

Ночь и даль седая,—
В инее лесă.
Звездами мерцающая,
Светят небеса.

Звездный свет белеет,
И земля окрест
Стынет-цепекает
В млечном свете звезд.

Тишина пустыни...
Четко за горой
На реке в долине
Треснет лед порой...

Метеор зажжется,
Озаряя снег...
Шорох пропесется —
Зверя легкий бег...

И опять — молчанье...
В бледной мгле равнин,
Затаив дышаше,
Я стою один,

1896

* * *

Христос воскрес! Опять с зарею
Редает долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чаши бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркал, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что бог воистину воскрес!

1896

НА ДНЕПРЕ

За мирным Днепром, за горами
Заря догорала светло,
И тепел был воздух вечерний,
И ясно речное стекло.

Вечернее алое небо
Гляделось в зеркальный затоп,
И тихо под лодкой качался
В бездонной реке небосклон...

Далекое, мирное счастье!
Не знаю, кого я любил,
Чей образ, и пежный и милый,
Так долго я в сердце хранил.

Но сердце грустит и доныне...
И помню тебя я, как сон —
И близкой, и странно далекой,
Как в светлой реке небосклон...

1896

КИПАРИСЫ

Пустыняпал Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит впризу прибой, залил кипит волнами,
А здесь — глубокий сон и вечная печаль.

Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь... Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут — и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.

Жизнь не смущает их, минутная, дневная..
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и занывая,
С могильной стражей белеющих крестов.

1896

* * *

Счастлив я, когда ты голубые
Очи поднимаешь на меня:
Светят в них надежды молодые —
Небеса безоблачного дня.

Горько мне, когда ты, опуская
Темные ресницы, замолчишь:
Любишь ты, сама того не зная,
И любовь застенчиво таишь.

Но всегда, везде и неизменно
Близ тебя светла душа моя...
Милый друг! О, будь благословенна
Красота и молодость твоя!

<1896>

* * *

Вьется путь в снегах, в степи широкой.
Вот — луга и над оврагом мост,
Под горой — поселок одинокий,
На горе — заброшенный погост.

Ни души в поселке; не краснеют
Из-под крыш печерные огни;
Слепо срубы в сумерках черпеют...
Знаю я — покинуты они.

Пахнет в них холодною золою,
В печку провалилася труба,
И давно уж смотрит пежилою,
Мертвой и холодною изба.

Под застрехи ветер жесткий дует,
Сыплет снегом... Только он один
О тебе, родимый край, тоскует
Посреди пустых твоих равнин!

Путь бежит, в степи метель играет,
Хмуρο сходит долгой ночи тень...
О, пускай скорее умирает
Этот жуткий, этот тусклый день!

1897

• • •

Отчего ты печально, вечернее небо?
Оттого ли, что жаль мне земли,
Что туманно синее безбрежное море
И скрывается солнце вдали?

Отчего ты прекрасно, вечернее небо?
Оттого ль, что далеко земля,
Что с прощальною грустью закат угасает
На косых парусах корабля

И шумят тихим шумом вечерние волны
И баюкают песней своей
Одинокое сердце и грустные думы
В беспредельном просторе морей?

1897

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Холодный ветер, резкий и упорный,
Кидает нас, и тяжело грести;
Но не могу я взоров отвести
От бурных волн, от их лунны черной.

Они кипят, бушуют и гудят,
В ухабах их, меж зыбкими горами,
Качают чайки острыми крылами
И с воплями над бездною скользят.

И ветер вторит диким завываньем
Их жалобным, но радостным стenanьям,
Потяжелее выбирает вал,

Напрягши грудь, на нем взмывает пену
И бьет его о каменную стену
Прибрежных мрачных скал.

1897

НА ХУТОРЕ

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалю печальной
Песне беззаботной, старой песне в лад.

«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не взойти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»

Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...
Не судья тебе я за грехи былого!
Не воротись жизни прожитой назад!

1897

Скачет пристяжная, снегом обдает...
Сонный зимний ветер надо мной поет,
В полусне волнуясь, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит.

Эй, проспился, ветер! Подыми пургу,
Задымись метелью белою в лугу,
Загуди поземкой, закружись в степи,
Крикни вместо песни: «Постыдись, не спи!»

Безотраден путь мой! Каждый божий день —
Глушь лесов да холод-голод деревень...
Стыдно мне и больно... Только стыд-то мой
Слишком скоро гаснет в тишине немой!

Сонный зимний ветер надо мной поет,
Усыпляет песней, воли не дает,
Путь заносит снегом, по полю бежит,
Вместе с колокольчиком жалобно дрожит...

1897

ТРИ НОЧИ

Старый сад всю ночь гудел угрюмо,
Дождь шумел, и, словно капли слез,
Падал он в холодный снег на землю
С голых сучьев стопущих берез.

По лесным трущобам и оврагам,
По полям, пустынным и глухим,
Первые весенние туманы
Расползались медленно, как дым.

И леса седой оделись мглою,
На озерах поднялись льды,
И долины грозно потемнели
От свинцовой мартовской воды...

А другая ночь — все победила:
Ветер снес сырой туман с полей,
Загорелись звезды, и в долинах
Зашумели воды веселей.

До зари кричали хлопотливо
В ближней роще черные грачи,
Старый сад и тихую усадьбу
Оглашали стопами сычи.

И темней ночное было небо —
Издалека в темноте ночпой
Вяло весенним ароматом,
Вяло грядущею весной...

И недолги были ожидания:
За день вся природа ожила!
Вечер был задумчив и прекрасен,
И заря, как летняя, тепла.

А когда померк закат далекий,
Вспомнилась мне молодость моя,
И окно открыл я, и забылся,
В сердце грусть и радость затаил.

Поял я, что юной жизни тайна
В мир пришла под кровом темноты,
Что весна вернулась — и незримо
Вырастают первые цветы.

1889—1897

* * *

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке — все твоё бытие,
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но Ангел мятсжий, весь буря и пламя,
Летащий пад миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчится над нами!

1898

* * *

Поздно, склонилась луна,
Море к востоку черво, тяжело,
А под лупою, на юг.
Блещет оно, как стекло.

Там, под усталой луной,
У озаренных песков и камней,
Что-то темнеет, рябит
В неводе сонных лучей.

Там, под усталой лупой,
У позлащенных камней и песков,
Чудища моря ползут,
Двигается много голов.

Поздняя ночь, мы одни
В этой степной и безлюдной стране,
В мертвом молчанье ее,
При заходящей луне.

Поздняя ночь все свежей,
Звездный все глубже, синей небосклон,
Дикою пахнет травой,
Запахом древних времен.

И холодеют пески,
Холодны милые руки твои...
К югу склонилась луна.
Выпита чаша до дна,
Древняя чаша любви.

1898

* * *

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала,— луна сияла
В ее окно,— и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине.
Нагие раздвинувши груди,—
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

1898

* * *

При свете звезд померкших глаз сиянье,
Косящий блеск меж гробовых ресниц,
И сдавленное двойное дыханье,
И это сердце — сердце диких птиц!

1898

* * *

Снова сон, пленительный и сладкий,
Снится мне и радостью пьянит,—
Милый взор зовет меня украдкой,
Ласковой улыбкою манит.

Знаю я,— опять меня обманет
Этот сон при перлом блеске дня,
Но пока печальный день пастанет,
Улыбнись мне — обмани меня!

1898

Звезды ночью весенней нежнее,
Соловьи осторожней поют...
Я люблю эти темные ночи,
Эти звезды, и клены, и пруд.

Ты, как звезды, чиста и прекрасна...
Радость жизни во всем я ловлю —
В звездном небе, в цветах, в ароматах...
Но тебя я нежнее люблю.

Лишь с тобою одною я счастлив,
И тебя не заменит никто:
Ты одна меня знаешь и любишь,
И одна понимаешь — за что!

1898

НА ДАЛЬНОМ СЕВЕРЕ

Так небо низко и упыло,
Так сумрачно вдали,
Как будто время здесь застыло,
Как будто край земли.

Густое чахлое полестье
Стоит среди болот,
А там — угрюмо в поднебесье
Уходит сумрак вод.

Уж ночь настала, но свияцовый
Дневной не меркнет свет.
Немая тишь в глуши сосновой,
Ни звука в море нет.

И звезды тускло, недвижимо
Горят над головой,
Как будто их зажег незримо
Сам ангел гробовой.

1898

ПЛЕЯДЫ

Стемнело. Вдоль аллея, над сонными прудами,
Бреду я наугад.
Осенней свежестью, листвою и плодами
Благоухает сад.

Давно он поредел, — и звездное сиянье
Белеет меж ветвей.
Иду я медленно, — и мертвое молчанье
Царит во тьме аллея.

И звонок каждый шаг среди ночной прохлады.
И царственным гербом
Горят холодные алмазные Плеяды
В безмолвии ночном.

1898

И вот опять уж по зарям
В выси, пустынной и привольной,
Станицы птиц летят к морям,
Чернея цепью треугольной.

Ясна заря, безмолвна степь,
Закат алеет, разгораясь...
И тихо в небе эта цепь
Плывет, размеренно качаясь.

Какая даль и вышины!
Глядишь — и бездной голубою
Небес осенних глубина
Как будто тает над тобою.

И обнимает эта даль, —
Душа отдаться ей готова,
И новых, светлых дум печаль
Освобождает от земного.

1898

Листья падают в саду...
 В этот старый сад, бывало,
 Ранним утром я уйду
 И блуждаю где попало.
 Листья кружатся, шуршат,
 Ветер с шумом палетаёт —
 И гудит, волнуясь, сад,
 И угрюмо замирает.
 Но в душе — все песелей!
 Я люблю, я молод, молод:
 Что мне этот шум аллей
 И осенний мрак и холод?
 Ветер вдаль меня влечёт,
 Звонко песнь мою разнесит,
 Сердце страстно жизни ждёт,
 Счастья просит!

Листья падают в саду,
 Пара кружится за парой...
 Одиноко я бреду
 По листве в аллее старой,
 В сердце — новая любовь,
 И мне хочется ответить
 Сердцу песнями — и вновь
 Беззаботно счастье встретить.
 Отчего ж душа болит?
 Кто грустит, меня жалея?
 Ветер стонет и пылит
 По березовой аллее,
 Сердце слезы мне теснят,
 И, кружась в саду угрюмом,
 Листья желтые летят
 С грустным шумом!

1898

• • •

Таинственно шумит лесная тишина,
Незримо по лесам поет и бродит Осень...
Темнеет день за днем, — и вот опять слышпа
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен.

«Пусть по ветру летит и кружится листва,
Пусть заметет она печальный след былого!
Надежда, грусть, любовь — вы, старые слова,
Как блеклая листва, не расцветете снова!»

Угрюмо бор гудит, песуются листья вдаль...
Но в шумном ропоте и песне безнадежной
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль,
Укор былой весне, и ласковый, и нежный.

И далеко еще безмолвная зима...
Душа готова вновь волненьем предаваться,
И сладко ей грустить и грустью упиваться,
Не впемя голосу ума.

1898

• • •

В пустынной вышине,
В открытом океане небосклона
Восток сияет ясной бирюзой.
В степной дали
Погасло солнце холодно и чисто,
Свеж, звонок воздух над землей,
И тишина царит, —
Молчание осеннего заката
И обнаженных черных тополей...
Как хороши пустынные аллеи!

Иду на юг,
Смотрю туда, где я любил когда-то,
Где грусть моя далекая живет...
А там встают,
Там медленно плывут и утопают
В глубоком океане небосклона,
Как снеговые горы, облака...
Как холодны и чисты изваянья
Их девственных алеющих вершин!
Как хороши безлюдные равнины!

Багряная листва,
Покрытая морозною росой,
Шуршит в аллее под моей ногой...
Вот меркнет даль,
Темнеет сад, краснее запад рдеет,
В холодной и безмолвной красоте
Все застывает, медленно мертвея,
И веет холод ночи на меня,
И я стою, безмолвием объятый...
Как хороша, как одинока жизнь!

1898

• • •

Все лес и лес. А день темнеет;
Низы синеют, и трава
Седой росой в лугах белеет...
Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей
Идут, как рать сторожевых,
И солнце мутное Жар-Птицей
Горит в их дебрях вековых.

1899

• • •

Как светла, как нарядна весна!
Погляди мне в глаза, как бывало,
И скажи: отчего ты грустна?
Отчего ты так ласкова стала?

Но молчишь ты, слаба, как цветок...
О, молчи! Мне не надо признанья:
Я узнал эту ласку прощанья,—
Я опять одинок!

1899

• • •

Ныпче ночью кто-то долго пел.
Далеко скитаясь в темном поле,
Голос грустной удалю звелел,
Пел о прошлом счастье и о воле.

Я открыл окно и сел на нем.
Ты спала... Я долго слушал жадно...
С поля пахло рожью и дождем,
Ночь была душиста и прохладна.

Что в душе тот голос пробудил,
Я не знаю... Но душа грустила,
И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила.

1899

• • •

Зеленоватый свет пустынной лунной почы,
Далеко под горой — морской пустынный блеск...
Я слышу на горах осенний ветер в соснах
И под обрывом скал — невнятный шум и плеск.

Порою блеск воды, как медный щит, светлеет.
Порой тускнеет он и зыбью взор томит...
Как в полусне сижу... Осенний ветер веет
Соленой свежестью — и все кругом шумит.

И в шорохе глухом и гуле горных сосен
Я чувствую тоску их безнадежных дум,
А в шумном плеске волн — лишь холод лунной ночи
Да мертвый плеск и шум.

1899

* * *

Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес.
Но мирно розовый мерцает Антарес
На южных небесах, куда прозрачным дымом
Нисходит Млечный Путь к лугам необозримым.
С опушки на луга гляжу из-под ветвей,
И дышит ночь теплом, и сердце лерит ей, —
Колосьям божьих пив, на гнездах смолкшим птицам,
Мерцанью кротких звезд и ласковым зарницам,
Играющим огнем вокруг немой земли
Пред взором путника, звящего вдали
Валдайским серебром, напевом беззаботным
В просторе полевым, спокойном и дремотном.

1900

* * *

Затрепетали звезды в небе,
И от зари, из-за аллей,
Повеял чистый, легкий ветер
Весенней свежестью полей.

К закату, точно окрыленный,
Спешу за ним, и жадно грудь
Его печерней ласки ищет
И счастья в жизни потянуть.

Не верю, что умру, устану,
Что навсегда в земле усну,—
Нет,— упоенный счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

1900

• • •

Нет солнца, но светлы пруды,
Стоят зеркалами литыми,
И чаши недвижной воды
Совсем бы казались пустыми,
Но в них отразились сады.

Вот капля, как шляпка гвоздя,
Упала — и, сотнями игол
Затоны прудов бороздя,
Сперкающий ливень запрыгал —
И сад зашумел от дождя.

И ветер, играя листвою,
Смешал молодые березки,
И солнечный луч, как живой,
Зажег задрожавшие блески,
А лужи налил синевой.

Вон радуга... Весело жить
И весело думать о небе,
О солнце, о зреющем хлебе
И счастьем простым дорожить:

С открытой бродить головой,
Глядеть, как рассыпали дети
В беседке песок золотой...
Иного нет счастья на свете.

1900

ЛИСТОПАД

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между клепами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихую вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заклохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;

Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая —
И снопа все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой —
Предвестник долгого невястья.
Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемпело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу...
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине почвой.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся — она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В серебристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,

И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастью головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой...

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят,—
Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую почь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьих очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвою усыпал;
А там зазимок почью выпал
И таять стал, все умертвив...

Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных пив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разнесит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет,

Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горпоставе шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречал,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долины
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:
Туда от зимних бурь и выюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкой порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый,
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горпостав, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И заявывая в поле зверем.

Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом остове пустом
Повесят илеи сквозные,
И будут в небе голубом
Снять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар —
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.

1900

НА РАСПУТЬЕ

На распустье в диком древнем поле
Черный ворон на кресте сидит.
Заросла бурьяном степь на воле,
И в траве заржавел старый щит.

На распустье люди начертали
Роковую надпись: «Путь прямой
Много бед готовит, и едва ли
Ты по нем вернешься домой.

Путь направо без коня оставит —
Побредешь один и сир и наг, —
А того, кто влево путь направит,
Встретит смерть в незнаемых полях...»

Жутко мне! Вдали стоят могилы...
В них бывшее дремлет вечным сном...
«Отзовися, ворон чернокрылый!
Укажи мне путь в краю глухом».

Дремлет полдень. На тропах звериных
Тлеют кости в травах. Три пути
Вижу я в желтеющих равнинах...
Но куда и как по ним идти?

Где равнина дикая граничит?
Кто, пугая чуткого коня,
В тишине из синей дали кличет
Человечьим голосом меня?

И один я в поле, и отважно
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Черный ворон сумрачно и важно,
Полусонный, на кресте сидит.

1900

ВИРЬ

Где ельник сумрачный стоит
В лесу зубчатым темным строем,
Где старый позабытый скит
Манит задумчивым покоем,

Есть птица Вирь. Ее убор
Весь серо-аспидного цвета,
Головка в хохолке, а взор
Исполнен скорбного привета.

Она так жалостно поет,
С такою нежностью глубокой,
Что, если к скиту забредет
Случайно путник одинокий,

Он ве покипет те места:
Лес молчаливый и унылый
И скорбной песни красота
Полны неотразимой силы!

И вот, когда в лесу пустом
Горит заря, а ельник черный
Стоит на фоне золотом
Степою траурно-узорной,

С какой отрадой ловит он
Все, что зарей еще печальней:
Вечерний колокольный звон,
Напевы женщин в роще дальней,

И гул сосны, и ветерка
Однообразный шелест в чаще...
Невыразима их тоска,
И нет ее больней и слаще!

Когда же лес, одетый тьмой,
Сгустится в ней и тьма сольется
С его могильной бахромой,—
Вирь в темноте тревожно вьется,

В испуге бьется средь ветвей,
Тоскливо стонет и рыдает,
И тем тоскливей, тем грустней,
Чем человек больней страдает...

1900

ПОСЛЕДНЯЯ ГРОЗА

Не прохладой, не покоем,
А истомою и знанием
Ночь с горячих пашен веет:
Хлеб во мраке ночи зреет.

Обступают осторожно
Небо тучи, и тревожно,

Точно жар и бред недуга,
Набегаёт ветер с юга.
Шелестя и торопливо
Волны ветра ловит нива,
Страстным шепотом привета
Провожает их,— и мнится:
Ночь прощается тоскливо
С лаской пламенного лета,
Разметалась и томится...

Блеск зарниц ей точно снится,
Мрак растёт над ней кошмаром,
И когда всю степь пожаром
Красный сполох озаряет,—
В поле чей-то призрак темный,
Величавый и огромный,
На мгновенье вырастает,
Чьи-то очи ярко блещут,
Содрогаясь от усилья,
И раскинутые крылья
За плечом его трепещут.

Как тот блеск ее пугает!
Точно в страхе пробегает
Знойный шелест по бурьяну...
Быть большому урагану!
Уж над этим смутным шумом
Все слышней, как за горою
Дальний гром ворчит порою,
Как в величии угрюмом,
Потрясая своды неба,
Он проходит тяжким гулом
Над шумящим морем хлеба...

Скоро бешепым разгулом
В поле ветер понесется,
Скоро гром смелее грянет,
Жутким блеском даль зажжется,
Ночь испуганно воспримет,
Ночь порывисто очнется —

И обильными слезами
Вся тоска ее прольется!

А наутро над полями
Солнце грустно улыбнется —
Озарит их на прощанье,
И на пивы, на селенья
Ляжет кроткое смирение
Тишины и уюдавя.

1900

В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ

Сумрак ночи к западу уходит,
Серой мглой над черной пашней бродит,
По бурьянам стелется к земле...
Звезды стали тусклы и далеки,
Небеса — туманны и глубоки,
Но восток уж виден в полумгле.

Лошади продрогли. Север дышит
Ветром ночи и полынь колышет...
Вот и утро! — В колесах дорог
Грязь чернеет, лужи заалели...
Томно псы голодные запели...
Встань, труби в холодный, звонкий рог!

1900

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зеленый.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственныхид узор!

1900

• • •

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы...
Все цветет и поет, молодые надежды тая...
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!

1900

• • •

Не угас еще вдали закат,
И листва сивозит узором четким,
А под ней уж серебрится сад
Светом и таинственным, и кротким:

Народился месяц молодой.
Робко он весенними зарями
Светит над зеркальной водой,
По садам сияя меж ветвями.

Завтра он зарею выйдет вновь
И опять напомнит, одинокий,
Мне весну, и первую любовь,
И твой образ, милый и далекий...

1900

• • •

Когда деревья в светлый майский день
Дорожки осыпают белым цветом
И ветерок в аллее, полной светом,
Струит листвы узорчатую тень,
Я свой привет из тихих деревень
Шлю девушкам и юношам-поэтам:
Пусть встретит жизнь их ласковым приветом,
Пусть будет светел их весенний день,
Пусть их мечты развеет белым цветом!

1900

• • •

Лес шумит невятным, ровным шумом...
Лепет листьев клонит в сон и лень...
Петухи в далекой караулке
Распевают про весенний день.

Лес шумит невятным, тихим шумом...
Хорошо и беззаботно мне
На траве, среди берез зеленых,
В тихой и безвестной стороне!

1900

• • •

Вдали еще гремит, но тучи уж свалились,
Как горы дымные, идут они на юг.
Опять лазурь ясна, опять весна вокруг,
И ярким солнцем чащи озарились.

Из-за лесных вершин далекой церкви шипит
Горячим золотом трепещет и сверкает,
Звенят в низах ручьи, и льется пенье птиц,
А на полянах снова припекает.

Густеет облаков волнистое руно;
Они сдвигаются, спускаются все ниже —
И вот уж солида нет; опять в лесу темно,
Дождь зашумел — и все слышней и ближе.

Нахохлясь, птицы спят, и тихо лес стоит
И точно чувствует, счастливый и покорный,
Как много свежести и силы благотворной
Весенняя гроза в себе таит!

1900

* * *

Еще утро не скоро, не скоро,
Ночь из тихих лесов не ушла.
Под навесами сонного бора —
Предрассветная теплая мгла.

Еще ранние птицы не пели,
Чуть сереют вверху небеса,
Влажно-зелены темные ели,
Пахнет летнею хвоей роса.

И пускай не светает подольше.
Этот медленный путь по лесам,
Эта ночь — не воротится больше,
Но легко пред разлукою нам...

Колокольчик в молчании бора
То замрет, то опять запоеет...
Тихо ночь по долинам идет...
Еще утро не скоро, не скоро.

1900

ПО ВЕЧЕРНЕЙ ЗАРЕ

Засинели, темнеют равнины...
Далеко, далеко в тишине
Колокольчик поет, замирая...
Мне грустней и больнее вдвойне.

Вот уж звук его плачет чуть слышно;
Вот и пыль над простором немым,
По широкой пустынной дороге,
Опускаясь, темнеет, как дым...

Но душа еще ждет и тоскует...
О, зачем ты и ночью и днем
Вспоминаешься мне так призывно?
Отчего ты везде и во всем?

Вслед заре, уходящей к закату,
Умиравшим звукам вослед
Посылаю тебе мою душу —
Мой печальный и нежный привет!

1900

* * *

Ночь печальна, как мечты мои.
Далеко в глухой степи широкой
Огонек мерцает одинокий...
В сердце много грусти и любви.

Но кому и как расскажешь ты,
Что зовет тебя, чем сердце полно!
— Путь далек, глухая степь безмолвна.
Ночь печальна, как мои мечты.

1900

РАССВЕТ

Высоко поднялся и белеет
Полумесiac в бледных небесах.
Сумрак ночи прячется в лесах.
Из долины деленых утром веет.

Веет юной радостью с полей.
Льется, как серебряное пенье,
Звон костела, слава воскресенья...
Разгорайся, новый день, светлей!

Выйди в небо, солнце, без ненастья,
Возродися в блеске и тепле,
Возвести опять по всей земле,
Что вся жизнь — день радости и счастья!

1900

РОДНИК

В глуши лесной, в глуши зеленой,
Всегда тевистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись в тиши,
Как в светлой влаге гольши
Дрожат мозаикой узорной.

1900

• • •

На мертвый якорь кинули бакан,
И вот среди кипящего залива,
Он прыгает и мечется тоскливо,
И звон его несется сквозь туман.

Осенний мрак сгущается вдали,
Подходит ночь,— и по волнам тяжелым
Нырлят и качаются за молом
Рыбацкие пустые корабли.

И мачты их среди темной высоты
Чертят туман все шире и быстрее,
И плавают среди тумана рей,
Как черные могильные кресты.

1900

• • •

К побережью моря длинная аллея
Ведет вдали как будто в небосклон:
Там море подымается, синее
Меж позабывших мраморных колонн.

Там на прибой идут ступени стройно
И львы лежат, как сфинксы, над горой;
Далеко в море важно и спокойно
Они глядят вечернею порой.

А на скамье меж ними одиноко
Сидит она... Нет имени для ней,
Но знаю я, что нежно и глубоко
Она с душой сроднилась моей.

Я ль не любил? Я ль не искал мятежно
Любви и счастья юность разделить
С душою женской, чистою и нежной,
И жизнь мою в другую перелить?

Но та любовь, что душу посещала,
Оставила в душе печальный след,—
Она звала, она меня прельщала
Той радостью, которой в жизни нет.

И от нее я взял воспоминанья
Лишь лучших дней и уж не ту люблю,
Кого любил... Люблю мечты созданья
И снова о несбыточном скорблю.

Вечерняя безмолвная аллея
Зовет меня к скалистым берегам,
Где море подымается, синея,
К пустынным и далеким небесам.

И горько я и сладостно тоскую,
И грезится мне светлая мечта,
Что воскресит мне радость веземую
Печальная земная красота.

1900

* * *

Открыты жививья золотые,
И светлой кажутся мечтой
Простор небес, поля пустые
И день, прохладный и пустой.

Орел, с дозорного кургана
Вамахнувший в этой пустоте,
Как над равниной океана
Весь четко виден в высоте.

И на кургане одиноком
Сдержав горячего кося,
Степь от заката до востока
В прозрачной дали вижу я.

Как пизко, вольно и просторно
Степных отав раскинут круг!
И как легко фатой узорной
Плывут два облачка на юг!

1900

• • •

Был поздний час — и вдруг над темнотой,
Высоко над уснувшюю землею,
Прорезав ночь оранжевой чертой,
Взвилась ракета бешеной змеею.

Стремительный порыв ее вознес.
Но миг один — и в темноту, в забвенье
Уже текут алмазы крупных слез,
И медленно их тихое паденье.

1901

• • •

Зеленый цвет морской воды
Сквозит в стеклянном небосклоне,
Алмаз предутренней звезды
Блестит в его прозрачном лоне.

И, как ребенок после сна,
Дрожит звезда в огне денницы,
А ветер дует ей в ресницы,
Чтоб не закрыла их она.

1901

• • •

Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день.
В лесу все серое, сухое,
И паутиной пала тень.

Змея, шурша листвою дубовой,
Зашевелилась в дупле
И в лес пошла, блестя лиловой,
Пятнистой кожей по земле.

Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка...
О миг счастливый, миг обманный,
Стократ блаженная тоска!

1901

• • •

Зарницы лик, как сновиденье,
Блеснул — и в темноте исчез.
Но увидал и на мгновенье
Всю даль и глубину небес.

Там, в горнем свете, встали горы
Из розоватых облаков,
Там град и райские соборы —
И снова черный пал покров.

Вот задрожал и вспыхнул снова —
И снова блещущий восторг.
Вновь мрак томления земного
Господь десницею расторг.

Не так же ль в радости случайной
Мечта взмахнет порой крылом —
И вдруг блеснет небесной тайной
Все потонувшее в былом?

1901

• • •

На глазки синие, прелестные
Нисходит сумеречный хмель:
Качайте, ангелы небесные,
Все тише, тише колыбель.

В заре сгорели тучки вешние,
И поле мирное темно:
Светите, дальние, нездешние,
Огни в открытое окно.

Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, овернувший лепестки,
Лампадка, бережно хранимая
Заботой божеской руки.

1901

НОЧЬ И ДЕНЬ

Старую книгу читаю я в долгие ночи
При одиноком и тихо дрожащем огне:
«Все мимолетно — и скорби, и радость, и песни,
Вечен лишь бог. Он в ночной неземной тишине».

Ясное небо я вижу в окно на рассвете.
Солнце восходит, и горы к лазури зовут:
«Старую книгу оставь на столе до заката.
Птицы о радости вечного бога поют!»

1901

РУЧЕЙ

Ручей среди сухих песков...
Куда спешит и убегает?
Зачем меж скудных берегов
Так стойко путь свой пролагает?

От зноя бледен небосклон,
Ни облачка в лазурь жаркой;
Весь мир как будто заключен
В песчаный круг в пустыне яркой.

А он, прозрачен, говорлив,
Он словно знает, что с востока
Придет он к морю, где залив
Пред ним раскроет даль широко —

И примет светлую струю,
Под вольной ширью небосклона,
В безбрежность синюю свою,
В свое торжественное лоно.

1901

* * *

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.

На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.

И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радуется привет!

На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час совет
Лишь для того, кто на вершине,

1901

* * *

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налюбуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона,
Как снегири в кустах звенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901

* * *

Высоко в просторе неба,
Все сияя белизною,
Вышло облачко на полдень
Над равнинной водяною.

Из болот оно возстало,
Из холодного тумана —
И замлело, засняло
В синей стали океана...

— Не затем ли ты возникло,
Чтобы в вечном отразиться?
Не затем ли ввысь стремилось,
Чтоб под солнцем раствориться?

Вышло облачко высоко,
Стало топкое, сквозное,
Улыбнулось одиноко —
И угасло в ярком дне.

1901

• • •

Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!
В лоне океана, в раковине тесной,
Рос он одиноко, как цветок безвестный,
На обломках мшистых мертвых кораблей.

Бурею весенней выброшен со дна,
Он лежал в прибое на побережье диком,
Где носились чайки над водою с криком,
Где его качала шумная волна...

Мил мне жемчуг нежный на груди твоей!
Сладко упиваясь юной красотой,
В светлом божьем мире я брожу мечтою,—
В небе, в блеске солнца, в тишине морей,

С перлами морскими под водой цвету,
Рассыпаюсь в рифах влагой голубою —
И одно есть счастье: разделить с тобою
Эту радость жизни, эту красоту!

1901

* * *

Дымится поле, рассвет белеет,
В степи туманной кричат орлы,
И дико-звонок их плач голодный
Среди холодной плывущей мглы.

В росе их крылья, в росе бурьяны,
Благоухают поля со сна...
Зарею сладок твой бодрый холод,
Твой томный голод,— твой зов, весна!

Ты победила,— вся степь дымится,
Над степью властно кричат орлы,
И тучи жарким горят пожаром,
И солнце шаром встает из мглы!

1901

* * *

Гроза прошла над лесом стороною.
Был теплый дождь, в траве стоит вода...
Иду один тропинкою лесною,
И в синеве вечерней надо мною
Слезою светлой искрится звезда.

Иду — и вспоминается мерцанье
Мне звезд иных... глубокий мрак ресниц,
И ночь, и тучи жаркое дыханье,
И молодой грозы благоуханье,
И трепет замирающих зарниц...

Все пронеслось, как бурный вихрь весной,
И все в душе я сохраняю, любя...
Слезою светлой блещет надо мною
Звезда весны за чашей кружевною...
Как я любил тебя!

1901

В СТАРОМ ГОРОДЕ

С темной башни колокол увыло
Возвещает, что закат угас.
Вот и снова город ночь сокрыла
В мягкий сумрак от усталых глаз.

И нисходит кроткий час покоя
На дела людские. В вышине
Грустно светят звезды. Все земное
Смерть, как страж, обходит в тишине.

Улицей бредет она пустынной,
Смотрит в окна, где чернеет тьма...
Всюду глухо. С важностью старинной
В переулках высятся дома.

Там в садах платаны зацветают,
Нежно веет раннею весной,
А на окнах девушки мечтают,
Упиваясь свежестью ночной,

И в молчанье только им не страшен
Близкой смерти медленный дозор,
Сонный город, думы черных башен
И часов задумчивый укор.

1901

• • •

Отошли закаты на далекий север.
Но всю ночь хранится солнца алый след.
Тихо в темном поле, сладко пахнет клевер,
Над землею брезжит слабый полусвет.

Это — ночи робких молодых мечтаний,
Предрассветный сумрак в чутком полусне.
Это — почтл грусти и воспоминаний,
Думы па закате о былой весне.

1901

• • •

Облака, как призраки развалил,
Встали на заре из-за долин.
Теплый вечер темен и печален,
В темном доме я совсем один.

Слабым звоном люстра отвечает
На шаги по комнате пустой...
А вдали зарп зарю встречает,
Ночь зовет бессмертной красотой.

1901

• • •

Стояли почи северного мая,
И реял в доме бледный полусвет.
Я лег уснуть, по, тишине внимая,
Все вспоминал о грсзх прежних лет.

Я вновь грустил, как в юности далекой,
И слышал я, как ты вошла в мой дом,—
Неуловимый призрак, одинокий
В старинном зале, низком и пустом.

Я различал за шелестом одежды
Твои шаги в глубокой тишине —
И сладкие, забытые надежды,
Мгновенные, стеснили сердце мне.

Я уловил из окоп свежесть мая,
Глядел во тьму с тревогой прежних лет...
И призрак твой и тишина немая
Сливались в грустный, бледный полусвет.

1901

НА МОНАСТЫРСКОМ КЛАДБИЩЕ

Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистою стеной монастыря...

О, ранний благовест и майская зоря!
Как этот звон, могучий и тяжелый,
Сливается с открытой и веселой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты,—
Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,
Коснулась солнечной поющей высоты!

1901

К Е Д Р

Темный кедр растет среди долины,—
Я люблю долины тихих гор,
Видит он далекие вершины
И глядится в зеркало озер.

Темный кедр один в горах тоскует,—
Я люблю печаль весенних дней,—
А крутом зеленый лес ликует
И цветут фиалки у корней.

Вожий мир люблю я,— в вечной смене
Он живет и красотой цветет...
Как поверить злобе или измене?
Темный час проходит и пройдет!

Темный кедр растет среди долины,—
Расцветай, наперекор судьбе!
Быстро дни идут, но ни единый
Не пройдет без думы о тебе!

1901

* * *

В поздний час мы были с нею в поле.
Я дрожа касался нежных губ...
«Я хочу объятия до боли,
Будь со мной безжалостен и груб!»

Утомясь, она просила нежно:
«Убаюкай, дай мне отдохнуть,
Не целуй так крепко и мятельно,
Положи мне голову на грудь».

Звезды тихо искрились над нами,
Тонко пахло свежестью росы.
Ласково касался я устами
До горячих щек и до носы.

И она забылась. Раз проснулась,
Как дитя, вздохнула в полусне,
Но, взглянувши, слабо улыбнулась
И опять прижалась ко мне.

Ночь дарила долго в темном поле,
Долго милый сон я охранял...
А потом на золотом престоле,
На востоке, тихо засиял

Новый день,— в полях прохладно стало...
Я ее тихонько разбудил
И в степи, сверкающей и алой,
По росе до дому проводил.

1901

НОЧЬ

Ищу я в этом мире сочетанья
Прекрасного и вечного, Вдали
Я вижу ночь: пески среди молчанья
И звездный свет над сумраком земли.

Как письмена, мерцают в тверди синей
Плеяды, Вега, Марс и Орион.
Люблю я их течение над пустыней
И тайный смысл их царственных имен!

Как ныне я, миряды глаз следили
Их древний путь. И в глубине веков
Все, для кого они во тьме светили,
Исчезли в ней, как след среди песков:

Их было много, нежных и любивших,
И девушек, и юношей, и жен,
Ночей и звезд, прозрачно-серебривших
Евфрат и Нил, Мемфис и Вавилон!

Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта
Юпитер озарлет небеса,
И в зеркале воды, до горизонта,
Столпом стеклянным съетит полоса.

Прибрежья, где бродили тавро-скифы,
Уже не те, — лишь море в летний штиль
Все так же сыплет ласково на рифы
Лазурно-фосфорическую пыль.

Но есть одно, что вечной красотою
Связует нас с отжившими. Была
Такая ж ночь — и к тихому прибою
Со мной на берег девушка пришла.

И не забыть мне этой ночи звездной,
Когда весь мир любил я для одной!
Пусть я живу мечтою бесполезной,
Туманной и обманчивой мечтой, —

Ищу я в этом мире сочетавья
Прекрасного и тайного, как сон.
Люблю ее за счастье слиянья
В одной любви с любовью всех времен!

1901

• • •

Спокойный взор, подобный взору лани,
И все, что в нем так пещно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уже в тумане.

А будут дни — угаснет и печаль,
И засинеет сон воспоминанья,
Где нет уже ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.

1901

• • •

За все тебя, господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.

Я одинок и ныне — как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.

И счастлив я печальною судьбой
И есть отрада сладкая в сознание,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю — с тобой.

1901

• • •

Высоко наш флаг трепещет,
Гордо вздулся парус полный,
Встал, огромный и косой;

А навстречу зыбью плещет,
И бегут — змеятся волны
Быстрой, гибкой полосой.

Изумруд горит, сверкая,
В ней, как в раковине тесной,
Медью светит на борту;

А кругом вода морская
Так тяжка и полновесна,
Точно ртутью налита.

Ходит зыбкими буграми,
Ходит мощно и упрuto,
Высоко возносит челя —

И бегущими горами
Принимают друг от друга
Нас крутые гребни волн.

1901

У Т Р О

Светит в горы небо голубое,
Молодое утро сходит с гор.
Далеко внизу — кайма прибоя,
А за ней — сияющий простор.

С высоты к востоку смотрят горы,
Где за нежно-млечной синевой
Тают в море белые узоры
Отдаленной цепи снеговой.

И в дали, таинственной и зыбкой,
Из-за гор восходит солнца свет —
Точно горы светлою улыбкой
Отвечают братьям на привет.

1901

ВЕСНЯНКА

(Отрывок)

Перед грозой, в Петровки, жаркой ночью,
Среди лесного ропота и шума,
Спешил я, спотыкаясь на коряги
И путаясь меж елок, за Веснянкой.

Она неслась стрелой среди деревьев
И, белая, мелькала в темноте,
Когда зарницу ветром раздувало,
А у меня уж запеклись уста
И сердце трепетало точно голубь.
«Постой!» — хотел я крикнуть — и не мог.

Мы долго с ней бежали по болоту,
Вдоль озера, вдоль отмели, заросшей
Купавами, травой и камышами,
И наконец я выбился из сил.
Хочу сказать: «Остановись, не бойся!»
Она на миг оглянется — и в путь!
А между тем поднялся ветер,
Деревья недовольно зароптали,
Задвигали мохнатой хвоей ели,
И звезды замелькали из-за них.
Кричу за ней: «Остановись, послушай!»
Я все равно до света не отстаю.
Ты понапрасну мучишься...» Не слышит!

Вдруг молния всю чащу озарила
Таинственным и бледно-синим светом...
«Стой! — крикнул я. — Лишь слово! Я не
трону...»

(Она остановилась на мгновение.)
«Ответь, — вскричал я, — кто ты? И зачем
Ты здесь со мной встречалась вечерами,
Ждала меня над заводью темневшей,
Где сумрачно и тускло рдели воды?
Зачем со мной ты слушала, грустя,
Далеких песен радость молодую?
Зачем потом, когда они смолкали
И только комары звенели сонно
Да пежно пахло сонною водой,
Ты разбирала ласково мне кудри,
А я глядел с твоих колен в глаза?
Зачем во тьме, когда из тихой рощи
Гремели соловьи, ты наклонялась
К моей щеке горячею щекой
И целовала сладко, осторожно,

А после все томительней и крепче?
Скажи, зачем?...» Она лицо руками
Закрыла вдруг и кинулась вперед.

И долго мы, как звери за добычей,
Опять бежали в роще. Шумный ливень
По темным чащам с громом бушевал,
Доль раскрывали молнии, и ярко
Белело платье девичье... Но вдруг
Оно исчезло, точно провалилось.
Я выскочил с разбега на опушку,
Упал в овес, запутанный и мокрый,
И зарыдал, забился...

1901

Полями пахнет, — свежих трап,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубраи
Я в нем ловлю благоуханье.

Повеет ветер — и замрет...
А над полями даль темнеет,
И туча из-за них растет,
Закрыла солнце и синее.

Нежданной молнии игра,
Как меч, блеснувший на мгновенье,
Вдруг озарит из-за бугра —
И снова сумрак и томленье...

Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твоё молчанье,
Твое внезапное блистанье,
Твои безумные глаза!

1901

Звезда над темными далекими лесами
Всех ярче искрится, прекрасна и грустна.
В прозрачном сумраке царит под небесами
Ночная тишина.

Как откровению, я тишине внимаю,
Не отрывая глаз от звездной вышины,
И мнится, что опять душою постигаю
Таинственную речь и звезд и тишины, —

Опять, как в те часы, когда глядел, бывало,
Ребенком я в ночной, весенний небосклон
И реял надо мной спокойно и устало
Безгрешный детский сон,

А за плечом моим, в одеждах белоснежных,
Стоял хранитель мой — и кроткая печаль
Была в его очах, задумчивых и нежных,
Безмолвно устремленных вдаль...

1901

НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ

Несть, господи, грехов и злодеяний
Превыше милосердья твоего!
Рабу земли и суетных желаний
Прости грехи за горести его.

Завет любви хранил я в жизни святой
Во дни тоски, наперекор уму,
Я не питал змею вражды на брата,
Я все простил, по слову твоему.

Я, тишину познавший гробовую,
Я, воспрियाвший скорби темноты,
Из недр земных земле благовествую
Глаголы Незакатной Красоты!

1901

ИЗ АПОКАЛИПСИСА

И я узрел: отверста дверь на небо,
И прежний глас, который слышал я,
Как звук трубы, гремевшей надо мною,
Мне повелел: войди и зри, что будет.

И дух меня мгновенно осепил.
И се — на небесах перед очами
Стоял престол, на нем же был сидящий.

И сей сидящий, славою сляя,
Был точно камень яспис и сардис,
И радуга, подобная смарагду,
Его престол широко обняла.

И вокруг престола двадесять четыре
Других престола было, и на каждом
Я видел старца в ризе белоснежной
И в золотом венце на голове.

И от престола исходили гласы,
И молнии, и громы, а пред ним —
Семь огненных светильников горели,
Из коих каждый был господний дух.

И пред лицом престола было море,
Стеклянное, подобное кристаллу,
А посреди престола и окрест —
Животные, число же их четыре.

И первое подобно было льву,
Тельцу — второе, третье — человеку,
Четвертое — летящему орлу.

И каждое из четырех животных
Три пары крыл имело, а внутри
Они очей исполнены без счета
И никогда не ведают покоя,
Взывая к Славе: свят, свят, свят, господь,
Бог вседержитель, коий пребывает
И был во веки века и грядет!

Когда же так называют, воздавал
Честь и хвалу живущему вовеки,
Сидящему во славе на престоле,
Тогда все двадцать четыре старца
Ниц у престола падают в смиренье
И, поклоняясь сущему вовеки,
Кладут венцы к престолу и рекут:

«Воистину достоин восприяти
Ты, господи, хвалу, и честь, и силу
Затем, что все тобой сотворено
И существует волею твоею!»

1901

• • •

Пока я шел, я был так мал!
Я сам себе таким казался,
Когда хребет далеких скал
Со мною рос и возвышался.

Но на предельной их черте
Я перерос их восхождение.
Один, в пустынной высоте,
Я чую высших сил томленье.

Земля — подножие мое.
Ее громада поднимает
Меня в иное бытие,
И душу радость обнимает.

Но бездны страх — он не исчез,
Он набегает издалека...
Не потому ль, что одиноко
Я заглянул в лицо небес?

1901

* * *

Из тесной пропасти ущелья
Нам небо кажется синей.
Привет тебе, немал келья
И радость одиноких дней!

Звучней и песни и рыданья
Гремят под сводами тюрьмы.
Привет вам, гордые страданья,
Среди ее холодной тьмы!

Из рудников, из черной бездны
Нам звезды видны даже днем.
Гляди смелее в сумрак звездный —
Предвечный свет таится в нем!

1901

* * *

Не слышать еще тяжкого грома за лесом —
Только сполох зарниц пробегает в вершинах.
Лапы елей висят неподвижным навесом,
И запуталась хвоя в сухих паутинах.

Если ж молния вспыхнет, как пламя над горном,
Раскрываются чащи в изломах неверных,
Точно древние своды во храмах пещерных,
В подземелье Перуна, высоком и черном!

1901

• • •

Любил он ночи темные в шатре,
Степных кобыл залихватое ржанье,
И перед битвой волчье завыванье,
И коршунов на сумрачном бугре.

Страсть буйной мощи силясь утолить,
Он за врагом скакал как иступленный,
Чтоб дерзостью погони опьяненной,
Горячей кровью землю напоить.

Стрелой скиф насквозь его пробил,
И там, где смерть ему закрыла очи,
Восстал курган — и темный ветер ночи
Дождем холодных слез его кропил.

Прошли века, но слава дряпей были
Жила в веках... Нет смерти для того,
Кто любит жизнь, и песни сохранили
Далекое наследие его.

Они поют печаль воспоминаний,
Они бессмертье прошлого поют
И жизни, отошедшей в мир преданий,
Свой братский зов и голос подают.

1901

• • •

Это было глухое, тяжелое время.
Дни в разлуке текли, я, как мертвый, блуждал;
Я коня на закате седлал
И в безлюдном дворе ставил ногу на стремя.

На горе меня темное поле встречало.
В темноту, на восток, направлял я коня —
И пустынная ночь окружала меня
И, склонивши колосья, молчала.

И, молчанию внимая, я тихо склонился
Головой на лугу. Я без мысли глядел
На дорожную пыль и душой холодел,
И в холодной тоске забывался.

1901

* * *

Моя печаль теперь спокойна,
И с каждым годом все ясней
Я вижу даль, где прежде знойно
Спвела дымка летних дней...

Так в тишине приморской виллы
Слышнее осенью прибой,
Подобный голосу Сибиллы,
Бесстрастной, мудрой и слепой.

Так на заре в степи широкой
Слышнее колокол вдали,
Спокойный, веющий и далекий
От мелких горестей земли,

1901

* * *

Звезды ночи осенней, холодные звезды!
Как угрюмо и грустно мерцает вы!
Небо тускло и глухо, как купол собора,
И заливы морские — темны и мертвы.

Млечный Путь над заливами смутно белеет,
Точно саван ночной, точно бледный просвет
В бездну Вечных Ночей, в запредельное небо
Где ни скорби, ни радости нет.

И осенние звезды, угрюмо мерца
Безнадежным мерцанием тусклых лучей,
Говорят об ипой — о предвечной печали
Запредельных Ночей.

1901

* * *

Шумели листья, облетая,
Лес заводил осенний вой...
Каких-то серых птичек стал
Кружилась по ветру с листвою.

А я был мал, — беспечной шуткой
Смятенье их казалось мне:
Под гул и шорох пляски жуткой
Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным
Кружиться по лесу, кричать —
И каждый мертвый лист встречать
Восторгом радостно-безумным!

1901

* * *

Светло, как днем, и тень за нами бродит
В наших кустах. На серебре травы
Луна с небес таинственно обводит
Сияние вокруг темной головы.

Остановясь, ловлю твой взор прощальный,
Но в сердце холод мертвенный таю —
И бледный лик, загадочно-печальный,
Под бледною луной не узнаю.

1901

Смотрит месяц ненастный, как сыплются желтые листья,
Как проносится ветер в беспомощно-зыбком саду.
На кусты и поляны в тоске припадают деревья:
«Провоси, вольный ветер, скорей эту жуткую ночь!»

С неземною печалью глядит затуманенный месяц...
Ветер в жутком восторге проносится в черных кустах:
«Достигайте в несчастьи радости мук беспредельных!
Приготовьтесь к Великому мукой великих потерь!»

1901

ОТРЫВОК

В окно я вижу груды облаков,
Холодных, белоснежных, как зимою,
И яркость неба влажно-голубого.
Осенний полдень светел, и на север
Уходят тучи. Клены золотые
И белые березки у балкона
Сквозят на небе редкою листвою,
И хрусталем на них сверкают льдинки.
Они, качаясь, тают, а за домом
Бушует ветер... Двери на балконе
Уже давно заклеены к зиме,
Двойные рамы, топленые печи —
Все охраняет ветхий дом от стужи,
А по саду пустому кружит ветер
И, листья подметая по аллеям,
Гудит в березах старых... Светел день,
Но холодно, — до снега недалеко.

Я часто вспоминаю осень юга...
Теперь на Черном море непрерывно
Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,

Скалистый берег, бешеный прибой
И по волнам сверкающая пена...
Ты помнишь этот берег, окаймленный
Ее широкой снежною грядой?
Бывало, мы сбегим к воде с обрыва
И жадно ловим ветер. Вольно веет
Он бодростью и свежестью морской;
Срывая брызги с бурного прибоя,
Он влажной пылью воздух наполняет
И снежных чаек носит над волнами.
Мы в шуме волн кричим ему навстречу,
Он валит с ног и заглушает голос,
А нам легко и весело, как птицам...

Все это сном мне кажется теперь.

1901

ЭПИТАЛАМА

Озарен был сумрак мрачный
В старом храме, и сиял
Чистый образ новобрачной
При огнях, в фате прозрачной,
Под молитвенный хорал.

А из окон ночь сыпела;
Зимний вечер темен был,
Вьюга в сумраке шумела,
Грустно с колоколом пела,
Подымая снег с могил...

Сохрани убор венчальный,
Сохрани цветы твои:
В жизни краткой и печальной
Светит только безначальный,
Непорочный свет любви!

1901

• • •

Морозное дыхание метели
Еще свежо, но улеглась метель.
Белеет снега мшистая постель,
В сугробах стынут траурные ели.

Ночное небо низко и черно,—
Лишь в глубине, где Млечный Путь белеет,
Сквозит его таинственное дно
И холодом созвездий пламенеет.

Обрывки туч порой темнеют в нем...
Но стынет ночь. И низко над землею
Усталый вихрь шипящею змеею
Скользит и жжет своим сухим огнем.

1901

• • •

Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустарник,
Точно в снежную даль убегает в испуге.
В белом поле стога, косогор и забытый овчарник
Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги.

Дымный ветер кружит и несет в небе вбродом боком,
Конский след на бегу порошит-заметает...
Воп прохожий вдали. Истомлен на пути одиноком,
Мертвым шагом он мерно и тупо шагает.

«Добрый путь, человек! Далеко ль до села, до ночлега?»
Он не слышит, идет, только голову клонит...
А куда и спешить против холода, ветра и снега?
Родились мы в снегу,— вьюга нас и схоронит.

Завесет равнодушно, как стог, как забытый овчарник...
Хорошо ей у нас, на просторе великом!
Бесприютная жизнь, одинокий под бурей кустарник,
На тебе одолеть в поле темном и диком!

1901

НА ОСТРОВЕ

Люблю я ваш обрыв, где дикою грядою
Белеют стены скал, смотря на дальний юг.
Где моря синего раскинут полукруг,
Где кажется, что мир кончается водою,
И дышится легко среди безбрежных вод.

В веселый летний день, когда на солнце блещет
Скалистый известняк и в каждый звонкий грот
Зеленая вода хрустальной влагой плещет,
Люблю я зной и ширь, и вольный небосвод,
И острова пустынные высоты.

Ласкают их ветры, и волны лижут их,
А чайки зоркие заглядывают в гроты,—
Косятся в чуткий мрак пещер береговых
И вдруг, над белыми утесами взмывая,
Сверкают крыльями в просторах голубых,
Кого-то жалобно и звонко призывая.

1901

• • •

Не устану воспевать вас, звезды!
Вечно вы таинственны и юны.
С детских дней я робко постигаю
Темных бездн сияющие руны.

В детстве я любил вас безотчетно,—
Сказкою вы нежною мерцали.
В молодые годы только с вами
Я делил надежды и печали.

Вспоминая первые признанья,
Я иду меж вами образ милый...
Дни пройдут — вы будете светиться
Над моей забытою могилой.

И быть может, я пойму вас, звезды,
И мечта, быть может, воплотится,
Что земным надеждам и печалям
Суждено с небесной тайной слиться!

1901

КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ

Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем допелея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Замело чащи леса метелью,—
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.

Тишина, — даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, — а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви в тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.

Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играл,
На востоке, у трона господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, — и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

1886—1901

• • •

Перед закатом набежало
Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга упала,
И засверкало все вокруг.

Стеклянный, редкий и ядреный,
С веселым шорохом спеша,
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладою дыша.

Вот день! Уж это не впервые:
Прольется — и уйдет из глаз...
Как эти ливни золотые,
Пугая, радовали нас!

Едва лишь пробежим до чаши —
Все стихнет... О, росистый куст!
О, взор, счастливый и блестящий,
И холодок покорных уст!

1902

* * *

Багряная печальная луна
Висит вдали, но степь еще темна.
Луна во тьму свой теплый отблеск сеет,
И над болотом красный сумрак реет.
Уж поздно — и какая тишина!

Мне кажется, луна оцепенеет:
Она как будто выросла со дня
И допотопной лилией краснеет.

Но меркнут звезды. Даль озарена.
Равнина вод на горизонте млеет,
И в ней луна столбом отражена.
Склонив лицо прозрачное, светлеет
И грустно в воду смотрится она.

Поет комар. Теплом и гнилью веет.

1902

С М Е Р Т Ь

Спокойно на погосте под луною...
Крестов объятъ, камни и сирень...
Но вот наш склеп,— под мраморной стеною,
Как темный призрак, вытянулась тень.

И жутко мне. И мой двойник могильный
Как будто ждет чего-то при луне...
Но я иду — и тень, как раб бессильный,
Опять ползет, опять покорна мне!

1902

ЛЕСНАЯ ДОРОГА

В березовом лесу, где распевают птицы,
Где в шелковой траве сквозь тень лучи горят,
Темнеют холмики — могил забытых ряд,
А под березами, как юные черницы,
Смиречно елочки зеленые стоят.

Был здесь когда-то скит, как говорят преданья,
И десять девственников, отрекшись от земли,
В нем приняли обет святого созерцанья,
Держали строгий пост и, как цветы, цвели
Под пеньем божьих птиц и странников сказанья.

Был здесь дремучий бор, в народе говорят,
Был долгий стан татар, в лесах кипели битвы;
Потом был этот край спокоен и богат,
И древний скудный скит и подвиги молитвы
Забылись, точно сон, уж много лет назад.

Немало было снов,— зачем нам помнить их?
И вот опять весна. В лесу все зеленеет,
Лес сенокоса ждет, а небосклон синее
Меж белых облаков, среди вершин лесных,
И на глазах трава в полдневном зное млеет.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем как счастье жить вовеки не умрет,
Покуда над землей заря зарю выводит
И молодая жизнь родится в свой черед.

Бежит зеленый лес, поют и свищут птицы,
А вон и озеро, песчаный, белый скат...
Пошел! И бубенцы играют и гремят,
В колесах, как лучи, блестят на солнце спицы,
И кружева тепей но лошадям скользят...

1902

НА ОЗЕРЕ

(Отрывок)

На озере, среди лесов зеленых,
Кувшинки белые, как звезды, расцвели.
В Петровки, в жаркий день, когда в бору сосновом
Так сухо и светло от солнца и песков,
Я прихожу на луг, под тень ольхи серебристой,
Где пахнет мятою и теплою водой,
Где реют радужно-стеклянные стрекозы
И блещет озеро среди стволов берез.

На озере, в веселый летний полдень,
Я слышу женский смех, далекий крик и плеск,
В бору за озером аукается кто-то —
И сладко мне дремать и слушать в полусне...
Люблю я молодых, счастливых и беспечных,
Люблю зеленый лес и долгий летний день,
Все голоса его меня зовут, волнуют...
Но я заката жду...

Закроются на озере кувшинки...
Как ночь в лесу темна, спокойна и тепла!
Кузнечики в траве чуть шепчутся. Сквозь ветви
Белеет озеро, — там звезды в глубине...

Стоишь и слушаешь — и кажется, что звезды
Глядят из темных вод, и светляки в кустах
Для тех, кто ждет любви, затеплялись недвижно...
И вот она идет, — неслышно и легко.

Таинственно с песчаного побережья
Она сойдет к воде, одежды тихо сияв, —
И ласковым теплом вода ее обнимет,
И закачается у берега звезда.
Как жутко-хорошо в ночном подводном небе!
Какая глубина!..
Прохлады и легки одежды после влаги,
Песок еще хранит полдневное тепло...

1902

• • •

Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена
И небо меж снастей синее в вышине,
Люблю твой бледный лик, печальный Селена,
Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.
Люблю под шорох волн рыбацкие папевы,
И свежесть от воды — ночные вздохи волн,
И созданный мечтой, манящий образ деви,
И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

1902

• • •

Если б вы и сошлись, если б вы и смирились, —
Уж не той она будет, не той!
Кто перпет тот закат, как налек вы простились,
Темный взор, засиявший слезой?

Дни бегут — и теперь от бывшего остались
Только думы о том, чего нет,
Лишь цветы, что цвели в день, когда вы венчались,
Да поблекший портрет!

1902

* * *

Чашу с темным вином подала мне богиня печали.
Тихо выпив вино, я в смертельной истоме попил.
И сказала бесстрастно, с холодной улыбкой богиня:
«Сладок яд мой хмельной. Это лозы с могилы любви».

1902

* * *

Крест в долине при дороге,
А на нем, на ржавых копьях
У подножия распятья,
Из степных цветов венок...
Как был ясен южный вечер!
Как любил я вечерами
Уходить в простор долины,
К одинокому кресту!

Тяжело в те дни мне было.
Я был молод, я навеки
С тем, кому я отдал душу,
Расставался в эти дни.
Чья же грусть мою смирляла?
Кто, задумчивый и кроткий,
Сплел в долине при дороге
Из степных цветов венок?

За широкою долиной,
В балках, даль полей синела,
Южный августовский вечер
Был спокоен, тих и ясен,
А в долине кто-то пел.
И звала меня, томила
Даль полей, что поздним летом
Так прекрасна и бесстрашна,
Так безлюдна и грустна.

1902

Как все спокойно и как все открыто!
Как на земле стало тихо и бедно!
Сад осыпается,— все в нем забыто,
Небо велико и холодно-бледно...

Небо далекое, не ты ли, немое,
Меня пугаешь своим простором?
Здесь, в этой бедности, где все родное,
Встречу я осень радостным взором.

Еще рассеял огонь листопада,
И редкие краски ласково-ярки;
Еще синицы свищут из сада,
И как им тихо в забытом парке!

И только ночью, когда бушует
Осенний ветер, все чуждо снова...
И одинокое сердце тоскует:
О, если бы близость сердца родного!

1902

БРОДЯГИ

На позабытом тракте к Оренбургу,
В бесплодной и холмистой котловине
Большой, глухой дороги на восток,
Стоит в лугу холщовая кибитка
И бродит кляча в путях. Ни души
Нет на лугу,— цыган в кибитке дремлет,
И девочка-подросток у дороги
Сидит себе одна и равнодушно,
С привычной скукой, смотрит на закат:
На солнце, уходящее за пашню,
На блеск лучей над темным косогором.
Наморщив лоб от ветра, вся в лохмотьях,
Она следит в безлюдье за холодным,

Печальным солнцем, тенью от холма
И алой пылью, веющей с дороги
Из-под копыт кобылы,— то молчит,
То будто грезит,— что-то напевает...
Какая глушь! Какая скудость жизни!
Какие заунывные напевы!

Вот вечереет, соляще в тучку село,
Темнеет в котловине, ветер дует,
И ночь идет... Пошли господь бродягам
Не думать днем и не слышать, как ночью
Шатается в сухом бурьяне ветер
И что-то шепчет, словно в забыты!
Спи под кибиткой, девочка! Проснешься —
Буди отца больного, запрягай —
И снова в путь... А для чего,— кто скажет?
Жизнь, как могила в поле, молчалива.

1902

ЗАБЫТЫЙ ФОНТАН

Рассыпался чертог из лютаря,—
Из края в край сквозит аллея к дому.
Холодное дыханье сентября
Разносит ветер по саду пустому.

Он замечает листьями фонтан,
Взвывает их, внезапно палетая,
И, точно птиц испуганная стая,
Кружат они среди сухих полей.

Порой к фонтану девушка приходит,
Влача по листьям спущенную шаль,
И подолгу очей с него не сводит.

В ее лице — застывшая печаль,
По целым дням она, как призрак, бродит,
А дни бегут... Им никого не жаль.

1902

ЭПИТАФИЯ

Я девушкой, невестой умерла.
Он говорил, что я была прекрасна,
Но о любви я лишь мечтала сжартно,—
Я краткими надеждами жила.

В апрельский день я от людей ушла,
Ушла навек покорно и безгласно —
И все ж была я в жизни не напрасно:
Я для его любви не умерла.

Здесь, в тишине кладбищенской аллеи,
Где только ветер веет в полусне,
Все говорит о счастье и весне.

Совет любви на старом мавзолее
Звучит бессмертной грустью обо мне,
А небеса синеют вдоль аллеи.

1902

ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ОБЕРЛАНДЕ

Лазурным пламенем сияют небеса...
Как ясен зимний день, как восхищают взоры
В безбрежной высоте изваянные горы,—
Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса,
И белые поля сквозят в ее узоры,
А выше, точно-рать, бредет на косогоры
Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовет их горный мир, зовут снегов пустыни,
И тянет к ним уйти,— быть вольным, как дикарь,
И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты — пигмей и царь,
Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий
И блещет Зильбергорн, как ледяной алтарь!

1902

КОНДОР

Громады гор, зазубренные скалы
Из океана высятся грядой.
Под ними берег, дикий и пустой,
Над ними кондор, тяжкий и усталый.

Померк закат. В ущелья и провалы
Нисходит ночь. Говимый темнотой,
Уродливо-плечистый и худой,
Он медленно опускается на скалы.

И долгий крик, звенящий крик тоски,
Вдруг раздается жалобно и властно
И замирает в небе. Но бесстрастно

Сплетает море. Скалы и пески
Скрывает ночь — и веет на вершине
Дыханьем смерти, холодом пустыни.

1902

• • •

Широко меж вершин дубравы
Струилась синяя река;
Благоухая, сохли травы,
Дымясь, курились облака.

Дымясь, вставали из-за леса
На склоп небес — и вот одно
Могучим обликом Зевеса
Воздвигло снежное руно...

Но тает призрак величавый —
И скопа светозарный сон,
И снова меж вершин дубравы —
Лазури пламенный затон,

1902

СЕВЕРНАЯ БЕРЕЗА

Над озером, над заводью лесной —
Нарядная зеленая береза...
«О девушки! Как холодно весной:
Я вся дрожу от ветра и мороза!»

То дождь, то град, то снег, как белый пух,
То солнце, блеск, лазурь и водопады...
«О девушки! Как весел лес и луг!
Как радостны весенние наряды!»

Опять, опять пахмурилось, — опять
Мелькает снег и бор гудит сурово...
«Я вся дрожу. Но только б не измять
Зеленых лент! Ведь солнце будет снова».

15.1.03

ПОРТРЕТ

Погост, часовенка над склепом,
Ветки, лампадки, образа
И в раме, перевитой крепом, —
Большие ясные глаза,

Сквозь пыль на стеклах, жарким светом
Внутри часовенка горит.
«Зачем я в склепе, в полдень, летом?» —
Незримый кто-то говорит.

Кокетливо-проста прическа
И пелеринка на плечах...
А тут повсюду — капли воска
И багты крепа на свечах,

Венки, лампадки, пахнет тленьем...
И только этот милый взор
Глядит с веселым изумленьем
На этот погребальный вздор.

Март, 1903?

М О Р О З

Так ярко звезд горит узор,
Так ясно Млечный Путь струится,
Что занесенный снегом двор
Весь и блестит и фосфорится.

Свет серебристо-голубой,
Свет от созвездий Ориона,
Как в сказке, льется над тобой
На снег морозный с небосклона.

И фосфором дымится снег,
И видно, как мерцает нежно
Твой ледяной душистый мех,
На плечи кинутый небрежно,

Как серьги длинные блестят,
И потемневшие зеницы
С восторгом жадности глядят
Сквозь серебристые ресницы.

21.VII.03

Норд-остом жгут пылающие зори.
Острей горит Вечерняя звезда.
Зеленое взволнованное море
Еще огромней, чем всегда.

Закат в огне, звезда дрожит алмазом.
Нет, рыбаки воротятся не все!
Ледяно-белым, страшным глазом
Маяк сверкает на косе.

25.VIII.03

ПОСЛЕ БИТВЫ

Воткнув копьё, он сбросил шлем и лег.
Курган был жесткий, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жег...
Осенней сухью жарко дуло с юга.

И умер он. Окостенел, застыл,
Припав к земле тяжелой головою.
И ветер волосами шевелил,
Как ковылем, как мертвою травой.

И муравьи закопошились в вих...
Но равнодушно все вокруг молчало,
И далеко среди полей нагих
Копьё, в курган воткнутое, торчало.

31.VIII.03

* * *

На окне, серебряном от инея,
За почь хризантемы расцвели.
В верхних стеклах — небо ярко-синес
И застреха в снеговой пыли.

Всходит солнце, бодрое от холода,
Золотится отблеском окно.
Утро тихо, радость и молодо.
Белым снегом все запушено.

И все утро яркие и чистые
Буду видеть краски в вышине,
И до полдня будут серебристые
Хризантемы на моем окне.

VIII.03

* * *

В сумраке утра проносится призрак Одина —
Там, где кончается свет.
Северный ветер, Одину вослед,
На побережьях Лохлина
Гонит туманы морей по земле,
Свищет по вереску... Тень исполина
Вдруг вырастает во мгле —
Правит коня на побережья Лохлина.
Конь по холодным туманам идет,
Тонет, плывет и ушами прыдет,
Белым дыханием по ветру пышет,
Вереска свист завывающий слышит,
Голову тянет к нему... А взмахнет
Ветер морской — и в туманах Лохлина
Шлем золоченый блеснет!
— Утром проносится призрак Одина.

30.XII.03

ЖЕНА АЗИСА

Неверную меняй на рис.

Древнее, симферопольское.

Уличил меня в измене,
Мой Али,— он был Азис,
Божий праведник,— в Сюрени¹
Променял меня на рис.

Умер повый мой хозяин,
А недавно и Али,
И на гроб его с окраин
Все калеки поподзля.

Шля и женщины толпами,
Побрела и я шута,
Розу красную губами
Подведенными крутя.

Вот и роща, и пригорок,
Где зарыт он... Ах, Азис!
Ты бы должен был раз сорок
Променять меня на рис.

1903

КОВСЕРЬ

Мы дали тебе Ковсерь.

Корак.

Здесь царство снов. На сотни верст безлюдны
Солончаков нагие берега.
Но воды в них — небесно-изумрудны
И шелк песков белее, чем снега.

¹ Сюрень — древнее татарское название Симферополя.
(Прим. И. А. Бунина.)

В шелках песков лишь сизые полыни
Растит аллах для кочевых отар,
И небеса здесь несказанно сини,
И солнце в них — как адский огонь, Сакар.

И в знойный час, когда мираж зеркальный
Сольет весь мир в один великий сон,
В безбрежный блеск, за грань земли печальной,
В сады Джиннат уносит душу он.

А там течет, там льется за туманом
Река всех рек, лазурная Ковсерь,
И всей земле, всем племенам и странам
Сулит покой. Терпи, молись — и верь.

1903

• • •

Звезды горят над безлюдной землёю,
Царственно блещет святое созвездие Пса:
Вдруг потемнело — и огненно-красной змеёю
Кто-то прорезал над темной землей небеса.

Путник, не бойся! В пустыне чудесного много.
Это не вихри, а дживны тревожат ее,
Это архангел, слуга милосердного бога,
В демопов ночи метнул золотое копье.

1903

НОЧЬ АЛЬ-КАДРА

В эту ночь ангелы сходят с неба.

Коран.

Ночь Аль-Кадра. Сошлись, слились вершины,
И выше к небесам воздвиглись их чалмы.

Пел муэzzин. Еще алеют льдины,
Но из теснин, с долин уж дышит холод тьмы.

Ночь Аль-Кафра. По темным горным склонам
Еще спускаются, слоятся облака.
Пел муэдзин. Перед Великим Троном
Уже течет, дымясь, Алмазная Река.

И Гавриил — неслышно и незримо —
Обходит спящий мир. Господь, благослови
Незримый путь святого пилигрима
И дай земле твоей ночь мира и любви!

1903

* * *

Далеко на севере Капелла
Блещет семицветным огоньком,
И оттуда, с поля, тянет ровным,
Ласковым полуночным теплом.
За окном по лопухам чернеет
Тень от крыши; дальше, на кусты
И на живые, лунный свет ложится,
Как льняные белые холсты.

1903

* * *

Проснулся я внезапно, без причины.
Мне снилось что-то грустное — и вдруг
Проснулся я. Сквозь голые осины
В окно глядел туманный лунный круг.

Усадьба по-осеннему молчала.
Весь дом был мертв в полночной тишине,
И, как ребенок брошенный, кричала
Ушастая пустушка на гумне.

1903

• • •

Старик у хаты велл, подкидывал лопату,
Как раз к святому Спасу поковчия с молотьбой.
Старуха в черной плахте белила мелом хату
И облодила окна каймою голубой.

А солнце, розовея, в степную пыль садилось —
И тени ног столбами ложились на гумно,
А хата молодела — зарделась, застыдилась —
И празднично блестело протертое окно.

1903

• • •

Уж подсыхает хмель на тыне.
За хуторами, на бахчах,
В нежарких солнечных лучах
Краснеют бронзовые дыни.

Уж хлеб свезен, и вдалеке,
Над старою степною хатой,
Сверкает золотой заплатой
Крыло на сером ветряке.

1903

• • •

Там, на припеке, спят рыбацкие ковши;
Там низко над водой склоняются кистями
Темно-зеленые густые камыши;
Полдневный ветерок змеистыми струями

Порой зашелестит в их потайной глуши,
Да чайка вдруг блеснет серебристыми крылами
С плаксивым возгласом тоскующей души —
И снова плавни спят, сияя зеркалами.

Над тонким их стеклом, где тонет небосвод,
Нередко облако восходит и глядится
Блещающим столбом в зеркальный сон болот —

И как светло тогда в бездонной чаше вод!
Как детски верится, что в бездне их таится
Какой-то дивный мир, что только в детстве снится!

1903

* * *

Первый утренник, серебряный мороз!
Тишина и звонкий холод на заре.
Свежим глянец зеленеет след колес
На серебряном просторе, на дворе.

Я в холодный обнаженный сад пойду —
Весь рассеян по земле его наряд.
Бирюзой сияет небо, а в саду
Красным пламенем настурции горят.

Первый утренник — предвестник зимних дней.
Но сияет небо ярче с высоты,
Сердце стало и трезвей и холодней.
Но как пламя рдеют поздние цветы.

1903

• • •

Обрыв Яйлы. Как руки фурий,
Торчит над бездною из скал
Колючий, искривленный бурей,
Сухой и звонкий астрагал.

И на заре седой орленок
Шипит в гнезде, как василиск,
Завидев за морем спросовок
В тумане сизом красный диск.

1903

КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белсет в темной роде,
Ходит в темной роде богоматерь,
По зеленым взгорьям, по долинам
Собирает к ночи божьи травы.

Только печер им остался сроку,
Да и то уж солнце на исходе:
Застят ели черной хвоей запад,
Золотой иконостас заката.

Уж в долинах сыро, пали тени,
Уж луга синеют, пали росы,
Пахнет под росой медуница,
Золотой венец по роде светит.

Как туман, бела ее одежда,
Голубые очи точно звезды.
Соберет она цветы и травы
И снесет их к божьему престолу.

Скоро ночь — им только ночь осталась,
А наутро срежут их косами,
А не срежут — солнце сгубит зноем.
Так и скажет сыну богоматерь:

«Погляди, возлюбленное чадо,
Как земля цвела и красовалась!
Да недолог век земным утехам:
В мире Смерть, она и Жизнью правит».

Но Христос ей молвит: «Мать! не сояще,
Только земля тьма ночная кроет
Смерть не семя губит, а срезает
Лишь цветы от семени земного.

И земное семя не иссякнет.
Скосит Смерть — Любовь опять посеет.
Радуйся, Любимая! Ты будешь
Утешаться до скончанья века!»

1903

МИРА

Тебя зовут божественною, Мира,
Царицею в созвездии Кита.
Таинственна, как талисманы Пирра,
Твоей недолгой жизни красота.

Ты, как слеза, прозрачна и чиста,
Ты, как рубин, блистишь среди афира,
Но не за блеск и дивные цвета
Тебя зовут божественною, Мира.

Ты в сонме звезд, среди ночных огней,
Нежнее всех. Не ты одна играешь,
Как самоцвет: есть ярче и пышней.

Но ты живешь. Ты меркнешь, умираешь —
И вновь горюшь. Как феникс древних дней,
Чтоб возродиться к жизни — ты сгораешь.

1903?

ДИЗА

Вечернее зимнее солнце
И востер меж сосен играют,
Алеют снега, а в светлице
Янтарные пятна мелькают.

Мохнатые тени от сосен,
Играя, сквозят позолотой
И по столу ходят; а Диза
В светлице одна, за работой.

На бронзу волос, на ланиты,
На пальцы и руки широко
Вечернее льется сиянье,
А думы далеко, далеко.

Тяжелое зимнее море
Грохочет за фьордом в утесах,
И стелется по ветру пена
И стынет на снежных откосах;

Качаются с криками чайки
И падают в пену и тают...
Но звонкой весенней слюдою
Давно уж откосы блистают!

Пусть ночи пожарами светят
И рдеют закаты, как раны,
Пусть ветер бушует,— он с юга,
Он гонит на север туманы!

Пусть милый далеко,— он верен...
И вот на вечернее солнце,
На снег, на зеленые ветви
Она загляделась в оконце.

Забыты узоры цветные,
Забыты точеные пальцы,
И тихо косою играют
Прозрачные толстые пальцы.

И тихо алеют ланиты,
Сияя, как снег, белизною,
И взоры так мягки и ярки,
Как синее небо весною,

<1903>

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ

Древнюю чашу нашел он у шумного синего моря,
В древней могиле, на диком песчаном побережье.
Долго трудился он; долго слагал воедино
То, что гробница хранила три тысячи лет, как святыню,
И прочитал он на чаше
Древнюю повесть безмолвных могил и гробниц:

«Вечно лишь море, безбрежное море и небо,
Вечно лишь солнце, земля и ее красота,
Вечно лишь то, что связует незримою связью
Душу и сердце живых с темной душою могил»,

<1903>.

МОГИЛА ПОЭТА

Мрамор гробницы его — в скорбной толпе кипарисов:
Радостней светит меж них синее лоно небес.
Ангел изваян над ним с опрокинутым светочем жизни!
Ярче пылает огонь, смертью поверженный ниц!

<1903>.

КОЛЬЦО

В белом песке золотое блеснуло кольцо.
Я задремал над Днепром у широкого плеса,
Знойною ласкою ветер повеял в лицо,
Легкой прохладой и запахом свежего теса...
Ярко в воде золотое блеснуло кольцо.

Как его вымыли волпы на отмели белой! —
Точно к пенчанию... Искрился солнечный блеск,
Видел я плахты, сорочки и смуглое тело,
Слышал я говор, веселые крики и плеск...
Жадной толпою сошлись они к отмели белой!

Жадно дыша, одевались они на песке,
Лоснились косы, и карие очи смеялись,
С звонкими песнями скрылись они вдалеке,
Звонко о берег прозрачные волны плескались...
Чье-то кольцо золотится в горячем песке.

О, красота, тишина и раздолье Днепра!
Помню, как ветер в лугах серебрил вербохозы,
Помню, как реяла дальних миражей игра...

<1903>

ЗАПУСТЕНИЕ

Домой я шел по скату вдоль Оки,
По перелескам, берегом нагорным,
Любуясь сталью вьющейся реки
И горизонтом низким и просторным.
Был теплый, тихий, серенький денек,
Среди берез желтел осинник редкий,
И даль лугов за их прозрачной сеткой
Синела чуть заметно — как намек.
Уже давно в лесу замолкли птицы,
Свистели и шуршали лишь синицы.

Я уставал, кругом все лес пестрел,
Но пот на перевале, за ложиной,
Фруктовый сад листвою закраснел,
И глянул флигель серою руиной.
Глеб отворил мне двери на балкон,
Поговорил со мною в позе чинпой,
Принес мне самовар — и по гостинной
Полился нежный и печальный стоп.
Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая,
Следил, как замолкал он, потухая.

В тиши звенел он чистым серебром,
А я глядел на клены у балкона,
На вишеник, красневший под бугром...
Вдали сивели тучки небосклона
И умирал спокойный серый день,
Меж тем как в доме, тихом как могила,
Неслышно одиночество бродило
И реяла задумчивая тепь.
Пел самовар, а комната беззвучно
Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!»

В соломе, возле печки, на полу,
Лежала груда яблок; паутины
Под образом качались в углу,
А у стены темпели клавесины.
Я тронул их — и горестно в тиши
Раздался звук. Дрожащий, романтический,
Он жалок был, но я душой привычной
В нем уловил напев родной души:
На этот лад, исполненный печали,
Когда-то наши бабушки певали.

Чтоб мрак спугнуть, я две свечи зажег,
И весело огни их заблестели,
И побежали тени в потолок,
А стекла окон сразу поспипели...
Но отчего мой домик при огне
Стал и бедней и меньше? О, я знаю —
Он слишком стар... Пора родному краю
Сменить хозяев в нашей стороне,

Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге...
Пора свести последние итоги.

Печален долгий вечер в октябре!
Любил я осень позднюю в России.
Любил лесок багряный на горе,
Простор полей и сумерки глухие,
Любил стальную, серую Оку,
Когда она, теряясь лесной длинной
В дали лугов, широкой и пустынной,
Мне навевала русскую тоску...
Но дни идут, наскучило ненастье —
И сердце жаждет блеска дня и счастья.

Томит меня немая тишина.
Томит гнезда родного запустенье.
Я вырос здесь. Но смотрит из окна
Заглохший сад. Над домом реет тленье,
И скупое в нем мерцает огонек.
Уж свечи нагорели и темнеют,
И комнаты в молчанье цепенеют,
А почь долга, и новый день далек.
Часы стучат, и старый дом беззвучно
Мне говорит: «Да, без хозяев скучно!

Мне на покой давно, давно пора...
Поля, леса — все гложет без заботы...
Я жду веселых звуков топора,
Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,
Вновь расцвела из праха на могиле,
Я изнемог, и мертвый стук часов
В молчаньи осенней долгой ночи
Мне самому внимать нет больше мочи!»

<1903>

ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней поды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне тепло
За мольбертом, и дует в окно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой...
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

Сегодня идут без конца
Те же тучи — гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

<1903>

ТЕНЬ

Высоко в небе месяц ясный,
Затих волны дремотный плеск.
Как снежно-золотое поле,
Сияет в море лунный блеск.

Плыла меж небом и землею
Над морем тучка, паплыла
На край луны — и вдруг широко
Нас мягкой тенью обняла.

Далеко золотое поле
Покрылось матовым стеклом,
И ветер, шелестя травой,
Пахнул полуночным теплом.

Счастливым и глубоким вздохом
Волна вздохнула в полусне —
И как доверчиво, как нежно
Ты вся прижалася ко мне!

Но вспыхнул блеск на горизонте,
Тень по горам в леса ушла —
И снова мы сидим недвижно,
И снова ночь, как день, светла.

Спит море под лувою ясной,
Блестит на влажных камнях мох...
О, ночь любви! Ужель и в счастье
Нам нужен хоть единый вздох?

<1903>

ГОЛУБИ

Раскрыт балкон, сожжен цветник морозом,
Опустошен поблекший сад дождями.

Как лунный камень, холодно и бледно
Над садом небо. Ветер в небе гонит
Свинцовые и дымчатые тучи.
И крупный ливень с бурей то и дело
Бежит, дымится по саду... Но если
Внезапно глянет солнце, что за радость
Овладевает сердцем! Жадно дышишь
Душистым влажным воздухом, уходишь
С открытой головою по аллее,

Меж тем как над аллеей все приветней
Синеет небо яркое — и вдруг
С гумна стрелою мчится белый турман
И свежим комом падает к балкону,
За ним другой — и оба долго, долго
Пьют из лазурной лужи, поднимая
Свои головки кроткие... Замрешь,
Боясь их потревожить, песь охвачен
Какой-то робкой радостью, и мнится,
Что пьют они не дождевую воду,
А чистую небесную лазурь.

<1903>

СУМЕРКИ

Как дым, седая мгла мороза
Застыла в сумраке ночном.
Как привидение, береза
Стоит, серая, за окном.

Таинственно в углах стемнело,
Чуть светит печь, и чья-то тень
Над всем простерлася несмело, —
Грусть, провожающая день,

Грусть, разлитая на закате
В полупомеркнувшей золе,
И в тонком теплом аромате
Сгоревших дров, и в полумгле,

И в тишине, — такой угрюмой,
Как будто бледный призрак дня
С какою-то глубокой думой
Глядит сквозь сумрак на меня.

<1903>

ПЕРЕД БУРЕЙ

Тьма затопляет лунный блеск,
За тучу входит месяц полный,
Холодным ветром дышат волны,
И все растет их шумный плеск.

Вот на мгновенье расступился
Зловещий мрак, и, точно ртуть,
По гребням волн засеребрился
Дрожащий отблеск — лунный путь.

Но как за ним сгустились тучи!
Как черный небосклон велик!..
О ночь! Сокрой во тьме свой лик,
Свой взор, тревожный и могучий!

<1903>

В КРЫМСКИХ СТЕПЯХ

Синеет снеговой простор,
Померкла степь. Белее снега
Мерцает девственная Вега
Над дальним станов крымских гор.

Уж сумрак пал, как пепел сизый,
Как дым угасшего костра:
Лишь светится багряной ризой
Престол аялы — Шатер-Гора.

<1903>

ЖАСМИН

Цветет жасмин. Зеленой чащей
Иду над Тереком с утра.
Вдали, меж гор — простой, блестящий
И четкий конус серебра.

Река шумит, вся в искрах света,
Жасмином пахнет жаркий лес.
А там, вверху — зима и лето:
Январский снег и синея небес.

Лес замирает, млеет в зное,
Но тем пышней цветет жасмин.
В лазури яркой — неземное
Великолепие вершин.

VI.04

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Свой дикий чум среди снегов и льда
Воздвигла Смерть. Над чумом — ночь пологая.
И бледная Полярная Звезда
Горит недвижно в бездну небосвода.

Вглядись в туманный призрак. Это Смерть.
Она сидит близ чума, устремлена
Незрячий взор в полупочную твердь —
И навсегда Звезда над ней застыла.

1904

Набегает впотьмах
И узорною пеною светится
И лазурным сиянием реет у скал на песке...
О божественный отблеск незримого — жизни, мерцающей
В мирнадах незримых существ!

Ночь была бы темпа,
Но все море насыщено тонкою
Пылью света, и звезды над морем горят.
В полусвете все видно: и рифы, и взморье зеркальное,
И обрывы прибрежных холмов.

В полусвете ночном
Под обрывами полны качаются —
Переполнено зыбкое, звездное зеркало волн!
Но, колеблясь упруго, лишь изредка складки тяжелые
Набегают на влажный песок.

И тогда, фосфорясь,
Загораясь мистическим пламенем,
Рассыпаясь по гравию кипенью бледных огней,
Море светит сквозь сумрак таинственно, тонко и трепетно,
Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа
У меня загорается радостью:
Я в пригоршни ловлю закипевшую пену волн —
И сквозь пальцы течет не вода, а сапфиры, — несметные
Искры синего пламени, Жизнь!

1904

ПЕРЕКРЕСТОК

Я долго в сумеречном свете
Шел одиноко на закат.
Но тьма росла — и с перекрестка
Я тихо повернул назад.

Чуть брезжила полусвет заката.
Но после света как мертва,
Как величава и угрюма
Ночного неба синева!

И бледны, бледны звезды в небе...
И долго быть мне в темноте,
Пока они теплей и ярче
Не засияют в высоте.

1904

БАЛЬДЕР

Хадү — слепец, он жалок. Мрак глубокий
Скрывает свет и правду от него.
Но, чадо тьмы, он весь во власти Локи —
Он насмерть поражает божество.

И все же мир лишь жаждой света дышит!
И Солнце, погребенное во тьму,
Из гроба тьмы, из бездны ада слышит,
Что мир в тоске взывает лишь к нему.

И дрогнет тьма! И вспыхнет на востоке
Воскресший Свет! И боги приговозят
Тебя, как пса, к граниту гор, о Локи!
И будет змей, свирепый и стоокий,
Точить со скал на темя Локи — яд!

1904

ОГНИ НЕБЕС

Огни небес, тот серебристый свет,
Что мы зовем мерцаьем звезд небесных,—
Порою только неугасший свет
Уже давно померкнувших планет,
Светил, давно забытых и безвестных.

200

Та красота, что мир стремится вперед,
Есть тоже след былого. Без позирата
Сгорим и мы, спершая в свой черед
Обычный путь, но долго не умрет
Жизнь, что горела в нас когда-то.

И много в мире избранных, чей свет,
Теперь еще незримый для незрящих,
Дойдет к земле чрез много, много лет...
В безвестном сонме мудрых и творящих
Кто знает их? Быть может, лишь поэт.

<1903—1904>

РАЗВАЛИНЫ

Над сипим понтом — серые руины,
Остатки древней греческой тюрьмы.
На юг — морские зыбкие равнины,
На север — голые холмы.

В проломах стен — корявые оливы
И дреза, сопутница руин,
А под стенами — красные обрывы
И воли густой аквамари.

Угрюмо здесь, в сырых подземных кельях;
Но весело тревожить сон темниц,
Перекликаться с эхом в подземельях
И видеть небо из бойниц!

Давно октябрь, но не уходит лето:
Уж на холмах желтеет шелк травы,
Но воздух чист — и сколько в небе света,
А в море нежной синевы!

И тихи, тихи старые руины.
И целый день, под мерный шум валов,
Слежу я в море парус бригадины,
А в небесах — круги орлов.

И усыпляет моря шум атласный.
И кажется, что в мире жизни нет:
Есть только блеск, лазурь и воздух ясный,
Простор, молчание и свет.

<1903—1904>

КОСОГОР

Косогор над разлужьем и пашни кругом,
Потускневший закат, полумрак...
Далеко за извалами крест над холмом —
Неподвижный ветряк.

Как печальна заря! И как долго она
Тлеет в сонном просторе равнин!
Вот чуть внятная девичья песня слышна...
Вот заплакала лунь... И опять тишина...
Ночь, безмолвная ночь. Я один.

Я один, а вокруг темнота и поля,
И ни звука в просторе их нет...
Точно проклят тот край, тот народ, где земля
Так пустынна уж тысячу лет!

<1903—1904>

РАЗЛИВ

Паром, скрипя, ушел. В разлив, по тусклой зыби,
Сквозь муть лиловых туч румянится заря.
На темном кряже гор, в их сумрачном изгибе,
Померкнули в лесу кресты монастыря.

Оттуда по Оке пахучим дымом тлнет...
Но и костер потух, пылавший за Окой,
И монастырь уснул. Темней уже не станет,
Но все же ночь давно — ночь, сумрак и покой.

РОЗЫ

Блистая, облака лепились
В лазури пламенного дня.
Две розы под окном раскрылись —
Две чаши, полные огня.

В окно, в прохладный сумрак дома,
Глядел зеленый знойный сад,
И сена душная истома
Струила сладкий аромат.

Порою, звучный и тяжелый,
Высоко в небе грохотал
Громовый гул... Но пели пчелы,
Звепели мухи — день сиял.

Порою шумно пробегали
Потоки ливней голубых...
Но солнце и лазурь мигали
В зеркально-зыбком блеске их —

И день сиял, и млели розы,
Головки томные кловя,
И улыбались сквозь слезы
Очами, полными огня.

<1903—1904>

НА МАЯКЕ

В пустой маяк, в лазурь оконных впадин,
Осепный ветер дует — и, звеня,
Гудит вверх. Он влажен и прохладен,
Он опьяняет свежестью меня.

Остаповясь на лестнице отвесной,
Гляжу в окно. Внизу шумит прибой
И зыбь бежит. А выше — свод небесный
И океан туманно-голубой.

Внизу — шум волн, а паверху, как струны,
Звонит-поет решетка маяка.
И все плывет: маяк, залив, буруны,
И я, и небеса, и облака.

<1903—1904>

В ГОРАХ

Катится диском золотым
Луна в провалы черной тучи,
И тает в ней, и льет сквозь дым
Свой блеск на каменные кручи.

Но погляди на небосклон:
Луна стоит, а дым мелькает...
Не Время в вечность убегает,
А нашей жизни бледный соп!

<1903—1904>

ШТИЛЬ

На плоском взморье — мертвый зной и штиль.
Слепит горячий свет, струится воздух чистый,
Расплавленной смолой сверкает черный киль
Рыбацкого челна на мелк золотистой.

С пестройным криком голых татарчат
Сливается порой пронзительный и жалкий,
Зловещий визг серебряной рыбалки.
Но небо ясно, отмели молчат.

Разлит залив зеркальностью безбрежной,
И глубоко на золоте песка,
Под хрусталем воды, сияет белоснежный
Недвижный отблеск маяка.

<1903—1904>

НА БЕЛЫХ ПЕСКАХ

На белых песках от прилива
Немало осталось к заре
Сверкающих луж и затопов —
Зеркальных полос в серебре.

Немало камней самоцветных
Осталось на дюнах пагих,
И смотрит, как ангел лазурный,
Весеннее утро на них.

А к западу сумрак теснится,
И с сумраком, в сизый туман,
Свивается сонный, угрюмый,
Тяжелый удав — Океан.

<1903—1904>

САМСОН

Был ослеплен Самсон, был господом обижен,
Был чадами греха поруган и унижен
И приведен на пир. Там, опустив к земле
Незрячие глаза, он слушал смех и клики,
Но мгла текла пред ним — и в этой жуткой мгле
Пылали грозные архангельские лики.
Они росли, как смерч, — и вдруг разперзлась твердь,
Прорезал тьму глагол: «Восстань, мой раб любимый!»
И просиял слепец красой непостижимой,
Затрепетал, как кедр, и побледнел, как смерть.
О, не пленит его теперь Ваала хохот,
Не обольстит очей ни пурпур, ни виссон! —
И целый мир потряс громовый гул и грохот:
Запе был слеп Самсон.

<1903—1904>

СКЛОН ГОР

Склон гор, сады и минарет.
К звездам стремятся кипарисы,
Спит море. Теплый лунный свет
Позолотил холмы и мысы.

И кроток этот свет: настал
Час мертвой тишины — уж клопнит
Луна свой лик, уж между скал
Протяжно полупочвик столет.

И замер аромат садов.
Узорный блеск под их ветвями
Стал угасать среди цветов,
Сплетаясь с длинными тепями.

И неподвижно Ночь сидит
Над тихим морем: на колено
Облокотилась, — глядит
На валуны, где тает пена.

Передрасветный лунный свет
Чуть золотит холмы и мысы.
Свечой желтеет минарет,
Черпеют маги-кипарисы,

Блестя, ушел в морской простор
Залив зеркальными луками,
Таинственно вершины гор
Мерцают вечными снегами.

<1903—1904>

САПСАН

В полях, далеко от усадьбы,
Зимует просяной омет.
Там табуяются волчьи свадьбы,
Там клочья шерсти и помет.

Воловьѣ ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Сапсан, стервятник космогоний,
Готовый взвиться каждый миг.

Я застрелил его. А это
Грозит бедой. И вот ко мне
Стал гость ходить. Он до рассвета
Вдруг дома бродит при луне.
Я не видал его. Я слышал
Лишь хруст шагов. Но спать невмочь.
На третью ночь я в поле вышел...
О, как была печальна ночь!

Когтистый след в снегу глубоком
В глухие степи вел с гумпа.
На небе мгlistом и высоком
Плыла холодная луна.
За валом, над привадой в яме,
Серб маячила ветла.
Даль над пустынными полями
Была таинственно светла.

Облитый этим странным светом,
Подавлен мертвой тишиной,
Я стал — и бледным силуэтом
Упала тень моя за мной.
По небесам, в туманной мути,
Сияя, лунный лик вырля
И серебристым блеском ртутн
Слуду по нату озарял.

Кто был он, этот полувочный
Незримый гость? Откуда он
Ко мне приходит в час урочный
Через сугробы под балкон?
Иль он узнал, что я тоскую,
Что я один? что в дом ко мне

Лишь снег да небо и почь немую
Глядят из сада при луне?

Быть может, он сегодня слышал,
Как я, покинув кабинет,
По темной спальне в залу вышел,
Где в сумраке мерцал паркет,
Где в окнах небеса синели,
А в этой сипи четко встал
Черно-зеленый копус ели
И острый Сириус блистал?

Теперь луна была в зените,
На небе плыл густой туман...
Я ждал его, — я шел к раките
По насту снеговых полян,
И если б враг мой от привады
Внезапно грянул на сугроб, —
Я б из липтовки без пощады
Пробил его широкий лоб.

Но он не шел. Луна скрывалась,
Луна сияла сквозь туман,
Бежала мгла... И мне казалось,
Что на снегу сидит Сапсан.
Морозный ипей, как алмазы,
Сверкал на нем, а он дремал,
Седой, зобастый, круглоглазый,
И в крылья голову вжимал.

И был он страшен, неповятен,
Таинственен, как этот бег
Туманной мглы и светлых пятен,
Порою озарявших снег, —
Как воплотившаяся сила
Той Воли, что в полночный час
Нас страхом всех соединила —
И сделала врагами нас.

9.1.05

РУССКАЯ ВЕСНА

Скучно в лощинах березам,
Туманная муть на полях,
Конским размокшим навозом
В тумане чернеется шлях.

В сонной степной деревушко
Пахучие хлеба пекут.
Медленно две побирушки
По деревушке бредут.

Там, среди улицы, лужи,
Зола и весенняя грязь,
В избах угар, а снаружки
Завалинки тлеют, дымясь.

Жмурясь, сидит у амбара
Овчарка на ржавой цепи.
В избах — темно от угара,
Туманно и тихо — в степи.

Только петух беззаботно
Веспу поспевает весь день.
В поле тепло и дремотно,
А в сердце счастливая лень.

10.1.05

* * *

В гостирую, сквозь сад и пыльные гардины,
Струится из окна веселый летний свет,
Хрустальным золотом ложась на клавишны,
На ветхие ковры и выцветший паркет.

Вкруг дома глушь и дичь. Там клеи и осины,
Приюты горлинок, шиповник, бересклет...
А в доме рухлядь, тлея: повсюду паутины,
Все двери запорты... И так уж много лет.

В глубокой тишине, таинственно сверкая,
Как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет.
По стеклам радужным, как бархатка сухая,
Тревожно бабочка лиловая спует.

Но фортки нет в окне, и рама в пем — глухая.
Тут даже моль ведолго важивет!

29.VII.05

* * *

Старик сидел, покорно и уныло
Поднявши брови, в кресле у окна.
На столике, где чашка чаю стыла,
Сигара нагоревшая струила
Полоски голубого волокна.

Был зимний день, и па лицо худое,
Сквозь этот легкий и душистый дым,
Смотрело солнце вечно молодое,
Но уж его сиянье золотое
На запад шло по комнатам пустым.

Часы в углу своею четкой мерой
Отмеривали время... На закат
Смотрел старик с беспомощною верой...
Рос па сигаре пепел серый,
Струился сладкий аромат.

23.VII.05

* * *

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.

Отцвели кувшинки,
И шафран отцвел.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст и гол.

Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.

Женственно глядишься
В воду в полусне —
И засеребришься
Прежде всех к песне.

1905

• • •

Бегут, бегут листы раскрытой книги,
Бегут, струятся к небу тополя,
Гул молотьбы слышней идет из риги,
Дохнули ветром рощи и поля.
Помещик встал и, окна закрывая,
Глядит на юг... Но туча дождевая
Уже прошла. Опять покой и лень.
В горячем свете весело и сухо
Блестит листвой под окнами сирень;
Зажглась река, как золото; старуха
Несет сажать махотки на плетень;
Кричит петух; в крапиву за паседкой
Спешит десяток желтеющих цыплят...
И тени штор узорной легкой сеткой
По конскому лечебнику пестрят.

1905

Мы встретились случайно, на углу.
Я быстро шел — и вдруг как свет зарницы
Вечернюю прорезал полумглу
Сквозь черные лучистые ресницы.

На пей был креп, — прозрачный легкий газ
Весенний ветер взвевл на мгновение,
Но на лице и в ярком блеске глаз
Я уловил былое оживленье.

И ласково кивнула мне она,
Слегка лицо от ветра наклонила
И скрылась за углом... Была весна...
Она меня простила — и забыла.

1905

ОГОНЬ НА МАЧТЕ

И сладостно и грустно видеть ночью
На корабле далеком в темном море
В ночь уходящий топовый огонь.
Когда все спит на даче и сквозь сумрак
Одни лишь звезды светятся, я часто
Сижу на старой каменной скамейке,
Над скалами обрыва. Ночь тепла
И так темно, так тихо все, как будто
Нет ни земли, ни неба — только мягкий
Глубокий мрак. И вот вдали, во мраке,
Идет огонь — как свечечка. Ни звука
Не слышно на побережье, — лишь сверчки
Звонят в горе чуть уловимым звоном,
Будя в душе задумчивую нежность,
А он уходит в ночь и одиноко

Висит на горизонте, в темной бездне
Меж небом и землею... Пойте, пойте,
Сверчки, мои товарищи почные,
Баюкайте мою ночную грусть!

1905

* * *

Все море — как жемчужное зеркало,
Сирень с отливом млечно-золотым.
В дожде закатом радуга сияла.
Теперь душит над саклей топкий дым.

Вон чайка села в бухточке скалистой,—
Как поплавок. Взлетает ипогда,
И видно, как струею серебристой
Сбегает с лапок розовых вода.

У берегов в воде застыли скалы.
Под ними светит жидкий изумруд,
А там, вдали — и жемчуг и опалы
По золотистым яхонтам текут.

1905

* * *

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий,
Над родником старинный голубец
С лубочной почерпевшею иконкой,
А в роднике березовый корец.

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой,
Тысячелетней, рабской пищеты.
Но этот крест, по этот ковшик белый...
Смиренные, родимые черты!

1905

• • •

Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном:
В черном узор ветлей — месяца рог золотой.

Слышу, поют петухи. Узнаю по напевам печальным
Поздний, таинственный час. Выйду на снег, на крыльцо.

Замерло все и застыло, лучатся жестокие звезды,
Но до костей я готов в легком промерзнуть меху,

Только бы видеть тебя, умирающий в золоте меслц,
Золотом блестящий снег, легкие теплы берез

И самоцветы небес: янтарно-зеленый Юпитер,
Сириус, дерзкий сапфир, синим горящий огнем,

Альдебарана рубин, алмазную цепь Орiona
И уходящий в моря призрак серебристый — Аргон.

1905

• • •

Густой зеленый ельник у дороги,
Глубокие пушистые снега.
В них шел олень, могучий, тонконогий,
К спине откинул тяжкие рога.

Вот след его. Здесь патаптал тропинок,
Здесь елку гнул и белым зубом скреб —
И много хвойных крестиков, остинков
Осыпалось с макушки на сугроб.

Вот снова след, размеренный и редкий,
И вдруг — прыжок! И далеко в лугу
Теряется собачий гон — и ветки,
Обитые рогами на бегу...

О, как легко он уходил долиной!
Как бешено, в избытке свежих сил,
В стремительности радостно-звериной,
Он красоту от смерти уносил!

1905

СТАМБУЛ

Облезлые худые кобели
С печальными, молящими глазами —
Потомки тех, что из степей пришли
За пыльными скрипучими возами.

Был победитель славен и богат,
И затопил он шумною ордою
Твои дворцы, твои сады, Царьград,
И предался, как сытый лев, покою.

Но дни летят, летят быстрее птиц!
И вот уже в Скутари на погосте
Чернеет лес, и тысячи гробниц
Белеют в кипарисах, точно кости.

И прах веков упал на прах святынь,
На славный город, ныне полудикий,
И вой собак звучит тоской пустынь
Под византийской ветхой базиликой.

И пуст Сераль, и смолк его фонтан,
И высохли столетние деревья...
Стамбул, Стамбул! Последний мертвый стан
Последнего великого кочевья!

1905

* * *

Тонет солнце, рдяным углем тонет
За пустыней сизой. Дремлет, клонит
Головы баранта. Близок час:

Мы проводим солнце, обувь скинем
И спершим под звездным, темным, синим
Милосердым небом свой намаз.

Пастухи пустыни, что мы знаем!
Мы, как сказки детства, вспоминаем
Минареты наших отчих стран.

Разверни же, Вечный, пад пустыней
На вечерней тверди темно-синей
Книгу звезд небесных — наш Коран!

И, склонив колени, мы закроем
Очи в сладком страхе, и омоем
Лица холодеющим песком,

И возвысим голос, и с мольбою
В прахе разольемся пред тобою,
Как волна на берегу морском.

1905

* * *

Ра-Озирис, владыка дня и света,
Хвала тебе! Я, бог пустыни, Сот,
Горжусь врагом: ты, побеждая Сета,
В его стране царил пять тысяч лет.

Ты славен был, твоя ладья воспета
Была стократ. Но за ладьей вослед
Шел бог пустынь, бог древнего завета —
И вот, о Ра, плоды твоих побед:

Безносый сфинкс среди полей Гизеха,
Ленивый Нил да глыбы пирамид,
Руины Фив, где гулко бродит эхо,
Да письмена в куски разбитых плит,

Да обелиск в блестящей политуре,
Да пыль песков на пламенной лазури.

1905

ПОТОП

Халдейские мифы

Когда ковчег был ковчен и наполнен,
И я, дарь Касисадра, Кенсутрос,
Зарыл в Сиппаре хартии закона,
Раздался с неба голос: «На закате
На землю хлынет ливень. Затвори
В ковчеге дверь». И пот настало время
Войти в ковчег. Со страхом ждал я почи
И в страхе затворил я дверь ковчеге,
И в страхе поручил свою судьбу
Бусуркургалу, кормчему. А утром
Поднялся вихрь — и тучи охватили
Из края в край всю землю. Роману
Гредел среди небес. Эрбб и Сарру
Согласно надвигались по долинам
И по горам. Нергал дал полю ветру.
Нинип наполнил реки, и несил
Смерть и погибель Гелии. До неба
Достигли воды. Свет потух во мраке,
И брат не видел брата. Сами боги
К вершинам Авву в страхе поднимались
И на престолах плакали, и с ними
Истара горько плакала. Шесть дней
И семь ночей сирепствовали в мире.
Вихрь, ураган и ветер — наконец,
С рассветом дня, смирлись. Воды пали,

И ливень стих. Я плакал о погибших,
Носясь по воле волн,— и предо мною,
Как бревна, трупы плавали. Я плакал,
Открыв окно и увидавши солнце.

<1905>

ЭЛЬБУРС

Иранский миф

На льдах Эльбурса солнце всходит.
На льдах Эльбурса жизни нет.
Вокруг него на небосводе
Течет алмазный круг планет.

Туман, вползающий на скаты,
Вершин не в силах достягнуть:
Одним небесным Иазатам
К вершине земли доступен путь.

И Митра, чье святое имя
Благословляет вся земля,
Восходит первый между ними
Зарей на льдистые поля.

И светит ризой златотканой,
И озирает с высоты
Истоки рек, пески Ирана
И гор волнистые хребты.

<1905>

ПОСЛУШНИК

Грузинская песня

«Брат, как пасмурно в келье!
Белый снег лежит в ущелье.
Но на скате, на льдине,
Видел я подснежник сипий».

«Брат, ты бредишь, ты бледен!
Горный край суров и беден.
Монастырь наш высоко.
До весны еще далеко».

«Не пугайся, брат милый!
Скоро смолкнет бред унылый —
К ночи выюга пустыни
Завесет подснежник сивий!»

<1905>

Х А Я - Б А Ш
(Мертвая голова)

Ночь идет, — молись, слуга пророка.
Ночь идет — и Хая-Баш встает.
Ветер с гор, он крепнет — и широко,
Как сааз, туманный бор поет.

Ты уже высоко, — от аула
Ты уже далеко. А в бору
Зимней стужей с Хая-Баш пахнуло,
Задымились сосны па ветру.

Вас у перевала только двое —
Ты да ковь. А бор померк, дымит.
Звонкий ветер в крепкой сней хвое
Все звончей и сумрачней шумит.

Где ты заночуешь? Зябнет тело,
Зябнет сердце... Конь не пил с утра...
Видишь ли сквозь сосны? Побелела
Хая-Баш, гранитная гора.

Там нависло небо пизко, пизко,
Там снега и зимняя тоска...
А уж если своды неба близко —
Значит, смерть близка.

<1905>

ТЭМДЖИД

Он не спит, не дремлет.

Коран.

В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть середине ночи,— раздается
Грустный и задумчивый Тэмджид.

На середине между ранним утром
И вечерним сумраком встают
Дервиши Джелвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид поют.

Спят сады и спят гробницы в полночь,
Спит Скутари. Все, что спит, молчит.
Но под звездным небом с темпой башни
Не для спящих этот гимн звучит:

Есть глаза, чей скорбный взгляд с тревогой,
С тайной мукой в сумрак устремлен,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.

Тяжела, темна стезя земная.
Но зачтется в небе каждый вздох:
Спите, спите! Он не спит, не дремлет,
Он вас помнит, милосердый бог.

<1905>

ТАЙНА

Элиф. Лам. Мим.

Коран.

Он на клипок дохнул — и жало
Его сирийского книжала
Померкло в дымке голубой:
Под дымкой ярче заблистали
Узоры золота на стали
Своей червонною резьбой.

«Во имя бога и пророка.
Прочти, слуга небес и рока,
Свой бранный клич: скажи, каким
Девизом твой клинок украшен?»
И он сказал: «Девиз мой страшен.
Он — тайна тайп: Элиф. Лам. Мим».

«Элиф, Лам, Мим? Но эти знаки
Темпы, как путь в загробном мраке:
Сокрыл их тайпу Мохаммед...»
«Молчи, молчи! — сказал он строго, —
Нет в мире бога, кроме бога,
Сильнее тайны — силы нет».

Сказал, коснулся ятаганом
Чела под шелковым тюрбаном,
Окинул жаркий Атмейдап
Ленивым взглядом хищной птицы —
И тихо сплел ресницы
Опять склонил на ятаган.

<1905>

С ОСТРОГОЙ

Костер трещит. В фелюке свет и жар.
В воде стоят и серебрятся щуки,
Белеет дно... Бери трезубец в руки
И не спеши. Удар! Еще удар!

Но поздно. Страсть — как сладостный кошмар,
Но сил уж нет, противны кровь и муки...
Гаси, гаси — вали с борта фелюки
Костер в Лиман... И чад, и дым, и пар!

Теперь легко, прохладно. Выступают
Туманные созвездья в полутьме.
Волна качает, рыбы засыпают...
И вверх лицом ложусь я на корме.

Плыть — до зари, но в море путь не скучен.
Я задремлю под ровный стук уключин.

<1905>

МИСТИКУ

В холодный зал, лупою освещенный,
Ребенком я вошел.
Тенями рам старинных испещренный,
Блестел вощенный пол.

Как в алтаре, высоки окна были,
А там в саду — луна,
И белый снег, и в пудре снежной пыли —
Столетняя сосна.

И в страхе я в дверях остановился:
Как в алтаре,
По залу ладав сумрака дымился,
Сквозя на серебре.

Но взгляд упал на небо: небо ясно,
Луна чиста, светла —
И страх исчез... Как часто, как напрасно
Детей пугает мгла!

Теперь давно мистического храма
Мне жалок темный бред:
Когда идешь над бездной — надо прямо
Смотреть в лазурь и свет.

<1905>

СТАТУЯ РАБЫНИ-ХРИСТИАНКИ

Не скрыть от дерзких взоров наготы,
Но навсегда я очи опустила:
Не жаль земной, мгновенной красоты, —
Я красоту небесную сокрыла.

<1903—1905>

ПРИЗРАКИ

Нет, мертвые не умерли для нас!
Есть старое шотландское преданье,
Что тени их, незримые для глаз,
В полночный час к нам ходят на свиданье,

Что пыльных арф, висящих на стенах,
Таинственно касаются их руки
И пробуждают в дремлющих струнах
Печальные и сладостные звуки.

Мы сказками предания зовем,
Мы глухи днем, мы дня не понимаем;
Но в сумраке мы сказками живем
И тишине доверчиво внимаем.

Мы в призраки не верим; но и нас
Томит любовь, томит тоска разлуки...
Я им внимал, я слышал их не раз,
Те грустные и сладостные звуки!

<1903—1905>

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Она молчит, она теперь спокойна.
Но радость не пернется к ней: в тот день,
Когда его могилу закидали
Сырой землей, простилась с нею радость.

Она молчит, — ее душа теперь
Пуста, как намогильная часовня,
Где над немой гробницей день и ночь
Горит неугасимая лампада.

<1903—1905>

ВЕРШИНА

Леса, скалистые теснины —
И целый день, в ковде теснин,
Громада снеговой вершины
Из-за лесных глядит вершин.

Селений нет, ущелья дики,
Леса синеют и молчат,
И серых скал вагие пики
На скатах из лесов торчат.

Но целый день, — куда ни кину
Вдоль по горам смущенный взор, —
Лишь эту белую вершину
Повсюду вижу из-за гор.

Она полнеба заступила,
За облака ушла венцом —
И все смирилось, все застыло
Пред этим льдистым мертвецом.

<1903—1905>

ТРОПАМИ ПОТАЕННЫМИ

Тропами потаенными, глухими,
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат — осенней ночи ждут.

Вот крикнул сыч в пустынном буераке...
Вот темный лист свалился, чуть шурша...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Ее немая, скорбная душа.

<1903—1905>

В ОТКРЫТОМ МОРЕ

В открытом море — только небо,
Вода да ветер. Тяжело
Идет волна, и низко крепит
Фелюка серое крыло.

В открытом море ветер гонит
То свет, то тень — и в облака
Сквозит лазурь... А ты забыта,
Ты бесконечно далека!

Но волны, певясь и качаясь,
Идут, бегут навстречу мне —
И кто-то синими глазами
Глядит в мелькающей волне.

И что-то вольное, живое,
— Как эта синяя вода,
Опять, опять напоминает
Те, что забыто навсегда!

<1903—1905>

ПОД ВЕЧЕР

Угромо шмель гудит, толкаясь по стеклу...
В окно зарница глянула тревожно...
Притихший соловей в сирени на валу
Выводит трели осторожно.

Гром, проворчав в саду, скатился за гумно;
Но воздух меркнет, небо потухает...
А тополь тянется в открытое окно
И ладаном благоухает.

<1903—1905>

СКВОЗЬ ВЕТВИ

Осень листья темной краской метят:
Не уйти им от своей судьбы!
Но светло и нежно небо светит
Сквозь нагие черные дубы,

Что-то неземное обещает,
К тишине уводит от забот —
И опять, опять душа прощает
Промелькнувший, обманувший год!

<1903—1905>

КЕЛЬЯ

День распогодился с закатом.
Сквозь стекла в старый кабинет
Льет солнце золотистый свет;
Широким палевым квадратом
Окно рисует на стене,
А в нем бессильно, как во сне,
Скользит трепещущим узором
Тень от березы над забором...
Как грустно на закате мне!

Зачем ты, солнце, на прощанье,
В своем сиянье золотом,
Вошло в мой одинокий дом?
Он пуст, в нем вечное молчанье!
Я был спокоен за трудом,
Я позабыл твое сиянье:
Зачем же думы о былом
И это грустное веселье
В давно безлюдной, тихой келье?

<1903—1905>

СУДРА

Жизнь впереди, до старости далеко.
Но вот и я уж думаю о ней...
О, как нам будет в мире одиноко!
Как грустно на закате дней!

Умершие оставили одежды —
Их носит бедный Судра. Так и мне
Оставит жизнь не радость и надежды,
А только скорбь о старине.

Мы проживем, быть может, не напрасно;
Но тем большее будет до конца
С улыбкою печальной и безгласной
Влачить одежды мертвеца!

<1903—1905>

ОГОНЬ

Нет ничего грустней ночного
Костра, забытого в бору.
О, как дрожит он, потухая
И разгораясь на ветру!

Ночной холодный ветер с моря
Внезапно залетает в бор;
Он, бешено кружась, бросает
В костер истлевший хвойный сор —

И пламя вспыхивает жадно,
И тьма, висевшая шатром,
Вдруг затрепещет, открывая
Стволы и ветви над костром.

Но ветер пролетает мимо,
Теряясь в черной высоте.
И ветру отвечает гулом
Весь бор, неподвижный в темноте,

И снова затопляет тьмою
Свет замиряющий... О да!
Еще порыв, еще усилие —
И он исчезнет без следа,

И лютствицей во мраке станет
Звон сочной хвои, скрип стволов
И этот жуткий, все растущий,
Протяжный гул морских валов.

<1903—1905>

НЕБО

В деревне капали капли,
Был теплый солнечный апрель.
Блестели вывески и стекла,
И празднично белел отель.

А над деревней, над горами,
Раскрыты были небеса,
И по горам, к вершинам белым,
Шли темно-синие леса.

И от вершин, как мрамор чистых,
От изумрудных ледников
И от небес зеленоватых
Тянуло свежестью снегов.

И я ушел к зиме, на север.
И целый день бродил в лесах,
Душой теряясь в необъятных
Зеленоватых небесах.

И, радуясь, душа стремилась
Решить одно: зачем живу?
Зачем хочу сказать кому-то,
Что тянет в эту синеву,

Что прелесть этих чистых красок
Словами выразить нет сил,
Что только небо — только радость
Я целый век в душе носил?

НА ВИНОГРАДНИКЕ

ОКЕАНИДЫ

Как весел ты, о буйный хохот,
Звонящий смех Оксанид,
Под этот влажный шум и грохот
Летящих в пене на гранит!

Как звучно море под скалами
Дробит па солнце зеркала
И в пене, вместе с зеркалами,
Клубит их белые тела!

<1903—1905>

СТОН

Как розовое море — даль пустынь.
Как синий лотос — озеро Мерида.
«Встань, сонный раб, и свой шалаш покинь:
Уж озлатилась солнцем пирамида».

И раб встает. От жесткого одра
Идет под зной и пламень небосклона.
Рассвет горит. И в пышном блеске Ра
Вдали звучат стенания Мемнона,

<1903—1905>

В ГОРНОЙ ДОЛИНЕ

Бледно-зеленые грустные звезды...
Помяю темнеющий лес,
Сырость и сумерки в горной долине,
Холод осенних небес.

Жадно и долго стремился я, звезды,
К вам, в вышины...
Что же я встретил? Нагие граниты,
Сумерки, страх, тишину...

Бледны и грустны вы, горные звезды:
Вы созерцаете смерть.
Что же влечет к вам? Зачем же так тянет
Ваша бездонная твердь?

<1903—1905>

ОРМУЗД

Ни алтарей, ни истуканов,
Ни темных капищ. Мир одет
В покровы мрака и туманов:
Боготворите только Свет.

Владыка Света весь в едином —
В борьбе со Тьмой. И потому
Огни зажгите по вершинам:
Возненавидьте только Тьму.

Ночь третью мира властно правит.
Но мудрый жаждет верить Дню:
Он в мире радость солнца славит,
Он поклоняется Огню.

И, возложив костер на камень,
Всю жизнь свою приносит в дар
Тебе, неугасимый Пламень,
Тебе, всевидящий Датар!

<1903—1905>

ДЕНЬ ГНЕВА

Апокалипсис, VI

...И Агпед снял четвертую печать.
И услышал я голос, говоривший:
«Восстань, смотри!» И я взглянул: конь бледен,

На нем же мощный всадник — Смерть. И Ад
За пею шел, и власть у пей была
Над четвертью земли, да умерщвляет
Мечом и голодом, мором и зверями.

И пятую он спял печать. И видел
Я под престолом души убиенных,
Вопившие: «Доколе, о владыко,
Не судишь ты живущих на земле
За нашу кровь?» И были им даны
Одежды белоспежные, и было
Им сказано: да починут, покуда
Сотрудники и братья их умрут,
Как и они, за словеса господни.

Когда же снял шестую он печать,
Взглянул я вновь, и вот — до оснований
Потрясся мир, и солнце стало мрачно,
Как вретисце, и лик луны — как кровь;
И звезды устремились вниз, как в бурю
Незрелый плод смоковницы, и небо
Свилось, как свиток хартий, и горы,
Колесблясь, с места двинулись; и все
Цари земли, вельможи и владыки,
Богатые и сильные, рабы
И вольные — все скрылися в пещеры,
В ущелья гор, и говорят горам
И камням их: «Падите и сокройте
Нас от лица сидящего во славе
И гнева Агнца: ибо настает
Великий день его всеильной кары!»

<1903—1905>

ЧЕРНЫЙ КАМЕНЬ КААБЫ

Он драгоценкой лшмой был когда-то,
Он был неизреченной белизны —
Как цвет садов блаженного Джинната,
Как горный снег в дни солнца и весны.

Дух Гавриил для старца Авраама
Его нашел среди песков и скал,
И гении хранили двери храма,
Где он жемчужной грудой сверкал.

Но шли века — со всех концов вселенной
К нему неслись молитвы, и рекой
Текли во храм, далекий и священный,
Сердца, обремененные тоской...

Аллах! Аллах! Померк твой дар бесценный —
Померк от слез и горести людской!

<1903—1905>

ЗА ИЗМЕНУ

Вспомни тех, что покинули
страну свою ради страха смерти.

Коран.

Их господь истребил за измену несчастной отчизне,
Он костями их тел, черепами усаял поля.
Воскресил их пророк: он просил им у господя жизни.
Но позора земли никогда не прощает Земля.

Две легенды о них прочитал я в легендах Востока.
Милосерда одна: воскрешенные пали в бою.
Но другая жестока: до гроба, по слову пророка,
Воскрешенные жили в пустынном и диком краю.

В день восстанья из мертвых одежды их черными
стали,
В знак того, что на них — замогильного тления след,
И до гроба их лица, склопенные долу в печали,
Сохранили свинцовый, холодный, безжизненный цвет.

<1903—1905>

ГРОБНИЦА САФИИ

Горный ключ по скатам и оврагам,
Полусопный, убегает вниз.
Как чернец, над белым саркофагом
В сивем небе замер кипарис.

Нежные, как девушки, мимозы
Льют под ним узор своих ветвей,
И цветут, благоухают розы
На кустах, где плачет соловей.

Ниже — дикий берег и туманный,
Еле уловимый горизонт:
Там простор воздушный и безгранный,
Голубая бездна — Геллеспонт.

Мир тебе, о юная! Смирению
Я целую белое тюרבэ:
Пять веков бессмертна и нетленна
На Востоке память о тебе.

Счастлив тот, кто жизнью мир пленяет.
Но стократ счастливей тот, чей прах
Веру в жизнь бессмертную вселяет
И цветет легендами в веках!

<1903—1905>

ЧИБИСЫ

Заплакали чибисы, тонко и ярко
Весенняя светится сень,
Объяла дорога, где солнце — там жарко,
Сереет и сохнет полынь.

На серых полях — голубые озера,
На пашнях — лиловая грязь.
И чибисы плачут — от света, простора,
От счастья — плакать, смеясь.

13.IV.06

КУПАЛЬЩИЦА

Смугла, лапыты побледнели,
И потемнел лучистый взгляд.
На молодом холодном теле
Струится шелковый варяд.

Залив опаловою гладью
В дали сияющей разлит.
И легкий ветер смольной прядью
Ее волос чуть шевелит.

И млеет знойно-голубое
Подобье гор — далекий Крым.
И горяча тропа на зное
По виноградникам сухим.

1906

НОВЫЙ ГОД

Ночь прошла за шумной встречей года...
Сколько сладкой муки! Сколько раз
Я ловил, сквозь блеск огней и говор,
Быстрый взгляд твоих влюбленных глаз!

Вышли мы, когда уже светало
И в церквах затеплились огни...
О, как мы любили! Как топились!
Но и здесь мы были не одни.

Молча шла ты об руку со мною
По средине улиц. Городок
Точно вымер. Мягко вела влажный
Тающего снега холодок...

Но подъезд уж близок. Вот и двери...
О, прощальный милый взгляд! «Хоть раз,
Только раз прильнуть к тебе всем сердцем
В этот ранний, в этот сладкий час!»

Но сестра стоит, глядит бесстрастно.
«Доброй ночи!» Сдержанный поклон,
Стук дверей — и я один. Молчанье,
Бледный сумрак, предрассветный звон...

<1906>

ИЗ ОКНА

Ветви кедра — вышивки зеленым
Темным плюшем, свежим и густым,
А за плюшем кедра, за балконом —
Сад прозрачный, легкий, точно дым:

Яблони и сизые дорожки,
Изумрудно-яркая трава,
На березах — серые сережки
И ветвей плакучих кружева,

А на кленах — дымчато-сквозная
С золотыми мушками вуаль,
А за ней — долипная, лесная,
Голубая, тающая даль.

<1906>

ЗМЕЯ

Покуда март гудит в лесу по голым
Снастям ветвей, — бесцветна и плоска,
Я сплю в дупле. Я сплю в листе тяжелым,
Холодным сном — и жду: весна близка.

Уж в облаках, как синие окна,
Сквозит лазурь... Подсохло у корней,
И мотылек в горячем свете солнца
Припал к листве... Я шевелюсь под ней,

Я развиваю кольца, опьяняюсь
Теплом лучей... Я медленно ползу —
И вновь цвету, горю, меняюсь,
Ряжусь то в медь, то в сталь, то в бирюзу.

Где суше лес, где много пестрых листьев
И желтых мух, там пестрый жгут — змея.
Чем жарче день, чем мухи золотистей —
Тем ядовитей я.

<1906>

НЕВОЛЬНИК

Песок, серебристый и горячий,
Вожу я к морю на волах,
Чтоб усыпать дорожки к даче,
Как снег, белеющей в скалах.

И скучно мне. Все то же, то же:
Волы, скрипучий трудный путь,
Иссохшее речное ложе,
Песок, сверкающий, как ртуть.

И клонит голову дремота.
И мнится, что уж много лет
Я вижу кожу бегемота —
Горы морщинистый хребет,

И моря синий треугольник,
И к морю длинный след колес...
Я покорился. Я, невольник,
Живу лишь сонным ядом грез.

<1903—1906>

ПЕЧАЛЬ

На диких скалах, среди развалин —
Рать кипарисов. Она гудит
Под петром с моря. Угрюм, печален
Пустынный остров, нагой гранит.

Уж берег темен — заходят тучи.
Как крылья чаек, среди камней
Мелькает пена. Прибой все круче,
Порывы ветра все холодней.

И кто-то скорбный, в одежде темной,
Стоит над морем... Вдали — печаль
И сумрак ночи...

<1903—1906>

ПЕСНЯ

Я — простая девка на баштане,
Он — рыбак, веселый человек.
Тонет белый парус на Лимане,
Много видел он морей и рек.

Говорят, гречанки на Босфоре
Хороши... А я черна, худа.
Утопает белый парус в море —
Может, не вернется никогда!

Буду ждать в погоду, в непогоду...
Не дождусь — с баштана разочтусь,
Выйду к морю, брошу перстень в воду
И косою черной удавлюсь.

<1903—1906>

ДЕТСКАЯ

От пихт и елей в горнице темней,
Скучней, старинней. Древнее есть что-то
В уборе их. И вечером красней
Сквозь них зари морозной позолота.

Узорно-легкой, мягкой бахромой
Лежит их тень на рдеющих обоях —
И грустны, грустны сумерки зимой
В заброшенных помещичьих покоях!

Сидишь и смотришь в окна из угла
И думаешь о жизни старосветской...
Увы! Ведь эта горница была
Когда-то нашей детской!

<1903—1906>

РЕЧКА

Светло, легко и своенравно
Она блестит среди болот
И к старым мельницам так плавно
Несет стекло весенних вод.

Несет — и знать себе не хочет,
Что там, пад омутом в лесу,
Безумно Водяной грохочет,
Стремглав летя по колесу, —

Пылит на мельницах помолом,
Трясет и жернов и привод —
И, падая, в бреду тяжелом
Кружит седой водоворот.

<1903—1906>

ПАХАРЬ

Легко и бледно небо голубое,
Поля в весенней дымке. Влажный пар
Врезаю я — и лезут на подвои
Пласты земли, бесценный божий дар.

По борозде спеша за сошниками,
Я оставляю мягкие следы —
Так хорошо разутыми ногами
Ступать на бархат теплой борозды!

В лилово-синем море чернозема
Затерян я. И далеко за мной,
Где тусклый блеск лежит на кровле дома,
Струится первый зной.

<1903—1906>

ДВЕ РАДУГИ

Две радуги — и золотистый, редкий
Весенний дождь. На западе вот-вот
Блеснут лучи. На самой верхней ветке
Садов, густых от майских непогод,
На мрачном фоне тучи озаренной
Чернеет точкой птица. Все свежей
Свет радуг фиолетово-зеленый
И сладкий запах ржей.

<1903—1906>

ЗАКАТ

Вдыхая толкий запах четок,
Из-за чернеющих решеток
Глядят монахи на посад,
На сивь лесов и на закат.

Вся келья в жарком, красном блеске:
Костром в далеком перелеске
Гнездо Жар-Птицы занялось
И за сосною товет вкось.

Оно сгорает, но из дыма
Встают, слагаются незримо
Над синим сумраком земли
Туманно-сизые кремни.

<1903—1906>

ЧУЖАЯ

Ты чужая, но любишь,
Любишь только меня.
Ты меня не забудешь
До последнего дня.

Ты покорно и скромно
Шла за ним от венца.
Но лицо ты склонила —
Он не видел лица.

Ты с ним женщиной стала,
Но не девушка ль ты?
Сколько в каждом движении
Простоты, красоты!

Будут снова измены...
Но один только раз
Так застенчиво светит
Нежность любящих глаз.

Ты и скрыть не умеешь,
Что ему ты чужда...
Ты меня не забудешь
Никогда, никогда!

<1903—1906>

АПРЕЛЬ

Туманный серп, неясный полумрак,
Свинцово-тусклый блеск железной крыши,
Шум мельницы, далекий лай собак,
Таинственный зигзаг летучей мыши.

А в старом палисаднике темно,
Свежо и сладко пахнет можжевельник,
И сонно, сонно светится склозь ельник
Серпа зеленоватое пятно.

<1903—1906>

ДЕТСТВО

Чем жарче день, тем сладостней в бору
Дышать сухим смолистым ароматом,
И весело мне было поутру
Бродить по этим солнечным палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет,
Песок — как шелк... Прильну к сосне корявой
И чувствую: мне только десять лет,
А ствол — гигант, тяжелый, пеличавый.

Кора груба, морщиниста, красна,
Но так тепла, так солнцем вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна,
А зной и сухость солнечного свега.

<1903—1906>

ПОМОРЬЕ

Белый полдень, жар-весносный,
Мох, песок, шелют да сосны...
Но от сосен твни нет,

Облака легки, высоки,
Солнце в бледной поволоке —
Всюду знойный белый свет.

Там, за хижинкой помора,
За песками косогора,
Голой мачты видел шест...

Но и море гладью млечной,
Серебристой, бесконечной,
Простирается окрест.

А на отмели песчаной
Спит помор, от солнца пьяный,
Тонко плачется комар,

И на икрах обнаженных,
Летним зноем обожженных,
Блещет бронзовый загар.

<1903—1906>

ДОННИК

Брат, в запыленных сапогах,
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий па парах,
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...
Ну да, все поле — золотое,
И отовсюду точки пчел
Плывут в сухом вечернем зное.

Толчется сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет —
И, значит, завтра вновь жара
И вновь сухиснь. А хлеб уж зреет.

Да, зрел и грозит нуждой,
Быть может, голодом... И все же
Мне этот дощник золотой
На миг всего, всего дороже!

<1903—1906>

У ШАЛАША

Распали костер, сумей
Разозлить его блестящих,
Убегающих, свистящих
Золотых и сивих змей!

Ночь из тьмы пустого сада
Дышит холодом прудов,
Прелых листьев и плодов —
Ароматом листопада.

Здесь же яркий зной и свет,
Тени пляшут по аллеям,
И бегущим жарким змеям,
Их затеям — счета пет!

<1903—1906>

ТЕРЕМ

Высоко стоят луна,
Тени елей резки, четки.
Я — в светлице у окна,
Я бледнее полотна...
В серебре пруты решетки.

Мать, отец — все спят давно.
Я с распушевной косою
Загляделася в окно...
Я бледна, как полотно,
Как поляпа под росю.

Подкопник не велик,
Все же можно здесь прижаться...
С неба смотрит лунный лик —
И у ног на половики
Клетки белые ложатся.

Да и я — как в серебре,
Испещренная крестами...
Долги ночи в сентлбре!
Но усну лишь на заре,
Истомленная мечтами..

<1903—1906>

ГОРЕ

Меркнет свет в небесах.
Скачет князь мелкошесем, по топям, где
сохнет осока.
Реют сумерки в черных еловых лесах,
А по елкам мелькает, сверкает — сорока.

Станет князь, поглядит:
Нет сороки! Но сердце недоброе чует.
Снова скачет — и снова сорока летит,
Перелесем кочует.

Болен сын... Верно, хуже ему...
Погубили дитя переходные старцы-калики!
Ночь подходит... И что-то теперь в терему?
Скачет князь — и все слышит он женские
крики.

А в лесу все темней,
А уж конь устает... Поспешай,— недалеко!
Вон и терем... Но что это? Сколько огней!
— Нагадала сорока.

<1903—1906>

ДЮНЫ

За сизыми дюпами — северный тусклый туман.

За сизыми дюпами — серая даль океана.

На зыби холодной, у берега — черный баклан,

На зыби маячит высокая шейка баклана.

За сизыми дюпами — север. Вдали иногда

Проходят, как тени, норвежские старые шхуны —

И снова все пусто. Холодное небо, вода,

Туман синеватый и дюны.

<1903—1906>

КАМЕННАЯ БАБА

От зноя травы сухи и мертвы.

Степь — без границ, но даль синее слабо.

Вот остов лошадиной головы.

Вот снова — Каменная Баба.

Как сонны эти плоские черты!

Как первобытно-грубо это тело!

Но я стою, боюсь тебя... А ты

Мне улыбаешься несмело.

О дикое исчадье древней тьмы!

Не ты ль когда-то было громовержцем?

— Не бог, не бог нас создал. Это мы

Богов творили рабским сердцем.

<1903—1906>

ЭСХИЛ

Я содрогаюсь, глядя на твои

Черты немые, полные могучей

И строгой мысли. С древней простотой

Изваяв ты, о старец. Бесконечно

Далеки дни, когда ты жил, и мифом
Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен
Их древностью. Ты страшен тем, что ты,
Незримый в мире двадцать пять столетий,
Незримо в пем присутствуешь доныне,
И пред твоею славой легендарной
Бессильно Времл.— Рок неотвратим,
Всё в мире предначертано Судьбою,
И благо поклоняющимся ей,
Всесильной, осудившей на забвенье
Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей
Склонил чело суровое с таким
Величием, с такою мощью духа,
Какая подобает лишь богам
Да смертному, дерзнувшему впервые
Восславить дух и дерзновеенье смертных!

<1903—1906>

У БЕРЕГОВ МАЛОЙ АЗИИ

Здесь царство Амазонок. Были дики
Их буйные забавы. Много дней
Звучали здесь их радостные клики
И ржание купавшихся коней.

Но век паш — миг. И кто укажет ныне,
Где на пески ступала их нога?
Не ветер ли среди морской пустыни?
Не эти ли нагие берега?

Давно унес, развеял петер южный
Их голоса от этих берегов...
Давно слизал, размыл прибой жемчужный
С сырых песков следы подков...

<1903—1906>

АГНИ

Лежу во тьме, сраженный злою силой.
Лежу и жду, недвижный и немой:
Идут, поют над вырытой могилой,
Несут огни,— вьщают жребий мой.

Звонят в щиты, зовут меня домой,
В стоустый вопль сливают плач унылый.
Но мне легко: ты, Агни светлокрылый,
Спасешь меня, разъединишь со тьмой.

Смотрите, братья, недруги и друзья,
Как бог, гудя, охватит мой костер,
Отсвечивая золотом в кольчуге!

Смирите скорбь рыдающих сестер:
Бог взял меня и жертвою простер,
Чтоб возродить на светозарном Юге!

<1903—1906>

СТОЛП ОГНЕННЫЙ

В пустыне раскаленной мы блуждали,
Томительно нам знойный день свежил,
Во мгlistые сверкающие дали
Туманный столп пред нами уходил.

Но пала ночь — и скрылся столп туманный,
Мираж исчез, свободней дышит грудь —
И пламенем к земле обетованной
Нам Ягве указывает путь!

<1903—1906>

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Апокалипсис, I

Я, Иоанн, ваш брат и соучастник
В скорбях и царстве господя, был изгнан
На Патмос за свидетельство Христа.

Я оселеп был духом в день воскресный
И слышал за собою как бы трубный
Могучий глас: «Я Альфа и Омега».

И обратился, дабы видеть очи
Того, кто говорит, и, обратившись,
Увидел семь светильников златых.

И посреди их пламеников — мужа,
Подиром облеченного по стану
И в пояс из золота — по персям.

Глава его и волосы сияли,
Как горный снег, как белая ярина,
И точво пламень огненный — глаза.

Стопы его — халколиван горящий,
Как будто раскаленные в горниле,
И глас его был шумом многих вод.

Семь звезд в его деснице, меч струился
Из уст его, и лик его — как солнце,
Блистающее в славе сил своих.

И, увидав, я пал пред ним, как мертвый.

<1903—1906>

СОН

Из книги пророка Даниила

Царь! вот твой сон: блистал перед тобою
Среди долин огромный истукан,
Подравший землю глиняной стопой.

Червонный лик был истукану дан,
Из серебра имел он грудь и длани,
Из меди — бедра мощные и стаи.

Но пробил час, назначенный заране,-
И сорвался в долину сам собой
Тяжелый камень с дальней горной грани.

Царь! пробил час, назначенный судьбой:
Тот камень пал, смешав металлы с глиной,
И поднял прах, как пыль над молотьюбой.

Бог сокрушил металла блеск в единый
И краткий миг: развеял без следа,
А камень стал великою вершиной.

Он овладел вселенной. Навсегда.

<1903—1906>

АТЛАНТ

...И долго, долго шли мы плоскогорьем,
Меж диких скал — все выше, выше, к небу,
По спутанным кустарникам, в тумане,
То закрывавшем солнце, то, как дым,
По ветру пропосившемся пред нами —
И вдруг обрыв, бездонное пространство
И глубоко в пространстве — необъятный,
Туманно восходящий к горизонту
Своей воздушно-зыбкою равниной
Лилово-синий южный Океан!
И сатана спросил, остановившись:
«Ты веришь ли в предания, в легенды?»

Еще был март, и только что мы вышли
На пышший из утесов над обрывом,
Навстречу нам пахнуло зимней бурей,
И увидел я с горной высоты,
Что пышность южных красок в Океане

Ее дыханьем мгlistым смягчена
И что в горах, к востоку уходящих
Излучиной хребтов своих, белеют,
Сквозь тусклость отдаления, снега —
Заоблачные царственные края
В холодных вечных савах своих.
И Дух спросил: «Ты веришь ли в Атланта?»

Крепясь, стоял я на скале, а ветер
Сорвать меня пытался, пропослался
С звенящим завываньем в низкорослых,
Измятых, искривленных бурей соснах,
И доносил из глубины глухой
Широкий шум — шум Вечности, протяжный
Шум дальних волн... И, как орел, впервые
Взмахнувший из родимого гнезда
Над ширью Океана, был я счастлив
И упоен твоею первозданной
Непостижимой силою, Атлант!
«О да, Титан, я верил, жадно верил».

<1903—1906>

ЗОЛОТОЙ НЕВОД

Волна ушла — блестят, как золотые,
На солище валуны.
Волна идет — как из стекла лите,
Идут бугры волны.

По ним скользит, колышется медуза,
Живой морской цветок...
Но вот волна изнемогла от груза
И пала на песок,

Зеркальной зыбью блещет и дробится,
А солище под водой
По валунам скользит и шевелится,
Как невод золотой.

<1903—1906>

НОВОСЕЛЬЕ

Весна! Темнеет над аулом,
Свет фиолетовый мелькнул —
И горный крик стократным гулом
Ответил на громовый гул.

Весна! Справляя новоселье,
Она веселый катит гром,
И будит звучное ущелье.
И сыплет с неба серебром.

<1903—1906>

ДАГЕСТАН

Насторожись, стань крепче в стремяна.
В ущелье мрак, шумящие каскады.
И до небес скалистые громады
Встают в конце ущелья — как стена.

Над их челом — далеких звезд алмазы.
А на груди, в зловещей темноте,
Лежит аул: дракон тысячеглазый
Гнездится в высоте.

<1903—1906>

НА ОБВАЛЕ

Печальный берег! Сизые твердыни
Гранитных стен до облака истают,
А ниже — хаос каменный пустыни,
Лавина щебня, дьявола приют.

Но нищета смиренна. Одиноко
Она ушла на берег — в к скале
Прилипла сакля... Верный раб пророка
Довольствуется малым на земле.

И пот — жилье. Над хижинкой убогой
Дымок сипест... Прыгает коза...
И со скалы, нависшей над дорогой,
Блестят агатом детские глаза.

<1903—1906>

А И Я - С О Ф И Я

Свистильники горели, неповятный
Звучал язык, — великий шейх читал
Святой Коран, — и купол необъятный
В угрюмом мраке пронадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,
Шейх поднял лик, закрыл глаза — и страх
Царил в толпе, и мертвою, слепою
Она лежала на коврах...

А утром храм был светел. Все молчало
В смиренной и священной тишине,
И солнце ярко купол озаряло
В непостижимой вышине.

И голуби в нем, рея, ворковали,
И с вышины, из каждого окна,
Простор небес и воздух сладко звали
К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

<1903—1906>

К ВОСТОКУ

Вот и скрылись, позабылись свежих гор чалмы.
Зной пустыни, путь к востоку, мертвые холмы.

Каменистый, красно-серый, мутный океан
На восток уходит, в знойный, в голубой туман.

И все жарче, шире веет из степен теплынъ,
И все суше, слаще пахнет горькая полынь.

И холмы все безнадежней. Глина, роговик...
День тут светел, бесконечен, вечер сизъ и дикъ.

И едва стемнеет, смеркнет, где-то между скал,
Как дитя, как джипя пустыни, плачется шакал,

И на мягких крыльях совки трепетно парят,
И на тусклом небе звезды сумрачно горят.

<1903—1906>

ПУТЕВОДНЫЕ ЗНАКИ

Он ставит путеводные знаки.
Корак.

Бог для ночных паломников в Могребе
Зажег огни — святые звезды Пса.
Привет тебе, сперкающая в небе
Алмазно-синяя роса!

Путь по пескам от Газы до Арима
Бог оживил приметами, как встарь.
Привет вам, камни — четки пилигрима,
В пустыне ведшие Агары!

Костями бог усеял все дороги,
Как след гнев среди ущелий Ти.
Привет вам, почивающие в божьих,
Нам проторившие пути!

<1903—1906>

МУДРЫМ

Герой — как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб — сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А труо — живет. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, по тайком.
О да, он — мудр! Но сердце в нем чуть тлеет
Как огонек под кизяком.

<1903—1906>.

ЗЕЛЕНЫЙ СТЯГ

Ты почиешь в ларце, в драгоценном ковчеге,
Ветхий деньми, Эски,
Ты, сыздавший на брань и святые набег
Через моря и пески.

Ты уснул, но твой сон — золотые виденья.
Ты сквозь сорок шелков
Дышишь запахом роз и дыханием тленья —
Ароматом веков.

Ты покоишься в мире, о слава Востока!
Но сердца покорил
Ты навек. Не тебя ль над главою пророка
Воздвигал Гавриил?

И не ты ли царишь над Востоком доныне?
Развернися, восстань —
И восстанет Ислам, как самумы пустыни,
На священную брань!

Проклят тот, кто велений Корана не слышит.
Проклят тот, кто угас
Для молитвы и битв, — кто для жизни не дышит,
Как бесплодный Геджас.

Ангел смерти сойдет в гробовые пещеры, —
Ангел смерти сквозь тьму
Вопрошает у мертвых их символы веры:
Что мы скажем ему?

<1903—1906>.

СВЯЩЕННЫЙ ПРАХ

Пыль, по которой Гавриил
Свой путь незримый совершает
В полночный час среди могил,
Целит и мертвых воскрешает.

Прах, на который пала кровь
Погибших в битве за свободу,
Благоговенье и любовь
Внушает мудрому народу.

Прильни к нему, благослови
Миг созерцания святыни —
И в битву мести и любви
Восстань, как ураган пустыни.

<1903—1906>

АВРААМ

Коран, VI

Был Авраам в пустыне темной ночью
И увидал на небесах звезду.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но в полночь
Звезда зашла — и свет ее померк.

Был Авраам в пустыне пред рассветом
И восходящий месяц увидал.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но месяц
Померк и закатился, как звезда.

Был Авраам в пустыне ранним утром
И руки к солнцу радостно простер.
«Вот мой господь!» — воскликнул он. Но солнце
Свершило день и закатилось в ночь.

Бог правый путь поведал Аврааму.

<1903—1906>

САТАНА БОГУ

И когда мы сказали ангелам:
падите лиц перед Адамом, все
пали, кроме Эблиса, сотворенно-
го из огня.

Коран.

Я — из огня, Адам — из мертвой глины,
И ты велишь мне пред Адамом пасть!
Что ж, сей в огонь листву сухой маслины —
Смирый листвою его живую страсть.

О, не смиришь! Я только выше вскину
Свой красный стяг. Смотри: уж твой Адам
Охвачен мной! Я выжгу эту глину,
Я, как гончар, закал и звук ей дам.

<1903—1906>

ЗЕЙНАБ

Зейнаб, свежесть очей! Ты — арабский кувшин:
Чем душнее в палатках пустыни,
Чем стремительней дует палящий хамсин,
Тем вода холоднее в кувшине.

Зейнаб, свежесть очей! Ты строга и горда:
Чем безумнее любить — тем строже.
Но сладка, о, сладка ледяная вода,
А для путника — жизни дороже!

<1903—1906>

БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ

В пустыне красной над пророком
Летел архангел Гавриил
И жгучий зной в пути далеком
Смягчал сияньем белых крыл.

И я в пути, и я в пустыне.
И я, не смея отдохнуть,
Как Магомет к святой Медине,
Держу к заветной цели путь.

Но зной не жжет — твоим приветом
Я и доныне осенен:
Мир серебристым, нежным светом
Передо мною напоен.

<1903—1906>

ПТИЦА

Мы привязали к шее каждого его птицу.

Коран.

На всех на вас — на каждой багрянице,
На каждом пыльном рубище раба —
Есть амулет, подобный вещи птице,
Есть тайный знак, и этот знак — Судьба.

От древности, когда он путь свой начал,
Он совершал его среди гробов:
Он, проходя, свои следы означил
Зловещей белизною черепов.

Хамсин на них горячей мглою дует,
Песок, струясь, бежит по их костям.
Всем чуждая, на них сова ночует
Среди могильных ям.

<1903—1906>

ЗА ГРОБОМ

Я не тушил священного огня.

Книга Мертвых.

В подземный мир введет на суд Отца
Сын, Ястреб-Гор. Шакал-Анубис будет
Класть на весы и взвешивать сердца:
Бог Озирис, бог мертвых, строго судит.

Я погребен, как раб, в песке пустынь.
Пройдут века — и Сириус, над Нилом
Теперь огнем горящий, станет сплз,
Да светит он спокойнее могилам.

И мир забудет, темного, меня.
И на весах потянет сердце мало.
Но я страдал. Я не тушил огня.
И я взгляну без страха в лик Шакала.

1906

МАГОМЕТ В ИЗГНАНИИ

Духи над пустыней пролетали
В сумерки, над каменистым логом.
Скорбные слова его звучали,
Как источник, позабытый богом.

На песке, босой, с раскрытой грудью,
Он сидел и говорил, тоскуя:
«Предан я пустыне и безлюдью,
Отрешен от всех, кого люблю я!»

И сказали Духи: «Недостойно
Быть пророку слабым и усталым».
И пророк печально и спокойно
Отвечал: «Я жаловался скалам».

1906

• • •

Огромный, красный, старый пароход
У мола стал, вернувшись из Сиднея.
Белеет мол и, радостно синее,
Безоблачный сияет небосвод.

В тиши, в тепле, на солнце, в изумрудной
Сквозной воде, склонясь на левый борт,
Гигант уснул. И спит пахучий порт,
Спят грузчики. Белеет мол безлюдный.

В воде прозрачной виден узкий киль,
Весь в ракушках. Их слой зелено-ржавый
Нарос давно... У Суматры, у Явы,
В Великом океане... в зной и штиль.

Мальчишка-негр в турецкой грязной феске
Висит в бадье, по борту, красит бак —
И от воды на свежий красный лак
Зеркальные восходят арабески.

И лак блестит под черною рукой,
Слепит глаза... И мальчик-обезьяна
Сквозь соп поет... Простой напев Судава
Звучит в тиши всем чуждою тоской.

VIII.06

• • •

Люблю цветные стекла окон
И сумрак от столетних лип,
Звенящей люстры серый кокон
И половиц прогнивших скрип.

Люблю желтый винный запах
Из шифоньерок и от книг
В стеклянных невысоких шкапах,
Где рядом Сю и Патерик.

Люблю их синие стравички,
И четкий шрифт, простой набор,
И серебро икон в божнице,
И в горке матовый фарфор.

И вас, и вас, дагерротипы,
Черты давно поблекших лиц,
И сумрак от столетней липы,
И скрип прогнивших половиц.

1906

• • •

Луна еще прозрачна и бледна.
Чуть розовеет пепел небосклона,
И золотится берег. Уж видна
Тень кипариса у балкона.

Пойдем к обрывам. Млеющей волной
Вода переливается. И вскоре
Из края в край под золотой луной
Затеплится и засияет море.

Ночь будет ясная, веселая. Вдали,
На рейде, две туредных бригадинны.
Вот поднимают парус. Вот зажгли
Сигналы — изумруды и рубины.



Но ветра нет. И будут до зари
Они дремать и медленно качаться,
И будут в лунном свете фонари
Глазами утомленными казаться.

1906

* * *

И скрип и визг над бухтой, паводненной
Буграми влаги пеннисто-зеленой:
Как в забыти шатаются над ней
Кресты нагих запутанных спасей,
А чайки с криком падают меж ними,
Сверкая в рсях крыльями тугими,
Иль белою яичной скорлупой
Скользят в волне зелено-голубой.
Еще бегут поспешно и высоко
Лохмотья туч, но ветер от востока
Уж дал горам лиловые цвета,
Чеканит грани снежного хребта
На синем небе, свежем и блестящем,
И сыплет в море золотом кипящим.

1906

* * *

Проснусь, проснусь — за окнами, в саду,
Все тот же снег, все тот же блеск полярный.
А в зале сумрак. Слушаю и жду:
И вот опять — таинственный, коварный,
Чуть слышный треск... Конечно, пол иль мышь.
Но как насторожишься, как следишь
За кем-то, притаившимся у двери
В повисшей без движения портъере!
Но он молчит, он замер. Тюль гардин
Сквозит в голубоватом лунном блеске
Да чуть мерцают — искорками льдин —
Под люстрой стеклянные подвески.

1906

ПЕТРОВ ДЕНЬ

Девушки-русалочки,
Нынче наш последний день!
Свет за лесом занимается,
Поблудели небеса,
Собираются с дубинами
Мужики из деревень
На опушку, к морю сизому
Холодного овса...
Мы из речки — на долину,
Из долины — по отпесу,
По березовому лесу —
На равнину,
На восток, на рапный свет,
На серебряный рассвет,
На овсы,
Вдоль по жемчугу
По сизому росы!
Девушки-русалочки,
Звонко стало по лугам.
Забелела речка в сумраке,
В алеющем пару,
Пнями пахнет лес березовый
По откосам, берегам,—
Густ и зелен он, кудрявый,
Поутру...
Поутру вода тепла,
Холодна трапа седая,
Вся медовая, густая,
Да идут на нас с дреколем из села.
Что ж! Мы стай на откосы,
На опушку — из берез,
На бегу растреплем косы,
Упадем с разбега в росы
И до слез
Щекотать друг друга будем,
Хохотать и, назло людям,
Мять овес!

Девушки-русалочки,
Стойте, поглядите на рассвет:
Бел-восток алеет, ширится,—
Широко зарей в полях,
Ни души-то пету, милые,
Только ранний алый свет
Да холодный крупный жемчуг
На стеблях...
Мы, нагие,
Всем чужие,
На опушке, на поляне,
Бледны, по пояс в пару,—
Нам пора, сестрицы, к няне,
Ко двору!
Жарко в небе солнце божье
На Петров играет день,
До Ильи сулит бездождье,
Пыль, сухмень —
Вудут знойные зарницы
Зарить хлеб,
Будет омут паш, сестрицы,
Темен, слеп!

1906

• • •

Ограда, крест, зеленая могила,
Роса, простор и тишина полей...
— Благоухай, звенящее кадило,
Дыханием рубиновых углей!

Сегодня год. Последние напевы,
Последний вздох, последний фимиам...
— Цветите, зрейте, новые посевы,
Для новых жатв! Придет черед и вам.

1906

• • •

Растет, растет могильная трава,
Зеленая, веселая, живая,
Омыла плиты влага дождевая,
И мох покрыл ненужные слова.

По вечерам заплакала сова,
К моей душе забычивой зывая,
И старый склеп, руина гробовая,
Таит укор... Но ты, земля, права!

Как нежны на алеющем закате
Кремни далеких синих облаков!
Как вырезаны крылья ветряков
За темною долиною на скате!

Земля, земля! Весенний сладкий зов!
Ужель есть счастье даже и в утрате?
1906

ВАЛЬС

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных —
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный —
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

1906

• • •

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Слева месяц над морем светил,
Справа остров темнел — пропадали вдаль
Дюны скудной родимой земли.

Старый дом рыбака голубою стеной
Там мерцал над кипящей волной.
Но в заветном окне не видал я огня:
Ты забыла, забыла меня!»

«Мимо острова в полночь фрегат проходил:
Поздний месяц над морем светил,
Золотая текла по волнам полоса
И как в сказке неслись паруса.

Лебединою грудью белели они,
И мерцали на мачтах огни.
Но в светлице своей не зажгла я огня:
Ты забудешь, забудешь меня!»

1906

• • •

Геймдаль искал родник божественный.
Геймдаль, ты мудрости алкал —
И вот настал твой час торжественный
В лесах, среди гранитных скал.

Они молчат, леса полпочные,
Ручьи, журча, едва текут,
И звезды поздние, восточные
Их вещий говор стерегут.

И шлем ты спял — и холод счастья
По волосам твоим прошел:
Миг обручелья, миг причастия
Как смерть был сладок и тяжел.

Теперь ты мудр. Ты жаждал знания —
И все забыл. Велик и прост,
Ты слышишь мхов произрастание
И дрожь земли при свете звезд.

1906

ПУГАЧ

Он сел в глуши, в шатре столетней ели.
На яркий свет, сквозь ветви и сучки,
С безумным удивлением глядели
Сверкающие золотом зрачки.

Я выстрелил. Он вздрогнул — и бесшумно
Сорвался вниз, на мох корней витых.
Но и во мху блестит, глядят безумно
Круги зрачков лучисто-золотых.

Раскинулись изломанные крылья,
Но хищный взгляд все так же дик и зол,
И сталь когтей с отчаяньем бессилья
Вонзается в ружейный скользкий ствол.

<1906>

ДЯДЬКА

За окнами — снега, степная гладь и ширь,
На переплетах рам — следы ночной пурги...
Как тих и скучен дом! Как съежился снегирь
От стужи за окном. — Но вот слуга. Шаги.

По комнатам идет седой костлявый дед,
Несет вечерний чай: «Опять глядишь в углы?
Небось все писем ждешь, депеш да встафет?
Не жди. Ей не до нас. Теперь в Москве — балы».

Смутясь, глядит барчук на строгие очки,
На седину бровей, на розовую плешь...
— Да нет, старик, я так... Сыграем в дурачки,
Пораньше ляжем спать... Каких уж там делеш!

<1906>

СТРИЖИ

Костел-маяк, примета мореходу
На ребрах гор, скалистых и нагих,
Звонит зимой, в туман и непогоду,
А нынче — штиль; закат и чист, и тих.

Одни стрижи, — как только над горою
Начнет гранит першины розоветь, —
Скользят в пролетах башни и порою
Чуть слышно будят медь.

<1906>

НА РЕЙДЕ

Люблю сухой, горячий блеск черпона,
Когда его уронят с корабля
И он, скользнув лучистой каплей солнца,
Прорежет волны у руля.

Склонясь с бортов, с невольною улыбкой
Все смотрят вниз. А он уже исчез.
Вверх по корме струится глянец зыбкий
От волн, от солнца и небес.

Как жар горят червонпой медью гайки
Под серебристым тентом корабля.
И плавают на снежных крыльях чайки,
Косясь на волны у руля.

<1906>

ДЖОРДАНО БРУНО

«Ковчег под предводительством осла —
Вот мир людей. Живите во Вселенной.
Земля — вертеп обмана, лжи и зла.
Живите красотою неизменной.

Ты, мать-земля, душе моей близка —
И далека. Люблю я смех и радость,
Но в радости моей — всегда тоска,
В тоске всегда — таинственная сладость!»

И вот он посох странника берет:
Простите, келий сумрачные своды!
Его душа, всем чуждая, живет
Теперь одним: дыханием свободы.

«Вы все рабы. Царь вашей перы — Зверь:
Я спергну трон слепой и мрачной веры.
Вы в капище: я распахну вам дверь
На блеск и свет, в лазурь и бездну Сферы.

Ни бездне бездн, ни жизни грани нет.
Мы остановим солнце Птолемея —
И вихрь мироп, несметный сонм планет,
Пред нами развернется, пламеней!»

И он дерзнул на все — вплоть до небес.
Но разрушение — жажда созиданья,
И, разрушая, жаждал он чудес —
Божественной гармонии Созданья.

Глаза сияют, дерзкая мечта
В мир откровений радостных уносит.
Лишь в истине — и цель и красота.
Но тем сильнее сердце жизни просит.

«Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютей!
Я мог твоим быть другом и отцом...
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Высоко нес я стяг своей любви.
Но есть другие радости, другие:
Оледенив желания свои,
Я только твой, познание — софия!»

И вот опять он странник. И опять
Глядит он вдаль. Глаза блестят, но строго
Его лицо. Враги, вам не понять,
Что бог есть Свет. И он умрет за бога.

«Мир — бездна бездн. И каждый атом в нем
Проникнут богом — жизнью, красотою.
Живя и умирая, мы живем
Единою, всемирною Душою.

Ты, с лютею! Мечты твоих очей
Не эту ль Жизнь и Радость отражали?
Ты, солнце! ты, созвездия ночей!
Вы только этой Радостью дышали».

И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. *«Умерший в рабский век
Бессмертием венчается — в свободном!»*

Я умираю — ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презренный!
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу! —
Он мысль мою развест по Вселенной!»

<1906>

В МОСКВЕ

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Вот и март.
И холодно и низко в мезонине,
Немало крыс, но по ночам — чудесно.
Днем — ростепель, капли, греет солнце,
А ночью подморозит, станет чисто,
Светло — и так похоже на Москву,
Старинную, далекую. Усядусь,
Огня не зажигая, возле окон,
Облитых лунным светом, и смотрю
На сад, на звезды редкие... Как нежно
Весной ночное небо! Как спокойна
Луна весною! Теплятся, как свечи,
Кресты на древней церковке. Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов...

<1906>

• • •
Леся в жемчужном ипсе. Морозно.
Поет из телеграфного столба
То весело, то жалобно, то грозно
Звенящим гулом темная судьба.

Молчит и внемлет белая долина.
И все победней, ярче и пышней
Горит, дрожит и блещет хвост павлина
Столетьями алмазами над ней.
21.11.07

П Р О В О Д Ы

Забил буграми жемчуг, закрубился,
Взрывая малахиты под рулем.
Земля плывет. Отходит, отделился
Высокий борт. И мы назад плывем.

Мол опустел. На сор и зерва жита,
Свистя, слетелись голуби. А там
Дрожит корма, и длинный жезл бугшприта
Отходит и чертит по небесам.

Куда теперь? Март, сумерки... К вечерно
Звопят в порту... Душа весной полна,
Полна тоской... Воя огонек в таверне...
Но нет, домой. Я пьян и без вина.

1907

Д И Я

Штиль в безграпично-светлом Ак-Денизе.
Зацвел миндаля. В ауле тишина
И теплый блеск. В мечети на карнизе,
Воркуя, ходят, ходят турмана.

На скате под обрывистым утесом
Журчит фонтан. Идут оттуда вниз
Уступы крыш по каменным откосам
И безграничный виден Ак-Дениз.

Она уж там. И весел, и спокоен
Взгляд быстрых глаз. Легка, как горный
джипп,
Под шелковым бешметом детски-строен
Высокий стан... Она нальет кувшин,

На камень сбросит красные папучи
И будет мыть, топтать в воде белье...
— Журчи, журчи, явни, родник певучий
Она глядится в зеркало твое!

1907

ГЕРМОН

Великий Шейх, седой и мощный друг,
Ты видишь все: пустыню Джаулана,
Геннисарет, долины Иордана
И божий дом, ветхозаветный Луз.

Как белый шелк, сияет твой бурнус
Над синевой далекого Ливана,
И сам Христос, смиренный Иисус,
Дышал тобою, радость каравана.

В скалистых недрах спит Геннисарет
Под серою стеной Тивериады.
Повсюду жар, палящий блеск и свет
И допотопных кактусов ограды —

На пыльную дорогу в Назарет
Одня ты всешь сладостью прохлады.

1907

• • •

На пути под Хевроном,
В каменистой широкой долине,
Где по скатам и склонам
Вековые маслины серели на глине,
Поздней почью я слышал
Плач ребенка — шакала:
Из-под черной палатки я вышел,
И душа моя грустно чего-то искала.
Неподвижно светили
Молчаливые звезды над старой,
Позабытой землею. В могиле
Почивал Авраам с Исааком и Саррой.
И темно было в древней гробнице Рахилл.

1907

ГРОБНИЦА РАХИЛИ

«И умерла, и схоронил Иаков
Ее в пути...» И на гробнице нет
Ни имени, ни надписей, ни знаков.

Ночной порой в ней светит слабый свет,
И купол гроба, выбеленный мелом,
Таинственную бледностью одет.

Я приближаюсь в сумраке несмело
И с трепетом целую мел и пыль
На этом камне, выпуклом и белом...

Сладчайшее из слов земных! Рахиль!

1907

ИЕРУСАЛИМ

Это было весной. За восточной стеной
Был горячий и радостный зной.
Зеленела трава. На припеке во рву
Мак кропил огоньками траву.

И сказал проводник: «Господин! Я еврей
И, быть может, потомок царей.
Погляди на цветы по сионским стенам:
Это все, что осталось нам».

Я спросил: «На цветы?» И услышал в ответ:
«Господин! Это праотцев след,
Кровь погибших в боях. Каждый год, как весна,
Красным маком восходит она».

В полдень был я на кровле. Кругом, подо мной,
Тоже кровлей,— единой, сплошной,
Желто-розовой, точно песок,— возлежала
Древний город и зноем дышал.

Одинокая пальма вставала над ним
На холме опахалом своим,
И мелькали, сверлили стрижи тишину,
И далеко я видел страну.

Морем серых холмов расстилалась она
В дымке сизого мглистого сна,
И я видел гористый Моав, а внизу —
Ленту Мертвой воды, бирюзу.

«От Галгала до Газы,— сказал проводник,—
Край отцов ныне беден и дик.
Иудей в гробах. Бог раскинул по ней
Семя пепельно-серых камней».

Враг разрушил Сион. Город тлел и сгорал —
И пророк Иеремия собрал
Теплый прах, прах золы, в погасавшем огне
И рассеял его по стране:

Да родит край отцов только камень и мак!
Да исчахвет в нем всяческий злак!
Да пребудет он гол, иссушен, нелюдим —
До прихода реченного им!»

1907

ХРАМ СОЛНЦА

Шесть золотистых мраморных колонн,
Безбрежная зеленая долина,
Ливан в снегу и неба синий склон.

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильней,
Прекрасней, допотопная руина!

Там глыбы желто-пепельных камней,
Забывшие могилы в океане
Нагих песков. Здесь радость юных дней.

Патриархально-царственные ткани —
Снегов и скал продольные ряды —
Лежат, как пестрый талес, на Ливане.

Под ним луга, зеленые сады
И сладостный, как горячая прохлада,
Шум быстрой малахитовой воды.

Под ним стоянка первого Номада.
И пусть она забвения и пуста:
Бессмертным солнцем светит колоннада.

В блаженный мир ведут ее врата.

Баальбек, 6.V.07

• • •

Чалма па мудром — как луна
С ее спокойствием могильным.
Луна светла и холодна
Над Ак-Сараем, жарким, пыльным.

Что для нее все наши дни,
Закаты с горестным изаном
И эти бледные огни
В гвезде скалистом и туманном!

1907

ВОСКРЕСЕНИЕ

В апрельский жаркий полдень, по кремнистой
Дороге меж цветущими садами
Пришел монах, высокий Францисканец,
К монастырю над синим южным морем.
«Кто там?» — сказал привратник из-за двери.
«Брат во Христе», — ответил Францисканец.
«Кого вам надо?» — «Брата Габриэля».
«Он нынче занят — пишет Воскресенье».
Тогда монах сорвал с ограды розу,
Швырнул во двор — и с недовольным видом
Пошел назад. А роза за оградой
Рассыпалась на мрамор черным пеплом.

1907

• • •

Шла сиротка пыльною дорогой,
На степи боллась заблудиться.
Встретился прохожий, глянул строго,
К мачехе велел ей воротиться.

Долгими дугами шла сиротка,
Плакала, боялась темной ночи.
Повстречался ангел, глянул кротко
И потупил ангельские очи.

По пригоркам шла сиротка, стала
Подниматься тропочкой неровной.
Встретился господь у перевала,
Глянул милосердно и любовно.

«Не трудись,— сказал он,— не разбудишь
Матери в ее могиле тесной:
Ты моей, сиротка, дочкой будешь»,—
И увел сиротку в рай небесный.

1907

СЛЕПОЙ

Вот он идет проселочной дорогой,
Без шапки, рослый, думающий, строгий,
С мешками, с палкой, в рваном армячишке,
Держась рукой за плечико мальчишки.

И звонким альтиком, жалобным и страстным,
Поет, кричит мальчишка,— о прекрасном
Об Алексее, божьем человеке,
Под недовольный, мрачный бас калеки.

«Вы пожалейте,— плачет альт,— бездомных!
Вы наградите, люди, сырых, темных!»
И бас грозит: «В аду, в огне сгорите!
На пропитанье наше сотворите!»

И, угрожая, пластным, мерным шагом
Идет к избушке ветхой над оврагом,
Над скудной балкой вдоль иссохшей речки,
А там одна старуха на крылечке.

И крестится старуха и дрожащей
Рукою ищет грошик заваливший
И жалко плачет, сморщивая брови,
Об окапиной грешнице Прасковье.

1907

НОВЫЙ ХРАМ

По алтарям, пустым и белым,
Веселый ветер дул на нас,
И кто-то сверху капал мелом
На золотой иконостас.

И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.

И часто, вместе с малярами,
Там пели песни. И Христа,
Что слушал нас в веселом храме,
Мы написали неспроста.

Нам все казалось, что под эти
Простые песни вспомнит он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.

1907

КОЛИБРИ

Трава пестрит — как разглядеть змею?
Зеленый лес раскинул в жарком свете
Сквозную тень, узорчатые сети,—
Они живут в неведении, в раю.

Поют, ликуют, спорят голосами,
Огнем хвостов... Но стоит невпопад
Взглянуть в траву — и примет пестрый гад!
Он метко бьет раскосыми глазами,

1907

* * *

Кошка в крапиве за домом жила.
Дом обветшалый молчал, как могила.
Кошка в него по ночам приходила
И замирала напротив стола.

Стол обращен к образам — позабыли,
Стол, как стоял, так остался. В углу
Каплями воск затвердел на полу —
Это горевшие свечи оплыли.

Помнишь? Лежит старичок-холостяк:
Кротко закрыты ресницы — и кротко
В черненький галстук воткнулась бородака...
Свечи пылают, дрожит нависающий мрак...

Темен теперь этот дом по ночам.
Кошка приходит и светит глазами.
Угол мерцает во тьме образами.
Ветер шумит по печам.

1907

* * *

Присела на могильнике Савуре
Старуха Смерть, глядит на людный шлях.
Цветущий лен полоскою лазури
Синеет на полях.

И говорит старуха Смерть: «Здорово,
Прохожие! Не надо ли кому
Льняного погребального покрова?
Не дорого возьму».

И говорит Савур-хурган: «Не каркай.
И саван — прах. И саван обречен
Истлеть в земле, чтоб снова вырос яркий
Небесно-спящий лен».

1907

• • •

Свежа в апреле ранняя зоря.
В тели у хат хрустит ледок стеклянный.
Причастницы к стенам монастыря
Несут детей — исполнить долг желанный.

Прими, господь, счастливых матерей,
Отверзи храм с блистающим престолом —
И у святых своих дверей
Покрой их звоном благостно-тяжелым.

30.VI.07

• • •

Там иволга, как флейта, распевала,
Там утреннее солнце пригревало
Труд муравьев — живые бугорки,
Вдруг пегая легавая собака,
Тропинкой пробежав до буерака,
Залаяла. Я быстро взвел курки.

Змея? Барсук? — Плетенка с костяпикой.
А на березе девочка — и дикий
Испуг в лице и глазках: над ручьем
Дугой береза белая склонилась —
И вот она вскарабкалась, схватилась
За ствол и закачалась на нем.

Поспешно повернулся я, поспешно
Пошел назад... Младенчески-безгрешно
И радостно откликнулась душа

На этот ужас милый... Вся пестрела
Березовая роща, флейта пела —
И жизнь была чудесно хороша.

1907

НИЩИЙ

Возноси хвалы при уходе гяеда.
Норан.

Все сады в росе, но теплы гяеда —
Сладок птичий лепет, полусон.
Возноси хвалы — уходят звезды,
За горами заалел Гермон.

А потом, счастливый, босоногий,
С чашкой сядь под ивовый плетень:
Мир идущим пыльной дорогой!
Славьте, братья, новый божий день!

Дамаск, 1907

• • •

Щебечут пестрокрылые чеккаппи.
На глиняных могильных бугорках.
Дорога в Мекку. Древние стоянки
В пустыне, в эное, на песках.

Где вы, хаджи? Где ваши дромадеры?
Вдали слюдой блестят солячаки.
Кругом погост. Бугры рогаты, серы,
Как голых седел арчаки.

Дамаск, 1907

* * *

В столетнем мраке черной ели
Краснела темная дриада,
И светляки в кустах горели
Зеленым дымом ягтаря,

И ты играла в темной зале
С открытой дверью на балкон,
И пела грусть твою рояли
Про невозвратный небосклон,

Что был сад парком, — бледный, ровный,
Ночной, июньский, — там, где след
Души счастливой и любовной,
Души моих далеких лет.

1907

* * *

«Тут покоится хан, покоривший несметные страпы,
Тут стояла мечеть над гробницей вожда:
Учъ толак бош ослун! Эти камни, бурьяны
Пахнут мускусом после дождя».

И сидел я один на крутом и пустом косягоре.
Горы хмурились в горах синевящих туч.
Вольный ветер с зеленого дальнего моря
Был блаженно пахуч.

1907

ТЕЗЕЙ

Тезей уснул в венке из мирт и лавра.
Зыбь клонит мачту в черных парусах.
Зеленым золотом горит звезда Кентавра
На южных небесах.

Забыв о ней, гребды склоняют вежды,
Поют в дремоте сладкой... О Тезей!
Вновь пропитал Кентавр ткань праздничной одежды
Палящим ядом змей.

Мы в радости доверчивы, как дети.
Нас тешит мирт, пьянит победный лавр.
Один Эгей не спал над морем в звездном свете,
Когда всходил Кентавр.

1907

ПУСТОШЬ

Мир вам, в земле почившие! — За садом
Погост рабов, погост дворовых паших:
Две десятины пустоши, волнистой
От бугорков могильных. Ни креста,
Ни деревца. Местами уцелели
Лишь каменные плиты, да и то
Изъеденные временем, как оспой...
Теперь их скоро выберут — и будут
Выпахивать то пористые кости,
То суздальские черные иконки...

Мир вам, давно забытые! — Кто знает
Их имена простые? Жили — в страхе,
В неизвестности — почили. Иногда
В селе ковали цепи, засекали,
На поселенье гнали. Но стихал
Однообразный бабий плач — и снова
Шли дни труда, покорности и страха...
Теперь от этой жизни уцелели
Лишь каменные плиты. А пройдет
Железный плуг — и пустошь всколосится
Густою рожью. Кости удобряют...

Мир вам, неотомщенные! — Свидетель
Великого и подлого, бессильный

Свидетель зверств, расстрелов, пыток, казней,
Я, чье чело отмечено навеки
Клеймом раба, невольника, холопа,
Я говорю почившим: «Спите, спите!
Не вы одни страдали: внауки ваших
Владык и повелителей испили
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»

1907

КАИН

Баальбек воздвиг в безумии Каин.
Сирийск. предания.

Род приходит, уходит,
А земля пребывает вовек...
Нет, он строит, возводит
Храм бессмертных племен — Баальбек.

Он — убийца, проклятый,
Но из рая он дерзко шагнул.
Страхом Смерти обьятый,
Все же первый в лицо ей взглянул.

Жадно ищущий бога,
Первый бросил проклятье ему.
И, достигнув порога,
Пал, сраженный, увидевши — тьму.

Но и в тьме он восславит
Только Знание, Разум и Свет —
Башню Солнца поставит,
Вдавит в землю незыблемый след.

И глаза великана
Красной кровью свирепо горят,
И долины Ливана
Под великою пошей гудят.

Спекудрый, песь бурый,
Из пустыни и зноя литой,
Опоясан он шкурой,
Шкурой льва, золотой и густой.

Он спешит, он швырлет,
Он скалу на скалу громоздит.
Он дрожит, умирает...
Но творцу отомстит, отомстит!

<1906—1907>

ПУГАЛО

На задворках, за ригами
Богатых мужиков,
Стоит оно, родимое,
Одиннадцать веков.

Под шапкою лохматою —
Дубинка-голова.
Крестом по ветру треплются
Пустые рукава.

Старновкой — чистым золотом! —
Набит его чекмень,
На зависть на великую
Соседних деревень...

Он, огород-то, выпахан,
Уж есть и лебеда.
И грядка означается,—
Да это не беда!

Не много дел и пугалу...
Да разве огород
Такое уж сокровище? —
Пугался бы народ!

<1906—1907>

НАСЛЕДСТВО

В угольной — солище, запах кипариса...
В пей круглый год не выставляли рам.
Покой любила тетушка Лариса,
Тепло, уют... И тихо было там.

Пол мягко устлав — коврики, попоны...
Все старомодно — кресла, туалет,
Комод, кровать... В углу па юг — иконы,
И сколько их в божничке — счету нет!

Но, тетушка, о чем вы им молились,
Когда шептали в требник и псалтырь
Да свечи жгли? Зачем не удалились
Вы заживо в могилу — в монастырь?

Приемышу с молоденькой женою
Дала приют... «Случись же нам втроем,
Да что же делать-с! Давит тишиною
Вас домик мой? Так не живите в нем!»

И молодые сели, укатили...
А тетушка скончалась в тишине
Лишь прошлый год... Вот филин и в могиле,
Я Крезом стал... Да что-то скучно мне!

Дом развалился, темен, гнил и жалок,
Варок раскрыт, в саду — мужицкий скот,
Двор в лопухах... И сколько бойких галок
Сидит у труб!.. Но вот и «старый» ход.

По-прежнему дверь в залу туалетом
Заставлена в угольной. На столах
Алеет пыль. Вечерним низким светом
Из окоп солнце блещет в зеркалах.

А в образнице — суздальские лики
Угодников. Уж сняли за долги
Оклады с них. Они угрюмы, дики
И смотрят друг на друга, как враги.

Бог с ними! С паутиною, пеньюкою
Я вырываю раму. Из щелей
Бегут двухвостки. Садам и рекою
В окно пахнуло... Так-то веселей!

Сад вечерест. Слаще и свежее
Запахло в нем. Прозрачный месец встал.
В угольной ночью жутко... Да Кошеч
Мне нипочем: я тетушку видал!

<1906—1907>

НЯНЯ

В старой темной девичьей,
На пустом ларе,
Села, согревается...
Лунно на дворе,
Иней синим бисером
На окне блестит,
Над столом висячая
Лампочка коптит...
Что-то вспоминается?
Отчего в глазах
Столько скорби, кротости?..
Лапти на ногах,
Голова закутана
Шалью набивной,
Полушубок старенький...
«Здравствуй, друг родной!
Что ж ты не сказала?»
Поднялась, трясет
Головою дряхлую
И к руке идет,
Кланяется низенько...
«В дом иди». — «Иду-с».
«Как живется-может?»
«Что-то не пойму-с».
«Как живешь, я спрашивал,
Все одна?» — «Одна-с».

«А невестка?» — «В городе-с.
Позабыла нас!»
«Как же ты с впучатами?»
«Так вот и живу-с».
«Нас-то вспоминала ли?»
«Всех как паяву-с».
«Да не то: не стыдно ли
Было не прийти?»
«Боязно-с: а ну-кася
Да помрешь в пути».
И трясет с улыбкою,
Грустной и больной,
Головой закутанной,
И следит за мной,
Ловит губ движения...
«Ну, идем, идем,
Там и побеседуем
И чайку попьем».

<1906—1907>

НА ПЛЮЩИХЕ

Пол навощен, блестит паркетом.
Столовая озарена
Полуденным горячим светом.
Спит кот на солнце у окна:

Мурлыкает и томно щурит
Явтарь зрачков, как леопард,
А бабушка — в качалке, курит
И думает: «Итак, уж март!

А там и праздники, и лето,
И снова осень...» Вдруг в окно
Влетело что-то, — вдоль буфета
Мелькнуло светлое пятно,

Зажглось, блеснув, в паркетном воске —
И вновь исчезло... Что за шут?
А! это улицей подростки,
Как солнце, зеркало несут.

И снова думы: «Оглянуться
Не успеваешь — года нет...»
А в окна, сквозь гардины, льются
Столбы лучей, горячий свет,

И дым, лепивою куделью
Сливался с светлой полосой,
Синеет, тает... как за елью
В далекой просеке, весной.

<1906—1907>

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ

Па севере есть розовые мхи,
Есть серебристо-шелковые дюны...
Но темных сосен звонкие верхи
Поют, поют над морем, точно струны.

Послушай их. Стань, прислонись к сосне:
Сквозь грозный шум ты слышишь ли их нежность?
Но и она — в певучем полусне...
На севере отрадна безнадежность.

<1906—1907>

ТЯСИНА

Болото тихой северной страны
В осенних сумерках таинственней погоста.
Цветут цветы. Мы не пойдем их роста
Из заповедных пещр, их сонной глубины.

Порой, грустя, мы вспоминаем что-то...
Но что? Мы и земле и богу далеки...
В гробах трясин родятся огоньки...
Во тьме родится свет... Мы — огоньки болота.

<1906—1907>

ОДИН

Он на запад глядит — солнце к морю спускается.
Светит по морю красным огнем.
Он застыл на скале — ветхий плащ развевается
От холодного ветра на нем.

Опираясь на меч, он глядит на багровую
Чешую беспредельных зыбей.
Но не видит он волн — только думу суровую
Означают изгибы бровей.

Дрепен мир. Он дрепней. Плащ Одина как вретисще,
Ржа веков — на железном мече...
Черный ворон Хугин, скорбной Памяти детище,
У него на плече.

<1906—1907>

САТУРН

Расселившие огненные зерна
Пронзарастают в мире без конца.
При виде звезд душа на миг покорна:
Непостижим и вечен труд творца.

Но к полночи восходит на востоке
Мертвец Сатурн — и блещет, как свинец...
Воистину злопещи и жестоки
Твои дела, творец!

<1906—1907>

С К О Р А Б Л Я

Для жизни жизнь! Воп пенные буруны
У сизых каменистых берегов.
Воп красный киль давно разбитой шхуны...
Но кто жалеет мертвых рыбаков?

В сырм песке на солнце сохнут кости...
Но радость неба, свет и бирюза,
Еще свежей при утрепнем порд-осте —
И блеск костей лишь радует глаза.

<1906—1907>

О Б В А Л

В степи, с обрыва, на сто миль
Морская ширь открыта взорам.
Внизу, в стреминне, глина, пыль,
Щепа и кости с мелким сором.

Гудели ночью тополя,
В дремоте море бушевало —
Вдруг тяжело охнула земля,
Весь берег дрогнул от обвала!

Сегодня там стоят, глядят
И алой, белой павиликой
На солище зонтики блестят
Над бездной пенистой и дикой.

Никто не знал, что здесь — погост,
Да и теперь — кому он нужен!
Весенний ветер свеж и прост,
Он только с молодостью дружен!

Внизу — щепы, гробы в пыли...
Да море берег косит, косит
Серпами волн — и от земли
Далеко сор ее уносит!

<1906—1907>

* * *

Вдоль этих плоских знойных берегов
Лежат пески, торчат кусты дзарига.
И моря пышноцветное индиго
Раввиною глядит из-за песков.

Нет даже чашек. Слабо проползает
Шуршащий краб. Желтеют кости рыб.
И берегов краснеющий изгиб
В лиловых полутонах исчезает.

<1906—1907>

БАЛАГУЛА

Балагула убегает и трясет меня.
Рыжий Айзик правит парой и сосет тютю.
Алый мак во ржи мелькает — лепестки огня.
Золотятся, льются нити телеграфных струн.

«Айзик, Айзик, вы заснули!» — «Ха! А разве пав
Едет в город с интересом? Пав — поэт, артист!»
Правда, правда. Что мне этот грязный Аккерман?
Степь привольна, день прохладен, воздух сух и чист.

Был я сыном, братом, другом, мужем и отцом,
Был в довольстве... Все насмарку! Все не то, не то!
Заплачу за путь венчальным золотым кольцом,
А потом... Потом в таверну: вывезет лото!

<1906—1907>

ИЗ АНАТОЛИЙСКИХ ПЕСНЕЙ

ДЕВИЧЬЯ

Слежий ветер дует в сумерках
На скалистый островок.
Закачалась чайка серая
Под скалой, как поплавок.

Под крыло головку спрятала
И забылась в полусне.
Я бы тоже позабылась
На качающей волне!

Поздно ночью в саклю темную
Грусть и скуку принесешь.
Поздно ночью с милым встретишься,
Да и то когда заснешь!

<1906—1907>

РЫБАЦКАЯ

Летом в море легкая вода,
Белые сухие паруса,
Иглами стальными в невода
Сыплется под баркою хамса.

Осенью не весел Трапезонд!
В море вьюга, холод и туман,
Ходит головами горизонт,
В пелу зарывается бакан.

Тяжела студеная вода,
Буря в ночь осеннюю дерзка,
Да на волю гонит из гнезда
Лютая голодная тоска!

<1906—1907>

ЗАКОН

Во имя бога, вечно всеблагого!
Он, давший для писания тростник,
Сказал: блюди написанное слово
И делай то, что обещал язык.

Приняв закон, прими его вериги.
Иль оттолкни — иль всей душою чти:
Не будь ослом, который посит книги
Лишь потому, что их велят вести.

<1906—1907>

МАНДРАГОРА

Цветок Мандрагора из могил расцветает,
Над гробами зарытых возле виселиц черных.
Мертвый соками тлелья Мандрагору питает —
И она расцветает в травах диких и сорных.

Брат Канц, взрастивший Мандрагору из яда!
Бог убийцу, быть может, милосердно осудит.
Но палач — не убийца: он — исчадие ада,
И цветок, полный яда, бог тебе не забудет!

<1906—1907>

РОЗЫ ШИРАЗА

Пой, соловей! Они томятся:
В шатрах узорчатых мимоз,
На их ресницах серебрятся
Алмазы томных крупных слез.

Сад в эту ночь — как сад Ирема.
И сладострастна, и бледна,

Как в шакнизир, тайник гарема,
В узор ветвей глядит луна.

Белеет мел стены неясно.
Но там, где свет, его атлас
Горит так зелено и страстно,
Как изумруд змеиных глаз.

Пой, соловей! Томят желанья.
Цветы молчат — нет слов у них:
Их сладкий зов — благоуханья,
Алмазы слез — покорность их.

<1906—1907>

С ОБЕЗЬЯНОЙ

Ай, тяжела турецкая шарманка!
Бредет худой согнувшийся хорват
По дачам утром. В юбке обезьянка
Бежит за ним, смешно поднявши зад.

И детское и старческое что-то
В ее глазах печальных. Как цыган,
Сожжен хорват. Пыль, солнце, зной, работа...
Далеко от Одессы на Фонтан!

Ограды дач еще в живом узоре —
В тени акаций. Солнце из-за дач
Глядит в листву. В аллеях блещет море...
День будет долог, светел и горяч.

И будет сонно, сонно. Черепиды
Стеклом светиться будут. Промелькнет
Велосипед бесшумным махом птицы,
Да прогремит в немецкой фуре лед.

Ай, хорошо напиться! Есть копейка,
А вон киоск: большой стакан воды
Даст с томною улыбкою еврейка...
Но путь дилек... Сады, сады, сады...

Зверок устал,— взор старичка-ребенка
Томит тоской. Хорват от жажды пьян.
Но пьет зверок: лиловая ладонка
Хпатаст жадно пенистый стакан.

Поднявши брови, таяет обезьяна,
А он жует засохший белый хлеб
И медленно отходит в тень платана...
Ты далеко, Загреб!

<1906—1907>

МЕКАМ

Мекам — посторг, священное раденье,
Стремление желанное постичь.
Мекам — тоска, блаженное томленье
И творчества беззвучный жадный клич.

К мечте безумец руки простирает
И алчет бога видеть наяву.
Завет гласит: «Узревший — умирает».
Но смерть есть приближенье к божеству.

Благословенна сладостная мука
Трудов моих! Я творчеству отдам
Всю жизнь мою: на расстоянье лука
Ведет меня к жолапному мекам.

<1906—1907>

БЕССМЕРТНЫЙ

Ангел смерти в Судный день умрет:
Истребит живущих — и со стоном
Прилетит к аллаху — и прострет,
Бездыханный, крылья перед троном.

Ангел мести, грозный судия!
На твоём стальном клинке иссечен
Грозный клич «Бессмертен только Я.
Трепещите! Ангел мести вечен».

<1906—1907>

КАИР

Английские солдаты с цитадели
Глядят за Нил, на запад. От Али
До пирамид, среди долин, в пыли,
Лежит Каир. Он сух и сер в апреле.

Бил барабан и плакал муэzzин.
В шафранно-сизой мути, за пустыней,
Померк закат. И душен мутно-синий
Вечерний воздух. Близится хамсин.

Веселыми несметными огнями
Горит Каир. А сфинкс от пирамид
Глядит в почную бездну — на Апит
И темь веков. Бог Ра в могиле. В яме.

<1906—1907>

ИСТАРА

Луна, бог Сип, ее зарей встречает.
Она свой путь свершает на быке,
Ее тнара звездная венчает,
Стрела и лук лежат в ее руке.

Царица битв, она решает битвы,
Судья царей, она неправым мстит —
И уж ни дым, ни фимиами молитвы
Ее очей тогда не обольстит.

Но вот веспа. Среди речного пара
Свой бледный лик подъемлет Сип, луна —
И как нежна ставовится Истара!

Откинув лук, до чресл обнажена,
Таинственна и сладостна, как чара,
С какой мольбой ждет страстных ласк она!

<1906—1907>

АЛЕКСАНДР В ЕГИПТЕ

К оракулу и капищу Сиваха
Шел Александр. Дыханием костра
Дул ветер из пустыни. Тучи праха
Темнили свет и рвали ткань шатра.

Из-под шатра с верблюда, в тучах пыли,
Он различал своих проводников:
Два поропа на синих крыльях плыли,
Борясь с косыми вихрями песков.

И вдруг упали вихри. И верблюды
Остановились: медленно идет
Песками змей, весь черпый. Изумруды
Горят на нем. Глаза — как мутный лед.

Идет — и вот их двое: он, Великий,
И змей, дрожащий в солнечном огне,
Рогатый, мутноглазый, черноликий,
Весь в самоцветах пышных, как в броне.

«Склони чело и дай дорогу змею!» —
Вещает змей. И замер царь... О да!
Кто назовет вселенную своею?
Кто властелином будет? И когда?

Он, символ и зловещий страж Востока,
Он тоже царь: кто ж примет власть богов?
Не вы, враги. Грядущий бог далеко,
Но он придет, друг темных рыбаков!

<1906—1907>

Б О Г

Дул с моря бриз, и месяц чистым рогом
Стоял за длинной улицей села.
От хаты тень лежала за порогом,
А хата бледно-белою была.

Дул южный бриз, и ночь была тепла.
На отмелях, на берегу отлогом,
Волна, шумя, вела беседу с богом,
Не поднимая сонного чела.

И месяц наклонился к балке темной,
Грустя, светил на скалы, на погост.
А бог был ясен, радостен и прост:

Он в ветре был, в моей душе бездомной —
И содрогался синим блеском звезд
В лазури неба, чистой и огромной.

7.VI.08

С А В А О Ф

Я помню сумрак каменных аркад,
В середине свет — и красный блеск атласа
В сквозном узоре старых царских врат,
На золотой стене икопостаса.

Я помню купол грубо-голубой:
Там Саваоф, с простертыми руками,
Над скудною и темною толпой,
Царил меж звезд, повитых облаками.

Был вечер, март, сияла синева
Из узких окон, в куполе пробитых,
Мертво звучали древние слова.

Весенний отблеск был на скользких плитах —
И грозная седая голова
Текла меж звезд, туманами повитых.

28.VII.08

ГАЛЬЦИОНА

Когда в волне мелькнул он мертвым ликом,
К нему на сердце кинулась она —
И высоко, с двойным звенящим криком,
Двух белых члэк вынесла волна.

Когда зимой, на этом взморье диком,
Крутая зыбь мутна и солона,
Они скользят в ее пучину с криком —
И высоко выносит их волна.

Но есть семь дней: смолкает Гальциона,
И для нее щадит пловцов Эол.
Как серебро, светло морское лоно,

Черпеет степь, на солнце дремлет вол...
Семь мирных дней проводит Гальциона
В камнях, в гнезде. И внуков ждет Эол.

28.VII.08

В АРХИПЕЛАГЕ

Осенний день в лиловой крупной зыби
Блистал, как медь. Зол и Посейдон
Вели в снастях певучий долгий стоп,
И наш корабль нырял подобно рыбе.

Вдали был мыс. Высоко на изгибе,
Сквозя, вставал неровный ряд колонн.
Но песня рей меня клонила в сон —
Корабль нырял в лиловой крупной зыби.

Не все ль равно, что это старый храм,
Что на мысу — забытый портик Феба!
Запомнил я лишь ряд колонн да небо.

Дым облаков курился по горам,
Пустынный мыс был схож с ковригой хлеба.
Я жил во сне. Богов творил я сам.

12.VIII.08

БОГ ПОЛДНЯ

Я черных коз пасла с мевьшой сестрой
Меж красных скал, колючих трав и глины.
Залив был сипь. И камни, грея спины,
На жарком солнце спали под горой.

Я прилегла в сухую тень маслины
С корявой серебристою корой —
И он сошел, как мух звепающий рой,
Как свет сквозной горячей паутины.

Он озарил мне ноги. Обпажил
Их до колен. На серебре рубашки
Горел огнем. И навзничь положил.

Его объять сладостны и тлжки.
Он мне сосцы загаром окружил
И паучил варить пастой ромашки.

12.VIII.08

ГОРНЫЙ ЛЕС

Вечерний час. В долину тень сползла.
Сосною пахнет. Чисто и глубоко
Над лесом небо. Млечный змей потока
Шуршит слышней вдоль белого русла.

Слышней звепит далекий плач козла.
Острей стрекочет легкая сорока.
Гора, весь день глядевшая с постока,
Свой алый пик высоко унесла.

На ней молились Волчьему Зевесу.
Не раз, не раз с вершины этих скал
И дым вставал, и пели гимпы лесу,
И медный пож в руках жреца сверкал.

Я тихо подпал древнюю завесу.
Я в храм отцов забытый путь искал.

14.VIII.08

ИЕРИХОН

Скользят, текут огни зеленых мух.
Над Мертвым морем эпойно и туманно
От блеска звезд. Песок вдали — как манна.
И смутный гул, дрожа, колдует слух.

То ропот жаб. Он длится неуставно,
Зовет, томит... Но час полночный глух.
Внимает им, быть может, только Дух
Среди камней в пустыне Иоанна.

Там, между звезд, чернеет острый пик
Горы Поста. Чуть теплится лампадка.
Внизу истома. Приторно и сладко

Мимозы пахнут. Сахарный тростник
Горит от мух... И дремлет Лихорадка,
Под жабий бред откинув бледный лик.

14.VIII.08

КАРАВАН

Звон на верблюдах, ровный, полусонный,
Звон бубенцов подобен роднику:
Течет, течет струею отдаленной,
Баюкая дорожную тоску.

Давно затих базар неугомонный.
Луна меж пальм силет по песку.
Под этот звон, глухой и одиотонный,
Вожак прилег на жесткую луку.

Вот потянуло ветром, и свежее
Вздохнула ночь... Как сладко спать в седле,
Склонясь лицом к верблюжьей теплой шее!

Луна зашла. Поет петух в Рамле.
И млечной синью горы Иудей
Свой зыбкий кряж означили во мгле.

15.VIII.08

ДОЛИНА ИОСАФАТА

Отрада смерти страждущим дана.
Вы побелели, странники, от пыли,
Среди врагов, в чужих краях вы были.
Но вот вам отдых, мир и тишина.

Гора полдневным солнцем сожжена,
Русло Кедропы ветры иссушили.
Но в прах отцов вы посохи сложили,
Вас обрела родимая страна.

В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердый судия.

По жестким склонам каменные плиты
Стоят раскрытой Книгой Бытия.

20.VIII.08

БЕДУИН

За Мертвым морем — пепельные грани
Чуть видных гор. Полдневный час, обед.
Он выкупал кобылу в Иордане
И сел курить. Песок как медь нагрет.

За Мертвым морем, в солнечном тумане,
Течет мираж. В долине — зной и свет,
Воркует дикий голубь. На горах,
На олеандрах — вешний алый цвет.

И он дремотно поет, воспевая
Эпой, олеандр, герань и тамарикс.
Сидит как ястреб. Пегая абая

Сползает с плеч... Поэт, разбойник, гикс.
Воп закурил — и рад, что с тонким дымом
Сравнит в стихах вершины за Сиддимом.

20.VIII.08

ЛЮЦИФЕР

В святой Софии голуби летали,
Гнусил мулла. Эректеон был нем.
И боги гомерических поэм
В пустых музеех стыли и скучали.

Великий Сфинкс, исполненный печали,
Лежал в песках. Израиль, чуждый всем,
Сбирал, рыдая, ржавые скрижали.
Христос покинул жадный Вифлеем.

Вот Рай, Ливан. Рассвет горит багряно.
Снег гор — как шелк. По скатам из пещер
Текут стада. В лугах — моря тумана...

Мир Авеля! Для чистых детских вер!
Из-за нагих хребтов Антиливана
Блестит, угасая, Люцифер.

20.VIII.08

ИМРУ-УЛЬ-КАЙС

Ушли с рассветом. Опустели
Песчаные бугры.
Полз сирий дым. И угля кровью рдели
Там, где вчера черпели их шатры.

Я слез с седла — и пряный запах дыма
Меня обвеял теплотой.
При блеске солища был невыразимо
Красив огонь прозрачно-золотой.

Доляпа серая, нагая,
Как пах осла. В колодце гниль и грязь.
Из-за бугров моря текут, сверкая
И мутно серебрясь.
Но тут семь дней жила моя подруга:
Я сел на холм, где был ее намет,
Тут ветер дует с севера и юга —
Он милый след не заметет.

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как перблюд, легла и отдалила
От головы крестец.
Песок остыл. Холодный, безответный,
Скользит в руке, как змей.
Горит, играет перстень самоцветный —
Звезда любви моей.

21.VIII.08

* * *

Открыты окна. В белой мастерской
Следы отъезда: сор, клочки конверта.
В углу стоит прямой скелет мольберта.
Из окон тлиет свежестью морской.

Дни все светлей, все тише, золотистей —
И ни полям, ни морю нет конца.
С корявой, старой груши у крыльца
Спадают розовые листья.

28.VIII.08

ХУДОЖНИК

Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью... За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.

Томясь от зноя, грифельный журавль
Стоит в кусте. Опушена косица,
Нога — как трость... Он говорит: «Что, птица?
Недурно бы на Волгу, в Ярославль!»

Он, улыбаясь, думает о том,
Как будут выносить его — как сизы
На жарком солнце траурные ризы,
Как желт огонь, как бел на синем дом.

«С крыльца с кадилом сходит толстый поп,
Выводит хор... Журавль, пугаясь хора,
Защелкает, взвосьется от забора —
И ну плясать и стучать клювом в гроб!»

В груди першит. С шоссé несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль... Все прочее есть гиль».

1908

ОТЧАЯНИЕ

...И нового порфирой облекли
И назвали владыкою Ирана.
Нож отняли у прежнего тирана,
Но с робостью, с поклоном до земли.

В Испании — рев варварского стана,
Там с грязью мозг копытами толкли...

Кровоточит зияющая рапа
В боку Христа.— Ей, господи, внимли!

Я плакал в злобе; плакал от позора,
От скорби — и надежды: я годя
Молчал в тоске бессилья и стыда.
Но я так жадно верил: скоро, скоро!

Теперь лишь стопы слышны. В эти дни
Звучит лишь стон... Лама савахфани?

1908

* * *

В полях сухие стебли кукурузы,
Следы колес и блеклая ботва.
В холодном море — бледные медузы
И красная подводная трава.

Поля и осень. Море и нагнет
Обрывы скал. Вот почь, и мы идем
На темный берег. В море — летаргия
Во всем великом таинстве своем.

«Ты видишь воду?» — «Вижу только ртутный
Туманный блеск...» Ни неба, ни земли.
Лишь звездный блеск висит под нами — в мутной
Бездонно-фосфорической пыли.

<1908>

ТРОН СОЛОМОНА

На письмена исчезнувших народов
Похожи руны Времени — значки
Вдоль старых стен и полутемных сводов,
Где завелись точильщики-жучки.

Царь Соломон повелевал ветрами,
Был маг, мудрец. «Недаром селя я,—
Сказал господь.— Какими же дарами
Венчать тебя, царь. маг и судия?»

«Сев славных дел венчает солнце славы,—
Ответил царь.— Вот гении пустынь
Покорны мне. Но гении лукавы,
Они не чтут ни долга, ни святынь.

Трон Мудрости я им велел построить,
Но я умру — и, бросив труд, в Геджас
Уйдут они. Ты мог мне жизнь устроить:
Сокрой от них мой кончины час».

«Да будет так»,— сказал господь. И годы
Текли в труде. И был окопчен трон:
Из яшмы древней царственной породы,
Из белой яшмы был изваян он.

Под треном львы, над треном кондор горный,
На троне — царь. И ты сокрыл, творец,
Что па копье склоняется в упорной,
Глубокой думе — высохший мертвец.

Но рухнет он! Древко копья из кедра,
Оно — как сталь. Но уж стучат жучки!
Стучат, стучат — и рассыпают щедро
Зловещие, могильные значки.

<1906—1908>

РЫБАЛКА

Вода за холодные серые дни в октябре
На отмелях спала — прозрачная стала и чистая.
В песке обгаженном оттиснулась лапка лучистая:
Рыбалка сидела на утренней ранней заре.

В болоте лесном, под высоким коричневым
шпаклевком,
Где цепкая тина с листвою купав сплетена,
Все лето жила, тосковала о дружке ова,
О дружке, убитой заезжим охотником-бражником.

Зарею ова улетела на дальний Дунай —
И горе забудет. Но жизнь дорожит и рыбакою:
Ей надо помучить кого-нибудь песенкой жалкою —
И Груня жалкует, поет... Вспоминай, вспоминай!

<1906—1908>

БАБА-ЯГА

Гулкий шум в лесу нагоняет сон —
К ночи на море пал сырой туман.
Окружен со всех с четырех сторон
Темной осенью островок Буян.

А еще темней — мой холодный сруб,
Где ни вздуть огня, ни топить не смей,
А в окно глядит только бурый дуб,
Под которым смерть закопал Кощей.

Я состарилась, изболелась вся —
Десять сот годов берегу ларец!
Будь огонь в светце — я б погрелась,
Будь дрова в печи — похлебала б щец.

Да огонь — в морях мореходу весть,
Да на много верст слышен дым от лык...
Черт тебе велел к черту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

<1906—1908>

ДИКАРЬ

Над стремью скал — чернеющий орел.
За стремью — синь, туманное поморье.
Он как во сне к своей добыче шел
На этом поднебесном плоскогорье.

С отвесных скал летели вниз кусты,
Но дерзость их безумца не страшила:
Ему хотелось большей высоты —
И бездна смерти бездну довершила.

Ты знаешь, как глубоко в синеву
Уходит гриф, ужаленный стрелою?
И он напряг тугую тетиву —
И зашумели крылья над скалою,

И потонул в бездонном небе гриф,
И кровь, звездой упавшую оттуда
На берега, на известковый риф,
Смыл океан волною изумруда.

<1906—1908>

НАПУТСТВИЕ

«За погостом Скутари, за черным
Кипарисовым лесом...» — «О мать!
Страшно воздухом этим тлетворным
Молодому дышать!»

«Там шалаш, в шалаше — прокаженный...»
«Пощади, свежесть сердца!..» — «Склонись
До земли и рукой обнаженной
Гнойной язвы коснись».

«Мать! Зачем? Разве душу и тело
Я не отдал тебе?» — «Замолчи.
Ты идешь на великое дело:
Ждут тебя палачи.

Тверже стали, орлиного когтя
Безнадежное сердце. Склонись —
И рукой, обнаженной до локтя,
Смертной лзвы коснись».

<1906—1908>

ПОСЛЕДНИЕ СЛЕЗЫ

Изнемогла, в качалке задремала
Под дачный смех. Синели небеса.
Зажглась звезда. Потом свежее стало.
Взошла луна — и смолкли голоса.

Текла и млела в море полоса.
Стекло балконной двери заблестало.
И вот она проснулась и устало
Поправила сухие волосы.

Подумала. Полюбовалась далью.
Взяла ручное зеркальце с окна —
И зеркальце сверкнуло синей сталью.

Ну да, виски белеют: седина.
Бровь поднята, измучена печалью.
Светло глядит холодная луна.

<1906—1908>

РЫБАЧКА

— Кто там стучит? Не встану. Не открою
Намокшей двери в хижине моей.
Тревожна ночь осеннею порою —
Рассвет еще тревожней и шумней.

«Тебя пугает гул среди камней
И скрежет мелкой гальки под горою?»
— Нет, я больна. И свежестью сырою
По одеялу дует из сеней.

«Я буду ждать, когда угомонится
От бури охмелевшая волна
И станет блеклым золотом струиться
Осенний день на лавку из окна».

— Уйди! Я почевала не одна.
Он был смелей. Он моря не боялся.
<1906—1908>

ВИНО

— На Яйле зазеленели буки,
Покраснела стройная сосна:
Отчего на севере, в разлуке
Чувствует душа, что там весна?

«В дни, когда на лозах виноградных
Распуститься цвету суждено,
В погребах и темных и прохладных
Бродит золотистое вино».
<1906—1908>

ВДОВЕЦ

Железный крюк скрипит над колыбелью,
Луна глядит в окно на колыбель:
Луна склопает лик и по ущелью,
Сквозь сумрак, тянет млечную кудель.

В горах светло. На дальнем горном краже,
Весь на виду, чернеет скит армян.
Но встанет мгла из этой бледной пряжи —
Не разглядит засады караван.

Пора, пора, — уж стекла запотели!
Разбойник я... Да вот, на смену мне,
Сам ангел сва подходит к колыбели,
Чуть серебрысь при меркнувшей луне.

<1906—1908>

ХРИСТЯ

Христя угощает кукол на сговоре —
За степною хатой, па сухих бахчах.
Степь в горячем блеске млеет, точно море,
Тыквы светят медью в солнечных лучах.

Собрались соседки к «старой бабе» Христе,
Пропивают дочку — чай и водку пьют.
Дочка — в разноцветной плахте и в мониате,
Все ее жалеют — и поют, поют!

Под степною хатой, в жарком аромате
Спелого укропа, возятся в золе
Желтые цыплята. Мать уснула в хате,
Вабка — в темной клуне, тыквы — на земле.

<1906—1908>

КРУЖЕВО

Весь день метель. За дверью у соседа
Стучат часы и каплет с окон лед.
У барышни-соседки с мясоеда
Поет щегол. А барышня плетет.

Сидит, выводит крестики и мушки,
Бела, как снег, скромна, как лев в степи.
Темно в уездной крохотной избушке,
Наскучили гремучие коклюшки,
Веспа идет... Да как же быть? Терпи.

Синеет дым метели, пьются галки
Под старой колокольной... День прошел,
А толку что? — Текут с окна мочалки,
И о песне поет дурак щегол.

<1906—1908>

ТУМАН

Сумрачно, скучно светает заря.
Пахнет листвою и мокрыми гумнами.
Воют и тянут за рогом пса
Горячие сворами шумными.

Тянут, стихают — и тонут следы
В темном тумане. Людская чуть курится.
Сонно в осиннике вхохлут дрозды.
Чаща и дремлет и хмурится.

И до печальных вечерних огней
В море туманных лесов, за долинами,
Будет стонать все скучней и скучней
Рог голосами звериными.

Сиракузы. 25.III.09

ПОСЛЕ МЕССИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

На темном рейде струнный лад,
Огни и песни в Катаксе...
В дни скорби любим мы нежнее,
Канцоны сладостей звучат.

И величаво-одинок
На звездном небе конус Этно.
Где тает бледный, чуть заметный,
Чуть розовеющий веков.

15.IV.09

* * *

В мелколесье пело глухо, строго,
Вместе с ночью туча надвигалась,
По кустам, на тучу, шла дорога,

На ветру листва, дрожа, мешалась...
Леший зорко в темь глядел с порога.

Он сидел и слушал, как кукушки
Хриплым смехом где-то хохотали,
Как визжали совы и с опушки,
После блеска, гулы долетали...
Дод-лесник мертвецки спал в избушке.

Одностволка на столе лежала
Вместе с жесткой, черной коркой хлеба,
Как бельмо, окошко отражало
Скудный свет пахмуренного неба...
Над окошком шарило, шуршало.

И пока шуршало, деду спилось,
Что в печурке, где лежат онучи,
Загорелось: тлеет, задымилось...
И сухим огнем сверкали тучи,
И в стекло угрюмо муха билась.

25.V.09

СЕНОКОС

Среди двора, в батистовой рубашке,
Стоял барчук и, шурясь, звал: «Корней!»
Но двор был пуст. Две пегие дворняжки,
Щенки, катались в сене. Все синей
Над крышами и садом небо млело,
Как сказочная сонная река,
Все горячее палило зноем тело,
Все радостней белели облака,
И все душей благоухало сено...

«Корней, седлай!» Но нет, Корней в лесу,
Осталась только скотница Елена
Да пчельник Дров... Щепок замаял осу

И сено взрыл... Молочный голубь комом
Упал на крышу скотного варка...
Везде открыты окна... А над домом
Так серебрится тополь, так ярка
Листва вверху — как будто из металла,
И воробьи шныряют то из зала,
В тенистый палисадник, в бересклет,
То снова в зал... Покой, лазурь и свет...

В конюшне полусумрак и прохладно,
Навозом пахнет, сбруей, лошадыми,
Касаточки щебечут... И Ами,
Соскучившись, тихонько ржет и жадно
Косит свой глаз лилово-золотой
В решетчатую дверку... Стремепами
Звенит барчук, подпая седло с уздой,
Кладет, подпруги ловит — и ушами
Прядет Ами, вдруг сделавшись стройней
И выходя на солнце. Там к кадушке
Склоняется, — блеск, небо видит в ней
И долго пьет... И солнце жжет подушки,
Луку, потник, играя в серебре...

А через час заходят побирušки:
Слепой и мальчик. Оба на дворе
Сидят как дома. Мальчик босоногий
Заглядывает в окна, на пороге
Стоит и медлит... Робко входит в зал,
С восторгом смотрит в светлый мир зеркал,
Касается до клавиш фортепьяно —
И, вздрогнув, замирает: зловко, страшно
И весело в хоромаш! — На балкон
Открыта дверь, и солнце жарким светом
Зажгло паркет, и глубоко паркетом
Зеркальный отблеск двери отражен,
И воробьи крикливою станицей
Пропосытся у самого стекла
За золотой, сверкающею птицей,
За иволгой, скользящей, как стрела.

8.VII.09

СОБАКА

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На выюжный двор, на снег, прилипший к раме,
На метлы гулких, дымных тополей.

Вдыхая, ты свернула потеплей
У ног моих — и думаешь... Мы сами
Тоним себя — тоской иных полей,
Иных пустынь... за пермскими горами.

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне:
Седое небо, тупдры, льды и чумы
В твоей студепой дикой стороне.

Но я всегда делю с тобою думы:
Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времён.

4.VIII.09

МОГИЛА В СКАЛЕ

То было в полдень, в Нубии, на Ниле.
Пробили вход, затеплили огни —
И на полу преддверия, в тепи,
На голубом и тонком слое пыли,
Нашли живой и четкий след ступни.

Я, путник, видел это. Я в могиле
Дышал теплом сухих камней. Они
Сокрытое пять тысяч лет хранили.

Был некий день, был некий краткий час,
Прощальный миг, когда в последний раз

Вздохнул здесь тот, кто узкою столою
В атласный прах вдавил свой узкий след.

Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет
Умножил жизнь, мне данную судьбою.

6.VIII.09

ПОЛНОЧЬ

Ноябрь, сырая полночь. Городок,
Весь меловой, весь бледный под луною,
Подавлен безответной тишиною.
Приливный шум торжественно-широк.

На мачте коменданта флаг намок.
Вверху, над самой мачтой, над сквозною
И мутной мглой, бегущей на восток,
Скользит луна зеркальной белизною.

Иду к обрывам. Шум грознее. Свет
Таинственней, тусклее и печальней.
Волна качает свай под купальней.

Вдали — седая бездна. Моря нет.
И валуны, в шипящей серой пене,
Блестят внизу, как спящие тюлени.

6.VIII.09

РАССВЕТ

Как стая птиц, в пустыне одиноко
Белеет форт. За ним — пески, страна
Нагих бугров. На золоте востока
Четка и фиолетова она.

Рейд солнца ждет. Из черных труб «Марокко»
Восходит дым. Зеленая волна
Стальнойю сажей, блестками полна,
Качает мерно, плавно и широко.

Вот первый луч. Все окна на борту
Зажглись огнем. Вот пар взлетел — и трубы
Призывно заревели в высоту.

Подняв весло, гребец оскалил зубы:
Как нежно плачет колокол в порту
Под этот рев торжественный и грубый!

13.VIII.09

ПОЛДЕНЬ

Горит хрусталь, горит рубин в вине,
Звездой дрожит на скатерти в салоне.
Последний остров тонет в небосклоне,
Где зной и блеск слились в горячем сне.

На баке бриз. Там, на носу, на фоне
Сухих небес, на жуткой крутизне,
Сидит ливнец в белом балахоне,
Глядит на снег, кипящий в глубине.

И влажный шум над этой влажной бездной
Клонит в дрему. И острый ржавый пос,
Не торопясь, своей броней железной
В снегу взрезает синий купорос.

Сквозь купорос, сквозь радугу от пыли,
Струясь, краснеет киноварь на киле.

14.VIII.09

ВЕЧЕР

О счастье мы всегда лишь вспоминаем,
А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем
Встает, слет облако. Давно
Сложу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула п села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

14.VIII.09

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Как в гору, шли мы в зыбь, в слепящий блеск заката.
Холмилась и росла липовая волна.
С холма на холм лилось оранжевое золото,
И глубь небес была прозрачно-зелена.

Дым из жерла трубы летел назад. В упругом
Кимвальном пенье рей дрожал холодный гуд.
И солнца лик мертвел. Громада моря кругом
Объяла горизонт. Везувий потонул.

И до бортов вставал и, упавая, мерно
Шумел разверстый вал. И гребень, закипев,
Сквозил и розовел, как певное Фалерно,—
И малахит скользил в кроваво-черный зев.

<9.VI.09>

ПРОМЕТЕЙ В ПЕЩЕРЕ

Вокруг пещеры гул. Над нами мрак. Во мраке,
Краснея, светятся глаза моей собаки.
Огонь, и в них огонь! Из-под глухой стень,
Где сбилось стадо коз, они устремлены
За вход, в слепую ночь, на клики чад Нерей,
Туда, где с пены воли, что прядают, белея,
Срывает брызги вихрь, где блещут космы грив,
Дымящихся внутри, и буйный их прилив
Снегами топит брег. — Вот грохот колесницы
Идет торжественно над темной высотой:
Я гложу, я слежу крутящиеся спицы,
Что мечут на бегу свой отблеск золотой,
И слепну от огня. — Привет тебе, Державный!
Теперь тебя твой враг приветствует как равный!

<10.VI.09>

МОРСКОЙ ВЕТЕР

Морского ветра свежее дыханье
Из темноты доходит, как привет.
На дачах глушь. И поздней лампы свет
Осенней ночи слушает молчанье.

Сон с колотушкой бродит — и о нем
Скучает кто-то, дальний, бесприютный.
Нет ни звезды. Один Юпитер мутный
Горит в выси мистическим огнем.

Волна и ветер с темных побережий
Доносят запах ржавчины — песков,
Сырых ракушек, сгнивших тростников.

Привет полночный, ласковый и свежий,
Мне чьей-то вольной кажется душой:
Родной мечтам и для земли — чужой.

<8.VIII.09>

СТОРОЖ

И снова вечер, сухо позлативший
Дороги, степь и удлинивший тень;
И бледный лик, напротив солнца всплывший;
И четко в ясном воздухе застывший
Среди бахчей курень.

Стар сторож, стар! И слаб и видит плохо,
А как бы жил!.. Так тихо в курене,
Что слышен треск подсохшего гороха...
Да что кому до старческого вздоха
О догоревшем дне!

<16.VIII.09>

БЕРЕГ

За окном весна сияет новая.
А в избе — последняя твоя
Восковая свечка — и тесовая
Длинная ладья.

Притесали, парядили, справили,
Полотном закрыли бледный лик —
И ушли, до времени оставили
Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,
Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
Роковые дни.

Да пребудет в мире, да поконится!
Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
Белая ладья.

<16.VIII.09>

СПОР

— Счастливы мы, фессалийцы! Черное, с розовой
песной,
Пахнет нагретой землей наше густое вино.
Хлеб от вина лилоеет. Кусок овечьего сыру,
Влажно-соленый, крутой, горную свежесть хранит.

«Крит позабыл ты, хвостун! Мастика хмельнее и
слаще:
Палуба ходит, скользит, парус сияет, как снег,
Пляшут зеленые волны — и пьяная цепь рулевая,
Скрежеща, вдоль бортов ползает ржавой змеей».

<17.VIII.09>

ЗВЕЗДОПОКЛОННИКИ

Мир не забудет веры древних лет.
Звездопоклонники пустыни,
На ваших лицах — бледный зной планет,
Вы камни чтите как святыни.

Ваш край до шлака пламенем сожжен,
Ваш бог чертил столь грозные скрижали,
Что никогда его имен
Вы даже мыслить не дерзали.

Как сон прошли Христос и Магомет.
Вы и допыпе не забыли
Ночных служений таинству планет
И безымянной древней Силе.

<1906—1909>

ПРОЩАНИЕ

Поблекший дол под старыми платапами,
Иссохшие источники и рвы
Усеявы лиловыми тюльпанами
И золотом листвы.

Померкло небо, солнце закатилось,
Холодный ветер дует. И слеза,
Что в голубых глазах твоих светилась,
Бледна, как бирюза.

<1906—1909>

ПЕСНЯ

Зацвела на воле
В поле бирюза.
Да не смотрят в душу
Милые глаза.

Помню, помню нежный,
Безмятежный лен.
Да далеко где-то
Зацветает он.

Помню, помню чистый
И лучистый взгляд.
Да поднять ресницы
Люди не весят.

<1906—1909>

СПОЛОХИ

Взлевал легкие гардины
И раздувая слет зарницы,
Почная близилась гроза.

Метался мрак, зеркала глубины
Ловили золото божницы
И чьи-то жуткие глаза.

Я замерла, не понимая,
В какой я горнице. Крапива,
Шумя, бежала под окном.

Зарница, яркая, немая,
Мне говорила торопливо
Все об одном, все об одном.

Впервые нынче мы не лгали,—
Дрожа от радости, впервые
Сняла я тяжкое кольцо —

И в глубине зеркал мелькали
Покровы черно-гробовые
И чье-то бледное лицо.

<1906—1909>

НОЧНЫЕ ЦИКАДЫ

Прибрежный хрящ и голые обрывы
Степных равнин луной озарены.
Хрустальный звон сливает с небом нивы.

Цветы, колосья, травы им полны,
Он ни на миг не молкнет, но не будит
Бесстрастной предрассветной тишины.

Ночь стелет тень и влажный берег студит,
Ночь тянет вдаль свой невод золотой —
И скоро блеск померкнет и убудет.

Но степь поет. Как колос палитой,
Полна душа. Земля зовет: спешите
Любить, творить, пьянить себя мечтой!

От бледных звезд, раскинутых в зепите,
И до земли, где стыпет лунный сон,
Текут хрустально трепетные нити.

Из сонма жизней соткан этот звон.

10.IX.10

ПИЛИГРИМ

Стал на ковер, у якорных цепей,
Босой, седой, в коротеньком халате,
В большой чалме. Свежее на закате,
Ночь впереди — и тело радо ей.

Стал и простер ладони в мусть зыбей:
Как раб хранит заветный грош в заплате,
Храпит душа одну мечту — о плате
За труд земной — и все скупей, скупей.

Орлиный клюв, глаза совы, но кротки
Теперь они: глядят туда, где сиянь
Святой страны, где слезы звезд — как четки
На смуглой кисти Ангела Пустынь.

Открыто все: и сердце и ладони...
И блещут, блещут слезы в небосклоне.

<1906—1910>

О ПЕТРЕ-РАЗБОЙНИКЕ

В воскресенье, раньше литургии,
Раньше звона раннего, сидели
На скамье, под ветхой белой хатой,
Мать да сын — и на море глядели.

— Милый сын, прости старухе старой:
Расскажи ей, отчего скучаешь,—
Головой, до времени чублрой,
Сумрачно и горестно качаешь?

Милый сын мой, в праздник люди кротки,
Небо ясно, горы в небе четки,
Синь залив, долины золотятся,
Сквозь весенний тонкий пар глядятся.

— Был я, мать, в темнице в Цареграде,
В капдалах холодных, на затворе,
За железной ржаною решеткой,
Да зато под ней шумело море.

Море пеной рассыпало гребни
По камням, на мелком сизом щебне,
И на щебне этом чьи-то дети,
Дети в красных фесочках, играли...

— Милый сын! Не дети: чертенята.
— Мать, молчи. Я чахну от печали.

В воскресенье, после литургии,
После полдня, к мужу подходила
Статная нарядная хозяйка,
Ласково за стол его просила.

Он сидел под солнцем, непокрытый,
Черный от загара и небритый,
Тер полою красного жупана
По горячий стали ятагана.

— Господин! Что вижу? Ты — в работе,
Двор не прибран, куры на омете,
Ослик бродит, кактус обгрызает,
Ян все утро с крыши не слезает.

Господин мой! Чем ты недоволен?
Ты ль не счастлив, не богат, не волен?

— Был, жена, я в пытках и на дыбе,
Восемь лет из плена видел воду,
Белый парус в светлых искрах зыби,
Голубые горы — и свободу...

— Господин! Свободу? Из темницы?
— Замолчи. Пират польпес птицы.

В воскресенье божье, на закате
Было пусто в темной старой хате...
Кто добром разбойника помянет?
Как-то он на Страшный суд предстанет?

<1906—1910>

В ПЕРВЫЙ РАЗ

Ночью лампа на окне стояла,
Свет бросала в черный мокрый сад:
Желтую лесовку озаряла
И цветник, расцветший в листопад.

Нянька у окна, на табурете,
Штопала чулочки... Перед сном,
Раздеваясь, поглядели дети
На листву и мальвы под окном.

И пока дремали, забывались.
Думали о чем-то — в первый раз:
Сказкой нерассказанной казались
Дом, и сад, и этот поздний час.

Дом был стар, как терем у Кошеля,
Расцветала пестрядь у стекла,
И на свет глядела почь, черпая...
Но зачем ты, нянька, не спала!

<1906—1910>

ПРИ ДОРОГЕ

Окно по ночам голубое,
Да ветхо и криво оно:
Сквозь стекла расплющенный месяц
Как тусклое блещет пятно.

Дед рано ложится, а внучке
Песня: лежи и не спи
Да думай от скуки. А долги
Освение почи в степи!

Вчера чумаки проходили
По шляху под хатой. Была
Морозная полночь. Блестели
Колеса, рога у вола.

Тянулась арба за арбою.
И месяц глядел как живой
На шлях, на шагавшие тени,
На борозды с мерзлой ботвой...

У Каспия тони, там хватит
Работы на всех — и давно
Ушла бы туда с чумаками,
Да мило кривое окно.

28.1.11.
Гелуан (под Каиром)

* * *

Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной волной,
Озаряясь жаркою зарницей.

Всходит горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам.
В темном финиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.

Индийский океан

25.11.11

• • •

Мелькают дали, черные, слепые,
Мелькает океана мертвый лик:
Бог разверзает бездны голубые,
Но лишь на краткий миг.

«Да будет свет!» Но гаснет свет, и сонный,
Тяжелый гул растет вослед за ним:
Бог, в довременный хаос погруженный,
Мрак сотрясает ропотом своим.

26.11.11

НОЧЛЕГ

Мир — лес, почпой приют птицы.
Брамhи.

В вечерний час тепло во мраке леса,
И в теплых водах меркнет свет зари.
Пади во мрак зеленого навеса —
И, приютившись, замри.

А ранним утром, белым и росистым,
Взмахни крылом, среди листвы шурша,
И растворишься, исчезни в небе чистом —
Вернись па родину, душа!

Индийский океан, 11.11

Как старым морякам, живущим на покое,
 Все снится по ночам пространство голубое
 И сети зыбких валт,— как верят моряки,
 Что их моря зовут в часы ночной тоски,
 Так кличут и меня мои воспоминанья:
 На новые пути, на новые скитанья
 Велят они вставать — в те страны, в те моря,
 Где только бы тогда я кинул якоря,
 Когда б заветную увидел Атлантиду.
 В родные гавани навеки я не вижду,
 Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
 Все будет сниться сеть канатов смоляных
 Над бездной голубой, над зыбью океана:
 Да чутко встану я на голос Капитана!

8.VII.11

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Те часики с эмалью, что впотьмах
 Бежали так легко и торопливо,
 Давным-давно умолкли. И крапива
 Растет в саду на мусорных холмах.

Тот маятник лучистый, что спесиво
 Соразмерял с футляром свой размах,
 Лежит в пыли чердачного архива.
 И склеп хранит уж безымянный прах.

Но мы служили праведно и свято.
 В полпочинный час нас звезды серебрят,
 Днем солнце озлащает — до заката.

Позеленел наш медный циферблат.
 Но стрелку нашу в диске циферблата
 Ведет сам бог. Со всей вселенной в лад.

<1906—1911>

ИСТОЧНИК ЗВЕЗДЫ

Сирийский апокриф

В ночь рождения Исы,
Святого, любимого богом,
От востока к закату
Звезда уводила волхвов.

В ночь рождения Исы
По горным тропам и дорогам
Шли волхвы караваном
На таинственный зов.

Камнем крови, рубином
Горела звезда перед ними,
Протекала, склонялась —
И стала, служенье свершив:

За долиной, на склоне —
Шатры и огни в Рефанме,
А в долине — источник
Под ветвями оли.

И волхвы, славословя,
Склонились пред темн огнями
И сказали: «Мы видим
Святого селенья огни».

И верблюды припали
К холодной воде меж камнями:
След копыт и довыне
Там, где пили они.

А звезда покатилась
И пала в источник чудесный:
Кто достоин — кто видит
В источнике темном звезду?

Только чистые девы,
Невесты с душой непевестной,
Обрученные богу.
Но и то — раз в году.

<1906—1911>

МАТЕРИ

Я помню спальню и лампадку,
Игрушки, теплую кровать
И милый, кроткий голос твой:
«Ангел-хранитель над тобой!»

Бывало, раздевает плеча
И полушепотом бранит,
А сладкий сон, глаза туманя,
К ее плечу меня клонит.

Ты перекрестишь, поцелуешь,
Напомнишь мне, что он со мной,
И верой в счастье очаруешь...
Я помню, помню голос твой!

Я помню ночь, тепло кровати,
Лампадку в сумраке угла
И тепи от цепей лампадки...
Не ты ли ангелом была?

<1906—1911>

БЕЗ ИМЕНИ

Курган разрыт. В тяжелом саркофаге
Он спит, как страж. Железный меч в руке.
Поют над ним узорной вязью саги,
Беззвучные, на звучном языке.

По лик сокрыт — опущено забрало.
По плащ истлел на ржавленной броне.
Был воин, вождь. Но имя Смерть украла
И унеслась на черном скакуне.

<1906—1911>

ЛИМОННОЕ ЗЕРНО

В сырой избушке шорника Лукьяна
Старуха-бабка в донышке стакана
Растила золотистое зерно.
Да, видно, нам не ко двору оно.

Лукьян нетрезв, старуха как ребенок,
И вот однажды пестренький дыпленок,
Пища, залез на лавку, на хомут.
Немножко изловчился — и капут!

<1906—1911>

МУЖИЧОК

Ельничком, березничком — где душа захочет —
В Киев пробирается божий мужичок.
Смотрит, нет ли льготки? Горбится, бормочет,
Съест и ухмыляется: я, мол, дурачок.
«Али сладко, дедушка?» — «Грешен: сладко,
внучек».

«Что ж, и па здоровье. А куда идешь?»
«Я-то? А не ведаю. Вроде польных тучек.
Со крестом да с верой всякий путь хорош».
Ягодка по льготке — вот и слава богу:
Сыты. А завидим белые холсты,
Подойдем с молитвою, глянем па дорогу,
Сдернем, сунем в сумочку — и опить в кусты.

<1906—1911>

ДВОРЕЦКИЙ

Ночник горит в холодном и угрюмом
Огромном зале скупое и тепло.
Дом окружен злоещим гулом, шумом
Столетних лип, стучащихся в окно.

Дождь льет всю ночь. То чудится, что кто-то
К крыльцу подъехал... То издалека
Несется крик... А тут еще забота:
Течет сквозь крышу, каплет с потолка.

Опять вставай, опять возись с тазами!
И все при этом скудном ночнике,
С опухшими и сонными глазами,
В подштанниках и ветхом сюртучке!

<1906—1911>

КРИНИЦА

Торчит журавль над шахтой под горой.
Зарей в лугу краснеет плахта,
Гремит ведро — и звучною игрой,
Глубоким гулом вторит шахта.

В ее провале, темном и сыром —
Бездонный блеск. Журавль склоняет шею,
Скрипит и, захлебнувшись серебром,
Опять возносится над нею.

Плывет, качаясь, тяжкое ведро,
Сверкает жемчуг — и медленно вдоль луга
Идет она — и стройное бедро
Под красной плахтой так упруго.

<1906—1911>

ПЕСНЯ

На пирах веселых,
В деревнях и селах
Проводил ты дни.

Я в лесу сидела
Да в окно глядела
На кусты и пни.

Девки пряли, шили,
Дети с нянькой жили,
Я всегда одна —

Ласковой черниды,
Тише пленной птицы
И бледнее льна.

Я ли не любила?
Я ли не молила,
Чтоб господь помог?

А года летели,
Волоса седали...
И замолок твой рог.

Солнце пред закатом
Бродит по палатам,
Вдоль дубовых стенов.

Да оно не греет,
Да душа не смеет
Кинуть долгий плен.

<1906—1911>

ЗИМНЯЯ ВИЛЛА

Мистраль качает ставни. Целый день
Печет дорожки солнце. Но за домом,
Где ледяная утренняя тень,
Мороз круной лежит по водоемам.

На синеве и белый новый дом,
И белая высокая ограда
Слепят глаза. И слышится кругом
Звонящий полусонный шелест сада.

Качаясь, пальмы клонятся. Их жаль,—
Они дрожат, им холодно от блеска
Далеких гор... Проносится мистраль,
И дом белеет слишком резко.

<1906—1911>

ПАМЯТИ

Ты мысль, ты сон. Сквозь дымную метель
Бегут кресты — раскинутые руки.
Я слушаю задумчивую ель —
Певучий звон... Все — только мысль и звуки!

То, что лежит в могиле, разве ты?
Разлуками, печалью был отмечен
Твой трудный путь. Теперь их нет. Кресты
Хранят лишь прах. Теперь ты мысль. Ты вечен.

<1906—1911>

БЕРЕЗКА

На перевале дальнем, на краю
Пустых небес, есть белая березка:
Ствол, искривленный бурями, и плоско
Раскинутые сучья. Я стою,
Любуясь ею, в желтом голом поле.

Оно мертво. Где тень, пластинами соли
Лежит мороз. Уж солнца пизкий свет
Не греет их. Уж ни листочка нет
На этих сучьях буро-красноватых,
Ствол резко-бел в зеленой пустоте...

Но осень — мир. Мир в грусти и мечте,
Мир в думах о прошедшем, об утратах.
На перевале дальнем, на черте
Пустых полей, березка одинока.
Но ей легко. Ее весна — далеко.

<1906—1911>

ПСКОВСКИЙ БОР

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам,

Где зернь краснеет на калине,
Где гниль покрыта ржавым мхом
И годы туманно-сини
На можжевельнике сухом.

23.VII.12

ДВА ГОЛОСА

— Ночь, сынок, непроглядная,
А дорога глуха...

— Троепсрого знахарю
Я отнес петуха.

— Лес, дремучий, разбойничий,
Темен с давних времен...

— Пож булатный за пазухой
Горячо наточен!

— Реки быстры и холодны,
Перевозчики спят...

— За рекой ветер высушит
Мой нехитрый наряд!

— А когда же мне, дитятко,
Ко двору тебя ждать?

— Уж давай мы как следует
Попрощаемся, мать!

23.VII.12

ПРАЩУРЫ

Голоса с берега и с корабля

«Лицом к туманной зыби хороните
На берегу песчаном мертвецов...»

— Плыдем в туман. Над мачтою, в зените —
Туманный лик... Чей это слабый зов?

«Мы дышим ночью, морем и туманом,
Нам хорошо в его сыром пару...»

— А! На холме, пустынном и песчаном,
Полночный вихрь проносится в бору!

«Мы ль не любили зыбь и наши юмы?
Мы ль не крепили в бурю паруса?»

— В туман холодный, медленный, угрюмый,
Скрывается песчаная коса.

24.VII.12

Ночь зимняя мутна и холодна,
Как мертвал, стоит в выси луна.
Из радужного бледного кольца
Глядит она на след мой у крыльца,
На тень мою, на молчаливый дом
И на кустарник в ищее густом.
Еще блестит оконное стекло,
Но волчьей мглой поля заволокло,
На севере огни полночных звезд
Горят из мглы, как из пушистых звезд.

Снег меж кустов, туманно-голубой,
Осыпан жесткой серою крупой.
Таинственным дыханием гоним,
Туман плывет, — и я мешаюсь с ним.

И меркнет тень, и двинулась луна,
В свой бледный свет, как в дым, погружена.
И кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных страп,
Где гробовой чернеет океан,
Где, наступив на ледяную Ось,
Превыше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горящие рога.

25.VII.12

НОЧНАЯ ЗМЕЯ

Глаза козюли, медленно ползущей
К своей поре почною сонной лущей,
Горят, как угли. Сумрачная мгла
Стоит в кустах — и вот она зажгла
Два ночника, что зажигать дано ей
Лишь девять раз, и под колючей хвоей
Влачит свой жгут так тихо, что сова,

Плывя за ней, следит едва-едва
Шуршание мхов. А ночь темна в июле.
А враг везде — и страшен он козюле
В почном бору, где смолк обычный шум:
Она сосредоточила весь ум,
Всю силу зла в своем горящем взгляде,
И даже их, ежей, идущих сзади,
Пугает яд, когда она в пути
Помедлит, чтоб преграду обойти,
Головку приподымет, водит жалом
Над мухомором, сморщенным и алым,
Глядит на пни, торчащие из ям,
И светит полусонным муравьям.

28.VII.12

НА ПУТИ ИЗ НАЗАРЕТА

На пути из Назарета
Встретил я святую деву.
Каменистая синела
Самария вокруг меня,
Каменистая долина
С юга шла — а по долине
Семенил ушастый ослик
Меж посевов ячменя.

Тот, кто гнал его, был в пыльном
И заплятанном кунбазе,
Стар, с блестящими глазами,
Сизо-черен и курчав.
Он, босой и легконогий,
За хвостом его поджатым
Гнался с палкою, вилая
От колючек сорных трав.

А на нем, на этом дробном,
Убегавшем мелкой рысью
Сером ослике, сидела
Мать с ребенком на руках:

Как спокойно поднялся
Аравийские респлицы
Над глубоким теплым мраком,
Что сиял в ее очах!

Поклонялся я, Мария,
Красоте твоей небесной
В странах фрапков, в их напеллах,
Полных золота, огней,
В полумраке величавом
Древних рыцарских соборов,
В полумгле стоцветных окон
Сакристий и алтарей.

Там, под плитами, починют
Короли, святые, папы,
Имена их полустерты
И в забвении дела.
Там твой сын, главой поникший,
Темный ликом, в муках крестных.
Ты же — в юности нетленной:
Ты, и скорбная, светла.

Золотой венец и ризы
Белоснежные — я всюду
Их встречал с восторгом тайным:
При дорогах, на полях,
Над бурунами морскими,
В шуме волн и криках чаек,
В темных каменных пещерах
И на старых кораблях.

Корабли во мраке, в бурях
Лишь тобой одной хранимы.
Ты — Звезда морей: со скрипом
Зарываясь в пепел их
И огни свои качая,
Мачты стойко держат парус,
Ибо кормчему незримо
Светит свет очей твоих.

Пад безумием бурунов
В ясный день, в дыму прибоа,
Ты цветешь цветами радуг,
Ночью, в черных пастях гор,
Озаренная лампадой,
Ты, как лилия, белеешь,
Благодатно и смиренно
Преклонив на четки взор.

И к стопам твоим пречистым,
На алтарь твой в бедной нише
При дорогах меж садами,
Всяк свой дар приносим мы:
Сирота-служанка — ленту,
Обручевная — свой перстень,
Магь — свои святые слезы,
Заповьяр — свои псалмы.

Человечество, венчая
Властью божеской тиранов,
Обагрят руки кровью
В жажде злата и раба,
И само еще не знает,
Что оно иного жаждет,
Что еще раз к Назарету
Приведет его судьба!

31.VII.12

В СИЦИЛИИ

Монастыри в предгорьях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,

Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

1.VIII.12

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

«Дай мне звезду,— твердит ребенок сонный,—
Дай, мамочка...» Она, обняв его,
Сидит с ним на балконе, на ступеньках,
Ведущих в сад. А сад, степной, глухой,
Идет, темнеет, в сумрак летней ночи,
По скату к балке. В небе, на востоке,
Краснеет одинокая звезда.

«Дай, мамочка...» Она с улыбкой печной
Глядит в худое личико: «Что, милый?»
«Вон ту звезду...» — «А для чего?» — «Играть...»

Лепечут листья сада. Тонким свистом
Сурки в степи скликаются. Ребенок
Спит на колене матери. И мать,
Обняв его, вздохнув счастливым вздохом,
Глядит большими грустными глазами
На тихую далекую звезду...

Прекрасна ты, душа людская! Небу,
Бездопному, спокойному, ночному,
Мерцающую звезд подобна ты порой!

1.VIII.12

БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

Едет стрелок в зеленые луга,
В тех ли лугах осока да куга,
В тех ли лугах все чемёр да цветы,
Вешней водою низы палиты.
— Белый Олень. Золотые Рога!
Ты не топчи заливные луга.

Прянул Олень, увидавши стрелка,
Конь богатырский шатнулся селска,
Плеткой стрелок по Оленю стебнул,
Крепкой рукой самострел натянул,
Да опустила на гриву рука:
Белый Олень, погубил ты стрелка!

— Ты не стебай, не стреляй, молодец,
Примешь ты скоро заветный венец,
В некое время сгожусь я тебе,
С луга и веселой приду я избе:
Тут и забавам стрелецким конец —
Будешь ты дома сидеть, молодец.

Стану, Олень, на дворе я с утра,
Златом рогов освечу полдвора,
Сладким вином поезжав напою,
Всех особливей невесту твою:
Чтоб не мочила слезами лица,
Чтоб не боялась кольца и венца.

1.VIII.12

АЛИСАФИЯ

На песок у моря синего
Золотая перба клонится.
Алисафия за братьями
По песку морскому говится.

— Что ж вы, братья, меня кипули?
Где же это в свете видано?

— Покорись, сестра: ты батюшкой
За морского Змея выдава.

— Вернитесь, братья милые!

Хоть еще раз попросаемся!

— Не гонись, сестра: мы к мачехе
Поспешаем, ворочаемся.

Золотая верба по ветру
Во все стороны клонилася.
На сырой песок у берега
Алисафия садилася.

Вот и солнце опускается
В огневую зыбь помория,
Вот и видит Алисафия:
Белый конь несет Егория.

Он с копы слезает весело,
Отдает ей повод с плеткою:
— Дай уснуть мне, Алисафия,
Под твоей защитой кроткою.

Лег и спит, и дрогнет с холоду
Алисафия покорная.
Тяжелеет солнце рдяное,
Стала зыбь к закату черная.

Закипела она пеною,
Зашумела, закурчавилась:
— Встань, проспись, Егорий-батюшка!
Шуму на море прибавилось.

Поднялась волна и на берег
Шибко мчит глаза змеиные:
— Ой, проснись, — не медли, суженый,
Ни минуты вы единые!

Он не слышит, спит, покоится.
И заплакала, закрылась
Алисафия — п тяжкая
По щеке слеза скатлася

И упала на Егорпя,
На лицо его, как олово.
И вскочил Егорий на ноги
И срубил он Змею голову.

Золотая верба, звездами
Отягченная, склоняется,
С нареченным Алисафия
В божью дерковь собирается.

VIII.12

ПОТОМКИ ПРОРОКА

Не мало царств, не мало стран на свете.
Мы любим тростниковые ковры,
Мы ходим не в кофейни, а в мечети,
На солнечные тихие дворы.

Мы не купцы с базара. Мы не рады,
Когда вступает пыльный караван
В святой Дамаск, в его сады, ограды:
Нам не нужны подачки англичан.

Мы терпим их. Но ни одежды белой,
Ни белых шлемов видеть не хотим.
Написано: чужому зла не делай,
Но и очей не подымай пред ним.

Скажи привет, но помни: ты в зеленом,
Когда придут, гляди на кипарис,
Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном,
Что по стесу мелькает вверх и вниз.

VIII.12

Шипит и не встает верблюд,
Ревут, урчат бока скотины.
— Ударь ногой. Уже поют
В рассвете алом муэззины.

Стамбул жемчужно-сер вдали,
От дыма сизо на Босфоре,
В дыму выходят корабли
В седое Мраморное море.

Дым смешан с холодом воды,
Он пахнет медом и ванилью,
И вами, белые сады,
И кизлком, и росной пылью.

Выносит красный самовар
Грек из кофейни под каштаном,
Баранов гонят на базар,
Проснулись нищие за ханом:

Пора идти, глядеть весь день
На зной и блеск, и все к востоку,
Где только птиц косая тень
Бежит по выжженному дроку.

VIII.12

УГОЛЬ

Могол Тимур принес малютке-сыну
Огнем горящий уголь и рубин.
Он мудрый был: не к камню, не к рубину
В восторге детском кинулся Имин.

Могол сказал: «Кричи и знай, что пленка
Уже легла на меркнувший огонь».
Но бог мудрей: бог пожалел ребенка —
Он сам подул на детскую ладонь.

VIII.12

СУДНЫЙ ДЕНЬ

В щит золотой, висящий у престола,
Копьем ударит ангел Израфил —
И саранчой вдоль сумрачного дола
Мы потечем из треснувших могил.

Щит загудит — и ты восстанешь, боже,
И тень твоя падет на судный дол,
И будет твердь подобна красной коже,
Повергнутой кожевником в рассол.

8.VIII.12

НОЯБРЬСКАЯ НОЧЬ

Туман прозрачный по полям
Идет навстречу мне,
Луны касаясь по краям,
Мелькая в вышине.
В полях не мало борозд, ям,
Невидных при луне.

Что там? Не речки ль полоса?
Нет, это зеленыя.
Блестит холодная роса
На гриве у коня —
И дышат ладаном леса,
Раскрытые до пня.

8.VIII.12

ЗАВЕСА

Так говорит господь: «Когда, мой раб любимый,
Читаешь ты Коран среди врагов моих,
Я разделяю вас завесою незримой.
Зане смешон врагам мой сладкозвучный стих».

И сокровенных чувств, и тайных мыслей много
От вас я утаил. Никто моих путей,
Никто моей души не знает, кроме бога:
Он сам нас разделил завесою своей.

8.VIII.12

РИТМ

Часы, шипя, длепадцать раз пробили
В соседней зале, темной и пустой,
Мгновения, бегущие чередой
К неизвестности, к забвению, к могиле,

На краткий срок свой бег остановили
И вновь узор чеканят золотой:
Заворожен ритмической мечтой,
Вновь отдаюсь меня стремлещей силе.

Раскрыв глаза, гляжу на яркий свет
И слышу сердца ровное биенье,
И этих строк размеренное пенье,
И мыслимую музыку планет.

Все ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленье нет.

9.VIII.12

Как дым пожара, туча шла.
Молчала старая дорога.
Такая тишина была,
Что в ней был слышен голос бога,
Великий, жуткий для земли
И внятный не земному слуху,
А только внемлющему духу.
Жгло солнце. Блеклые, в пыли,
Серели травы. Степь роняла
Беззвучно зерна — рожь текла
Как бы крупинками стекла
В суглинок жаркий. Тонко, вяло,
Седые крылья распустив,
Птенцы грачей во ржи кричали.
Но в духоте песчаных вил
Терялся крик. И вырастали
На юге тучи. И листва
Встала, склоненной к их подножью,
Вся серебристой млея дрожью —
В грядущем страхе божества.

10.VIII.12

ГРОБНИЦА

Глубокая гробница из порфира,
Клоки парчи и два крутых ребра.
В костях руки — железная секира,
На черепе — венец из серебра.

Надвинут он на черные глазницы,
Сквозит на лбу, блестящем и пустом.
И тонко, сладко пахнет из гробницы
Истлевшим кипарисовым крестом.

10.VIII.12

СВЕТЛЯК

Леса, пески, сухой и теплый воздух,
Напев сверчков, таинственно простой.
Над головою — небо в бледных звездах,
Под хвоей — сумрак, мягкий и густой.

Вот и она, забытая, глухая,
Часовенка в бору: издалека
Мерцает в ней, всю ночь не потухая,
Зеленая лампадка светляка.

Когда-то озаряла нам дорогу
Другая в этой сумрачной глуши...
Но чья святей? Равно угоден богу
Свет и во тьме немеркнувшей души.

*Под Себежем,
24.VIII.12*

СТЕПЬ

Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.

Синий ворон пьет глазки до донюшка,
Собирает по косточкам дасть.
Сторона ли моя, ты, сторонushка,
Вековая моя глухомань!

21.IX.12

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Среди кривых стволов, среди ветвей корявых
Ползет молочный дым: окуривают сад.
Все яблони в цвету — и вот, в зеленых травах,
Огни, как языки, краснеют и дрожат.

Бесцветный запад чист — жди к полночи мороза.
И соловьи всю ночь поют из теплых гнезд
В дурмане голубом дымящего навоза,
В серебряной пыли туманно-ярких звезд.

2.III.13

МАТРОС

Ночью в море крепко спать хотелось,
Измотало зыбью нашу барку,
Па носу — угодника Николу,
На корме — малиновый фонарик.

А пришли к Патрасу — рассветает,
Море заштило, зеленеет,
На востоке, светлом, апельсинном,
Розовеют снеговые горы.

У кого есть деньги, тот в кофейне,
Пьет мастику или чай с лимоном —
Э, успею выспаться! Скорее
Дай мне сыру и вина покрепче!

Сладко ослабею, сытый, пьяный,
Забурлю кальяном, а хозяин
Будет усмехаться — и от смеха
Нос его короткий станет клювом.

8.III.13

СВЯТОГОР

В чистом поле, у камня Алатыря,
Будит конь Святогора-богатыря:

Грудью пал на колчан Святогор.
Ворон по полю плавает, каркая.
Свет заря помутилася жаркая.

Месяц встал на полночный дозор.

Ой, не спит Святогор, — притворяется!
Конь легонько копытом касается
До плеча в золоченой резьбе:
«Я ль не сытый пшеницею яровой?
Я ль не крытый попоною жаровой?
Мне ль Ивана посить на себе?»

В чистом поле, у камня Алáтырл,
Светит месяц по шлему богáтыря:
Принял божью смерть Святогор.
Конь вздыхает, ревет по-звериному:
Он служил господину единому!
А Иван распахнул бел шатер:

Он ползет по росе, подкрадывается,
Он татаринном диким гоняется,
Он за гриву хватает коня.
Ночь за ночью идет, ворон каркает,
Ветром конь вокруг Алáтыря шаркает,
Стременами пустыми звеня.

Анакапри, 8.III.13

ЗАВЕТ СААДИ

Будь щедрым, как пальма. А если не можешь, то будь
Стволом кипариса, прямым и простым — благородным.

Трапезонд, VI.13

ДЕДУШКА

Дедушка ест грушу на лежанке,
Деспами кусает спелый плод.
Поднял плеч костлявые останки
И втянул в них череп, как урод.

Глазки — что коряжки, со звериной
Пустотой и грустью. Все забыл.
Уж залася гробовой холстиной,
Но к еде — какой-то лютый пыл.

Чует: отовсюду обступила,
Смотрит на лежанку, на кровать
Ждущая, томительная Сила...
И спешит, спешит он — дожевать.

19.VIII.13

МАЧЕХА

У меня, сироты, была мачеха злая.
В избу пустую ночью пришла я:

В темные леса гнала меня мати
Жито сырое молоты, просовати.

Много смолола я — куры не пели,
Слышу — дверные крюки закрепили,

Глянула — вижу железные роги,
Черную Мати, косматые поги.

Брала меня Мати за правую руку,
Вела меня Мати к венцу да на муку,

За темные леса, за сияние боры,
За быстрые реки, за белые горы.

Ой, да я леса прошла со свечами,
В плынь я плыла по рекам со слезами,

В трубы по белым горам я трубила:
Слушайте, люди, кого я любила!

20.VIII.13

ОТРАВА

Свекровь-госпожа в терему до полдён заспалась:
Спи, рбднал, спи, я одна, молода, убралась!
Серьгу и кольцо я в бору колдуну отдала,
Питье на меду да на сладком корню развела.

И череп и смолен зеленый за теремом бор.
Смынок твой воротится, сыщет под лавкой топор:
«Смынок, не буди меня: клонит старуху ко сну.
Сруби мне два дерева — ель да рудую сосну».

— Ин, ель на постель, а сосну? — «А ее на кровать:
На бархате смольном в гробу золотом почивать,
На хвое примятой княгиню положите вы,
С болотною мятой округ восковой головы...»

Уж как же я буду за церковью выть, голосить!
Уж как же я выйду наране покосы косить!
В коралл, в костенику я косы свои уберу,
Шальнойю и дикой заляюсь, заматаюсь в бору!

20.VIII.13

МУШКЕТ

Видел сон Мушкет:
Видел он азовские подолья,
На бурьяне, на татарках — алый цвет,
А в бурьяне — ржавых копий колья.

Черт новил в жгуты,
Засушил в крови казачьи чубы.
Эх, Мушкет! А что же делал ты?
Видишь ли оскаленные зубы?

Твой крестовый брат
В Цареграде был посажен на кол.
Брат зовет Мушкета в Цареград —
И Мушкет проспнулся и заплакал.

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И пошел в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток.

И турецкий хан
Отрубил ему башку седую,
И швырнул ту башку в лиман,
И плыла она, качаясь, в даль морскую.

И глядела в высь, —
К господу глаза ее глядели.
И господь ответил: «Не журись,
Не тужи, Мушкет, — попы тебя отпели».

VIII.13

ВЕНЕЦИЯ

Восемь лет в Венеции я не был...
Всякий раз, когда являлся минувешь
И на пристань выйдешь, удивляет
Тишина Венеции, пьянеешь
От морского воздуха каналов.
Эти лодки, барки, маслянистый
Блеск воды, огнями озаренной,
А за нею низкий ряд фасадов
Как бы из слоновой грязной кости,
А над ними синий южный вечер,
Мокрый и несчастный, но налитый
Синевую мягкою, лиловой, —
Радостно все это было видеть!

Восемь лет... Я спал в давно знакомой
Низкой, старой комнате, под белым
Потолком, расписанным цветами.
Утром слышу, — колокол: и звонко
И пелуче, но не к нам зовет
Этот чистый одинокий голос,

Голос давней жизни, от которой
Только красота одна осталась!
Утром косо розовое солнце
Заглянуло в узкий переулок,
Озаряя отблеском от дома,
От стены напротив — и опять я
Радостную близость моря, воли
Ощутил, увидевши над крышей,
Над бельем, что по ветру трепалось,
Облаков сиреневые ключья
В жидком, влажно-бирюзовом небе.
А потом на крышу прибежала
И белье снимала, запевая,
Девушка с раскрытой головою,
Стройная и тонкая... Я вспомнил
Капри, Грациэллу Ламартина...
Восемь лет назад я был моложе,
Но не сердцем, нет, совсем не сердцем!

В полдень, возле Марка, что казался
Патриархом Сирии и Смирны,
Солнце, улыбаясь в светлой дымке,
Перламутром розовым слепило.
Солнце пригревало стены Дожей,
Площадь и воркующих, кипящих
Сизых голубей, клевавших зерно
Под погами щедрых форестьеров.
Все блестело — шляпы, обувь, трости,
Щурились глаза, сверкали зубы,
Жепщины, весну напоминая
Светлыми нарядами, раскрыли
Шелковые зонтики, чтоб шелком
Озаряло лица... В галерее
Я сидел, спросил газету, кофе
И о чем-то думал... Тот, кто молод,
Знает, что он любит. Мы не знаем —
Целый мир мы любим... И далеко,
За каналы, за лежавший плоско
И сиявший в тусклом блеске город,
За лагуны Адрии зеленой,
В голубой простор глядел крылатый

Лев с колонны. В ясную погоду
Он на юге видит Апеннины,
А на сизом севере — тройные
Волны Альп, мерцающих над синью
Платиной горбов своих ледяных...

Вечером — туман, молочно-серый,
Дымный, непроглядный. И пушисто
Зеленеют в нем огни, столбами
Фонари отбрасывают тени.
Траурно Большой канал чернеет
В россыпи огней, туманно-красных,
Марк тяжел и древен. В переулках —
Слякоть, грязь. Идут посередине, —
В опере как будто. Сладко пахнут
Крепкие сигары. И уютно
В светлых галереях — ярко блещут
Их кафе, витрины. Англичане
Покупают кружело и книжки
С толстыми шершавыми листами,
В переплетах с золоченой вязью,
С грубыми застежками... За мною
Девочка пристряла — все касалась
До плеча рукою, улыбаясь
Жалостно и робко: «Mi d'un soldo!»¹
Долго я сидел потом в таверне,
Долго вспоминал ее прелестный
Жаркий взгляд, лучистые ресницы
И лохмотья... Может быть, арабка?

Ночью, в час, я вышел. Очень сыро,
Но тепло и мягко. На пьедесте
Камни мокры. Нежно пахнет морем,
Холодно и сыро вонью скользких
Темных переулков, от канала —
Свежестью арбуза. В светлом небе
Над пьедестом, против папских статуй
На фасаде церкви — бледный месяц:

¹ «Дай мне сольдо!» (итал.)

То сияет, то за дымом тает,
За осенней мглой, бегущей с моря.
«Не заснул, Эрико?» — Он беззвучно,
Медленно на лунный свет выводит
Длинный черный катафалк гондолы,
Чуть склоняет стап — и вырастает,
Стоя на корме ее... Мы долго
Плыли в узких коридорах улиц,
Между стен высоких и тяжелых...

В этих коридорах — баржи с лесом,
Барки с солью: стали и почуют.
Под стенами — сваи и ступени,
В плесени и слизи. Сверху — небо,
Лента неба в мелких бледных звездах...
В полночь спит Вепеция, — быть может,
Лишь в притонах для ворон и пьяниц,
За покзалом, светят щели в ставнях,
И за ними глухо слышны крики,
Буйный хохот, споры и удары
По столам и столикам, залитым
Марсалай и пермутом... Есть прелесть
В этой поздней, в этой чадной жизни
Пьяниц, проституток и матросов!
«Но amato, amo, Desdemona»¹, —
Говорит Эрико, напевая.
И, быть может, слышит эту песню
Кто-нибудь вот в этом темном доме —
Та душа, что любит... За оградой
Вижу садик; в чистом небосклоне —
Голые, прозрачные деревья,
И стеклом блестят опи, и пахнет
Сад вином и медом... Этот винный
Запах листьев тоньше, чем песенный!
Молодость груба, жадна, репнива,
Молодость не знает счастья — видеть
Слезы на ресницах Дездемоны,
Любящей другого...

¹ «Я любил, люблю, Дездемона» (итал.).

Вот и светлый
Выход в небо, в лунный блеск и воды!
Здравствуй, небо, здравствуй, ясный месяц,
Перелив зеркальных вод и тонкий
Голубой туман, в котором сказкой
Кажутся вдали дома и церкви!
Здравствуйте, полночные просторы
Золотого млеющего взморья
И огни чуть видного экспресса,
Золотой бегущие цепочкой
По лагунам к югу!

30.VIII.13

* * *

Теплой ночью, горною тропинкой,
Я иду в оливковом лесу.
Вижу в небе белый, ясный месяц,
В сердце радость мирную несущ.

Свет и тень по мне проходят сетью.
Редкий лес похож на серый сад.
Над горой далекой и высокой
Две звезды полночные лежат.

Вот и дома. Белый, ясный месяц —
Против белой мазанки моей.
И всю ночь хрустальными ручьями
Звон цикад журчит среди камней.

4.IX.13

МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА

Опять знакомый дом...
Озарен.

Могильная плита, железная доска,
В густой траве врастающая в землю,—
И мне печаль могил понятна и близка,
И я родным преданьям внемлю.

И я «люблю людей, которых больше нет»,
Любовью всепрощающей, сыновней.
Последний их побег, я не забыл их след
Под старой, обветшалою часовней.
Я молодым себя, в своем простом быту,
На бедном их погосте вспоминаю.
Последний их побег, под эту же плиту
Приду я лечь — и тихо лягу — с краю.

6.IX.13

ПОСЛЕ ОБЕДА

Сквозь редкий сад шумит в тумане море —
И тянет плажным холедом в окно.
Сирена на туманном косогоре
Мычит и мрачно и темно.

Лишь гимназистка с толстыми косами
Одна не спит, — одна живет иным,
Хватая жадно синими глазами
Страпицу за страницей «Дым».

6.IX.13

ГОСПОДЬ СКОРБЯЩИЙ

Воззвал господь, скорбящий о Сионе,
И Ангелов Служения спросил:
«Погибли стяги, воинство и копи, —
Что сделал Царь, покорный богу Сил?»

И Ангелы Служения сказали:
«Он претищем завесил тронный зал,
Он потушил светильники в том зале,
Он скорбь свою молчанием связал».

Воззвал господь: «И я завещаю тьмою,
Как вретнщем, мной созданную твердь,
Я потушу в ней солище и сокрою
Лище свое, да правит в мире Смерть!»

И отошел с покинутого трона
К тем тайникам, чье имя — Мистарим,
И плакал там о гибели Сиона,
Для Ангелов Служения незрим.

Капри, 10.III.14

И А К О В

Иаков шел в Харан и почевал в пути,
Затем что пала ночь над той пустыней древней.
Царь говорит рабам: «Вот должен друг прийти.
Гасите все огни,— во мраке мы душевней».

Так повелел господь гасить светило дня,
Чтоб тайную вести с Иаковом беседу,
Чтоб звать его в ночи: «Восстань, бори меня —
И всей земле яви мой знак, мою победу!»

Капри, 10.III.14

М А Г О М Е Т И С А Ф И Я

Сафия, проснувшись, заплетает ловкой
Голубой рукою пряди черных кос:
«Все меня ругают, Магомет, жидовкой»,—
Говорит сквозь слезы, не стирая слез.

Магомет, с усмешкой и любовью глядя,
Отвечает кротко: «Ты скажи им, друг:
Авраам — отец мой, Моисей — мой дядя,
Магомет — супруг».

24.III.14

Плакала ночью вдова:
Нежно любила ребенка, но умер ребенок.
Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава,
Звезды светили, и плакал в закуте козленок.

Плакала мать по ночам.
Плачущий ночью к слезам побуждает другого:
Звезды слезами текут с небосклона ночного,
Плачет господь, рукава прижимая к очам.

24.III.14

ТОРА

Был с богом Моисей на дикой горной круче,
У врат небес стоял как в жертвенном дыму:
Сползали по горе грохочущие тучи —
И в голосе громов бог говорил ему.

Мешалось солнце с тьмой, основы скал дрожали,
И видел Моисей, как зиждилась Она:
Из белого огня — раскрытые скрижали,
Из черного огня — святые письма.

И стиль — незримый стиль, чертивший их узоры, —
Бог о главу вождя склоненного отер,
И в пламенном венце шел восприемник Торы
К народу своему, в свой стан и свой шатер.

Воспойте песнь ему! Он радостней и краше
Светильника Седьми пред божьим алтарем:
Не от него ль зажгли мы пламенники наши,
Ни света, ни огня не уменьшая в нем?

Рим, 24.III.14

НОВЫЙ ЗАВЕТ

С Иосифом господь беседовал в ночи,
Когда святая мать с младенцем почивала:

«Иосиф! Близок день, когда мечи
Перекуют народы на орала.
Как плачет вдова, что плачет в час ночной
О муже и ребенке, как пророки
Мой древний дом оплакали со мной,
Так проливает мир кровавых слез потоки.
Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости господисе веленье:
Встань, возвратись в мой тихий Назарет —
И всей земле яви мое благоволение».

Рим, 26.III.14

ПЕРСТЕНЬ

Рубины мрачные двели, черпели в нем,
Внутри пурпурно-кровяные,
Алмазы вспыхивали розовым огнем,
Дробясь, как слезы ледяные.

Бесценными играл заветный перстень мой,
Но затаенными лучами:
Так светит и горит сокрытый полутьмой
Старинный образ в царском храме.

И долго я глядел на этот божий дар
С тоскою, смутной и тревожной,
И опускал глаза, переходя базар,
В толпе крикливой и ничтожной.

*7.I.15
Москва*

С Л О В О

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И пет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

7.1.15
Москва

* * *

Просыпаюсь в полумраке.
В занесенное окно
Смуглым золотом Исакий
Смотрит дивно и тепло.

Утро сумрачное спешно,
Крест ушел в густую мглу.
За окном уютно, нежно
Жмутся голуби к стеклу.

Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет.

17.1.15
Петербург

С В Я Т О Й Е В С Т А Ф И Й

Ловец великий перед богом,
Я алчен в молодости был.
В восторге буйном, злом и строгом,

По горным долам и отрогам,
Я расточал мой ловчий пыл.

— Простите, девственные сени
Языческих родимых мест.
Ты сокрушил мои колени,
Смиранный Взор, голгофский Крест.

Вот дал я волю пестрым сворам,
Узду коню: рога, рога
Летят над лиственным узором,
А я — за ними, пылв простором,
Погоней, жаждою врага.

— Простите, девственные сени,
Поющий лес, гремящий бор.
Ты сокрушил мои колени,
Голгофский Крест, смиренный Взор:

Мрак и стволы великой чащи,
Органцых труб умолкший ряд,
Взор, и смиренный и грозящий,
И крест из пламени, горящий
В рогах, откинутых назад.

27.VIII.15
Васильевское

ПОЭТУ

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьется из лужи
И в луже напоят отару свою,
Но добрый опустит в колодец бадью,
Веревку к веревке привяжет потуже.

Бесценный алмаз, обреченный в ночи,
Раб ищет при свете грошовой свечи,
Но зорко он смотрит по пыльным дорогам,
Он ковшиком держит сухую ладонь,
От ветра и тьмы ограждая огонь —
И знай: он с алмазом вернется к чертогам.

27.VIII.15
Васильевское

* * *

Взойди, о Ночь, на горный свой престол,
Стань в бездны бездн, от блеска звезд туманной,
Мир тишины исполни перевозчанной
И сонных вод смири немой глагол.

В отверстый храм земли, небес, морей
Вновь прихожу с мольбою и тоскою:
Коснись, о Ночь, целящею рукою,
Коснись чела, как божий нерей.

Дала судьба мне слишком щедрый дар,
Виденья для безмерно ярки были:
Росистый хлад твоей епитрахили
Да утолит души мятежный жар.

31.VIII.15
Васильевское

НЕВЕСТА

Я косы девичьи плела,
На подоковьях сидела,
А ночь созвездьями цвела,
А море медленно шумело,
И степь дрожала в полусне
Своим таинственным журчаньем...

Кто до тебя вошел ко мне?
Кто, в эту ночь перед лепчаньем,
Мне душу истомил такой
Любовью, нежностью и мукой?
Кому я отдалась с тоской
Перед последнею разлукой?

2.IX.15

* * *

Роса, при бледно-розовом огне
Далекого востока, золотится.
В степи сидит пустушка на копке.
В степи рассвет, в степи роса дымится.

День впереди, столь радостный для нас,
А сзади ночь, похожая на тучу.
Спят пастухи. Бараны сбились в кучу,
Сверкая явтарями спящих глаз.

2.IX.15

ЦЕЙЛОН

Гора Алагалла

В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни,
В болотистых низах, в долипах рек — потоп.
Слоны залезли в грязь, стоят, поднявши бивни,
Сырые хоботы закинувши на лоб.

На тучах зелень пальм — безжизненной металла,
И, тяжело заступив графитный горизонт,
Глядит из-за лесов нагая Алагалла,
Как синий мастодонт.

10.IX.15

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Пустынник нам сказал: «Благословен господь!
Когда я изнурял бунтующую плоть,
Когда я жил в бору над Малым Тапансом,
Я так скорбел порой, что жаловался крысам,
Сбегавшимся из пор па скудный мой обед,
Да спас меня господь от вражеских побед.
И знаете ли чем, какой утехой сладкой?
Я забавлял себя своею сирой хаткой,
Я мел в горах нашел — и за год раза три
Белил се, друзья, снаружи и внутри.
Ах, темен, темен мир, и чувствуют лишь дети,
Какая тишина и радость в белом цветке!»

10.IX.15

ОДИНОЧЕСТВО

Худая компаньонка, иностранка,
Купалась в море вечером холодным
И все ждала, что кто-нибудь увидит,
Как выбежит она, полунагая,
В трико, прилипшем к телу, из прибоя.
Потом, надев широкий балахон,
Сидела на песке и ела сливы,
А крупный пес с гремящим лаем прядал
В прибрежную сиреневую кипель
И жаркой пастью радостно кидался
На черный мяч, который с криком «hop!»
Она швыряла в воду... Загорелся
Вдали маяк лучистой звездой...
Сыреп песок, взошла луна над морем,
И по волнам у берега ломался,
Сверкал зеленый глянец... На обрыве,
Что возвышался сзади, в светлом небе,
Черпала одинокая скамья...

Там постоял с раскрытой головою
Писатель, пообедавший в гостях,
Сигару покурил и, усмехнувшись,
Подумал: «Полосатое трико
Ее на зебру делало похожей».

10.IX.15

* * *

К вечеру море шумней и мутней,
Парус и дальше и дымней.
Няньки по дачам разносят детей,
Ветер с Финляндии, зимний.

К морю иду — все песок да кусты,
Сосенник сине-зеленый,
С елок холодных срываю кресты,
Иглы из хвои вощеной.

Вот и скамья, и соломенный зонт,
Дальше обрыв — и туманный,
Мглисто-багровый морской горизонт,
Запад зловещий и странный.

А над обрывом все тот же гамак
С томной, капризной девицей,
Стул полотняный и с кляжкой чужда,
Гнутый, в пенсне, бледнолицый.

Дремлет, качается в сетке она,
Оя ей читает Бальмонта...
Запад темнеет и свищет сосна,
Тучи плывут с горизонта...

11.IX.15

ВОЙНА

От кипарисовых гробниц
Взлетела стая черных птиц, —
Тюрба расстреляно, разбито,
Вот грязный шелковый покров,
Кораны с оттиском подков...
Как грубо конское копыто!

Вот чей-то сад; он черен, гол —
И не о нем ли мой осел
Рыдающим томится ревом?
А я — я, прокаженный, рад
Бродить, вдыхая горький чад,
Что тает в небе бирюзовом:

Пустой, разрушенный, немой,
Отныне этот город — мой,
Мой каждый спуск и переулоч,
Мои все туфли мертвецов,
Домов руины и дворцов.
Где шум морской так свеж и гулок!

12.IX.15

ЗАСУХА В РАЮ

От пальм увядших слабы тени.
Ища воды, кричат в тоске
Среброголосые олени
И пожирают змей в песке.

В сухом лазоревом тумане
Очерчен солнца алый круг,
И сам творец сжимает длани,
Таит тревогу и испуг.

12.IX.15

* * *

У нубийских черных хижинок
Мы в пути коней поили.
Вечер теплый, тихий, темный
Чуть светил шафраном в Ниле.

У нубийских черных хижинок
Кто-то пел, томился бесстрастно:
«Я тоскую, я печальна
Оттого, что я прекрасна...»

Мыши реяли, дрожали,
Буйвол спал в прибрежном иле,
Пахло горьким дымом хижинок,
Чуть светили звезды в Ниле.

12.IX.15

* * *

В жарком золоте заката Пирамиды,
Вдоль по Нилу, на утеху иностранцам,
Шелком в воду свистят парусные лодки
И бежит луксорский белый пароход.
Это час, когда за Нилом пальмы четки,
И в Канре блещут стекла алым глянцем,
И хедия в лапдо катается, и гида
По кофейням отдыхают от господ.

А сиреневые дали Нила к югу,
К дикой Нубии, к Порогам, смутны, зыбки
И все так же миру чужды, заповедны,
Как при Хуфу, при Камбизе... Я привез
Лук оттуда и колчан зелено-медный,
Щит из кожи бегемота, дротик гибкий,
Мех пантеры и суданскую кольчугу,
Но на что все это мне — вопрос.

13.IX.15

Что ты мутный, светел-месяц?
 Что ты низко в небе ходишь,
 Не по-прежнему сияешь
 На серебряные снега?

Не впервой мне, месяц, видеть,
 Что окно ее высоко,
 Что краснеет там лампадка
 За шелковой занавеской.

Не впервой я ворочаюсь
 Из кружала наглый, пьяный
 И всю ночь сижу от скуки
 Под Кремлем с блаженным Ваней.

И когда он спит — дивуюсь!
 А ведь кволий да и голый...
 Все смеется, все бормочет,
 Что башка моя на плахе
 Так-то весело подскочит!

13.IX.15
Васильевское

КАЗНЬ

Туманно утро красное, туманно,
 Да все светлей, белее на восходе,
 За темными, за синими лесами,
 За дымными болотами, лугами...
 Вставайте, подымайтесь, псковичи!

Роса дождем легла на пыль,
 На крыши изб, на торг пустой,
 На золото церковных глав,

На мой помост средь площади...
Точите пож, мочите солью кнут!

Туманно солнце красное, туманно,
Кровавое не светит и не греет
Над мутными, над белыми лесами,
Над роспыми болотами, лугами...
Орите позвончсе, бирючи!

— Давай, мужик, лицо умыть,
Сапог обуть, кафтан надеть,
Веди меня, вали под нож
В единый мах — не то держись:
Зубами всех заем, не оторвут!

13.IX.15

ШЕСТИКРЫЛЫЙ

Мозаика в Московском соборе

Алел ты в зареве Батыя —
И потемнел твой жуткий взор.
Ты крылья рыже-золотые
В свлщенном трепете простер.

Узрел ты Грозного юрода
Монашеский истертый шлык —
И навсегда в изгибах свода
Застыл твой большеглазый лик.

14.IX.15

ПАРУС

Звездами вышит парус мой,
Высокий, белый и тугой,
Лик богоматери меж них
Сияет, благостен и тих.

И что мне в том, что берега
Уже уходят от меня!
Душа полна, душа строга —
И тонко светятся рога
Младой луны в закате дня.

14.IX.15

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

По лесам бежала божья мать,
Куньей шубкой запахнув младенца.
Сталось в небе божье полотенце,
Чтобы ей не сбиться, не плутать.

Холодна, морозна ночь была,
Дива дивны в эту ночь творились:
Волчьи очи зеленою дымилась,
По кустам сверкали без числа.

Дне седых медведицы в лугу
На дыбах боролись в ярой злобе,
Грызлись, бились и мотались обе,
Тяжело топтались на снегу.

А в дремучих зарослях, впотьмах,
Жались, табунились и дрожали,
Белым паром из ветвей дышали
Звери с бородами и в рогах.

И огнем вставал за лесом меч
Ангела, летевшего к Сиону,
К золотому Иродову трону,
Чтоб главу на Ироде отсечь.

21.X.15

СКАЗКА О КОЗЕ

Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю
перелеска?

Полночь, поздняя осень, мороз.
Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска,
Под ногою сухое хрустит серебро.

Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые.
Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза!
Расцветают, горят на железном морозе несытые
Волчьи, божьи глаза.

29.X.15
Восильевское

СВЯТИТЕЛЬ

Твой гроб, дубовая колода,
Стоял открытый, и к нему
Все шли и шли толпы народа
В душистом голубом дыму.

А на доске, тяжелой, черпой,
Был смуглый золотой оклад.
Блистал твой образ чудотворный
В огнях малиновых лампад.

И, осеняя мир десницей
И в шуйцу взяв завет Христа,
Как горько ты, о темполицый,
Иссохшие смыкала уста!

29.X.15

ЗАЗИМОК

Силером па холоде
Обжигает желуди,
Листья и кору.
Свищет роща ржавая,
Жесткая, корявая,
В поле на юру.

Ходят тучи с ношею,
Мерзлою порошею
Стало чаще дуть,
Сереблятся озими —
Скоро под полозьями
Задымится путь,

Заиграет вьюгою,
И листву муругую
Понесет смелей
По простору польному,
Гулу колокольному
Стопущих полей!

29.X.15

* * *

Пустыня в тусклом, жарком свете.
За нею — розовая мгла.
Там минареты и мечети,
Их росписные купола.

Там шум реки, базар под сводом,
Сон переулков, тень садов —
И, засыхая, пахнут медом
На кровлях лепестки цветов.

30.X.15

АЛЕНУШКА

Аленушка в лесу жила,
Аленушка смугла была,
Глаза у ней горячие,
Блескучие, стоячие,
Мала, мала Аленушка,
А пьет с отцом — до донушка.
Пошла она в леса гулять,
Дружка искать, в кустах вялять,
Да кто ж в лесу встречается?
Одна сосна качается!
Аленушка соскучилась,
Безделием измучилась,
Зажгла она большой костер,
А в сушь огонь куда востер!
Сожгла леса Аленушка
На тыщу верст, до пенушка,
И где сама девалась —
Доныне не узналося!

<30.X.15>

ИРИСА

Светло в светлице от окна,
Красавице не спится.
За черным деревом луна,
Как зеркальце, дробится.

Комар тоскует в полутьме,
В пуху лебяжьем знойно,
А что порою на уме —
И молвить непристойно.

Ириса дышит горячо,
Встает... А ножки босы,
Открыто белое плечо,
Смолой чернеют косы.

Ступает на ковер она
И на софу садится...
За черным деревом луна,
Склоняясь, золотится.

<30.X.15>

СКОМОРОХИ

Веселые скоморохи,
Люди смегливые,
Поломайтесь, позабавьте
Свет боярина!

Скучно ему во палате!
Днем он выпался,
Шашки, сказки да побаски
Уж приелися.

На лежаночке в павилинах
Сел он, батюшка,
В желтом стеганом халате,
В ярь-мурмулочке.

Шибче, шибче, скоморохи!
Ишь как ожил он!
Глаза узкие, косые
Засветились,

Все лицо его тугое
Смехом сморщилось,
Корешки зубов из рота
Зачернелись...

Ах, недаром вы, собаки,
Виды видывали!
Шибче, шибче! Чтoб соседи
Нам завидовали!

<30.X.15>.

МАЛАЙСКАЯ ПЕСНЯ

L'éclair vibre sa flèche.

L. de Lisle¹.

Чернеет зыбкий горизонт,
Над белым блеском острых волн
Змется молний быстрый блеск
И бьет прибой мой узкий челп.

Сырой и теплый ураган
Пропосится в сыром лесу.
И сыплет изумрудный лес
Свою жемчужную красу.

Стою у хижины твоей:
Ты на циновке голубой,
На скользких лыках сладко спишь,
И ветер веет над тобой.

Ты спишь с улыбкой, мой цветок.
Пустая хижина твоя,
В непастьный вечер, на ветру,
Благоухает от тебя.

Респицы смольные смежив,
Закрывши длинные глаза,
Окутав бедра кисеей,
Ты изогнулась, как лоза.

Мала твоя тугая грудь,
И кожа смуглая гладка,
И влажная нежна ладонь,
И крепкая круглая рука.

¹ Молния мечет свою стрелу... *Л. де Лиль (франц.)*.

И золотые позвонки
Висят на щиколках твоих,
Янтарных, твердых, как кокос,
И сон твой беззаботный тих.

Но череп, череп горизонт!
Зловеще грому вторит гром,
Темнеет лес, и океан
Сверкает острым серебром.

Твой уста — пчелиный мед,
Твой смех счастливый — щебет птиц,
Но, женщина, люби лишь раз,
Не поднимай для всех ресниц!

Ты легче лани па бегу,
Но вот па лань, из тростников,
Метнулся розовый огонь
Двух желтых суженных зрачков:

О женщина! Люби лишь раз!
Твой смех лукав и лгал твой рот —
Клинок мой медный раскален
В моей руке — и метко бьет.

Вот пыльные твои глаза,
Вот побелевшие уста.
Вздувает буря парус мой.
Во мраке вьется блеск холста.

Клинком я голову отсек
В единый взмах от шеи прочь,
Косою к мачте привязал —
И снова в путь, во мрак и ночь.

Раскалывает небо гром —
И озаряет падо мной
По мачте льющуюся кровь
И лик, качаемый волной.

23.1.16

СВЯТОГОР И ИЛЬЯ

На гривастых конях на косматых,
На златых стремях на разлтых,
Едут братья, меньшей и старшой,
Едут сутки, и двое, и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб, да большой:

Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей, тяжелой, томленной,
Вот и поднял ее Святогор,
Лег, накрылся и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на божий простор!»

Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул кверху... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба.
Он за меч, — занимается злоба,
Загораются сердце в груди, —

Но и меч не берет: с виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,
Нарастает железная скрепа:
Не подвяться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Кинул биться Илья — божья воля.
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину:
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

23.1.16

СВЯТОЙ ПРОКОПИЙ

Бысть некая зима
Всех зим иных лютейша паче.
Бысть нестерпимый мраз и бурный ветр,
И снег спаде на землю превеликий,
И храмины засыпа, и не токмо
В путех, по и во граде померзаху
Скоты и человецы без числа,
И птицы мертвы падаху на кровли.
Бысть в оны дни:
Святый своим наготствующим телом
От той зимы безмерно пострада.
Единожды он нощию прииде
Ко храминам убогих и хоте
Согреться у них; во, ощутивше
Приход его, ннии затворяху
Дверь перед ним, ннии же его
Бияху и кричаще: — Прочь отсюду.
Отыде прочь, Юроде! — Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,
И ляже посреде их, по бегоша
Те пси его. И возвратися пакн
Святый в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясейся и отчая
Спасение себе. — Благословенно
Господне имя! Пси и человецы —
Единое в свирепстве и уме.

23.1.16

СОН ЕПИСКОПА ИГНАТИЯ РОСТОВСКОГО

Изрину князя из церкви соборныя в полпошь...

Летопись.

Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме,
Из древней усыпальницы княжой,
Шли смерды-мертвецы с дымящими свечами,
Гранитный гроб вели, тяжелый и большой.

Я поднял жезл, я крикнул: «В доме бога
Владыка — я! Презренный род, стоять!»
Они идут... Глаза горят... Их много...
И ни один не обратился вспять.

23.1.16

МАТФЕЙ ПРОЗОРЛИВЫЙ

Матфей

Ночь и могильный мрак пещеры...
Бушует буря на реке,
Шумят леса... Кто это серый
Вход заслоняет вдалеке?
Опять ты, низкий искустель?

Дьявол

Я, прозорливец, снова я!
Черней трубы твоя обитель,
Да ты ведь зорок, как змея,—
Тотчас заметишь!

Матфей

Гнус презренный,
Тебе ль смеяться? Нет лютей
Врага для вас во всей вселенной,
Чем я, низайший из людей.

Дьявол

Ах, прозорливец! Этим людям
Ты враг не менее, чем нам.
Давай уж лучше вместе будем
Ходить за ними по пятам.
Ты мастер зреть их помышленья,
Внедряться в тайну их сердец,
Не вовсе чужд, святой отец,
И я порядочного зренья:

Зачем же бесам враждовать?
Ты разве хуже бес, чем все мы?

М а т ф е й

Молчи, завистливая тать,
Тебе пути мои неведомы.

Д ъ я в о л

Ну да, уж где мне! Ты пророк!
Ты разрушаешь наши козни,
Ты топчешь семя зла и розни,
Ты крепко правишь свой оброк!
Ты и стокий и стоухий!
Спроси тебя: «Ты почему
Исследуешь так жадно тьму?» —
Ты тотчас скажешь: «Там, как мухи,
Как червь на падали, кишат
Исчадия земли и ада —
Я не могу терпеть их смрада,
Я на борьбу спускаюсь в ад».
О непасытная в гордыне
И беспощадная душа!
Нет в мире для тебя святыхи,
Нет заповедного ковша,
Нет сокровенного потока:
Во всех ключах ты воду пил
И все хулил: «Вот в этом ил,
А в том — гниющая осока...»

М а т ф е й

Что отвечать мне твари сей,
Столь непотребной, скудоумпой?
Мой скорбный рок, мой подвиг трудный
Он мерит мерою своею.
И тьма и хлад в моей пещере...
Одежды ветхи... Сплю в гробу...
О боже! Дай опору вере
И укрепи ми на борьбу!

24.1.16

КНЯЗЬ ВСЕСЛАВ

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован
Жребий, по жестокости людской.
Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжьем месте:
Лишь копьем дотропулся Стола.
Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева! — Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем, и церкви, и снега...
Далеко до света, — чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют
Звоны как бы ангельских высот!
В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что года
Горестей, изгнанья! Неземное
Сердцем он запомнил навсегда.

24.1.16

* * *

Мне вечер, молодой, скучен терем был,
Темен свет-ночник, страшен Спасов лик.
Вотчим-батюшка самоцвет укрыл
В кипарисовый дорогой тайник!

А любезный друг далеко, в торгу,
Похваляется для другой коном,
Шубу длинную волочит в снегу,
Светит ей огнем, золотым перстнем.

24.1.16

• • •

Ты, светлая почь, полнолунная высь!
Подайся, засов, — распахнись,
Тлжелая дверь, на морозный простор,
На белый сияющий двор!

Ты, звонкая почь, серебрлунная даль!
Ах, если б не крепкая палъ,
Не ржавый замок, не лихой волкодав,
Не батюшкин ласковый прав!

24.1.16

БОГОМ РАЗЛУЧЕННЫЕ

В ризы черные одели, —
И ее в свой срок отпели,
Юную княжну.
Ангел келью затворил ей,
Старец-схимник подарил ей
Савап, пелену.

Дни идут. Вдали от света
Подвиг скорбного обета
Завершен княжной.
Вот она в соборе, в раке,
При лампадах, в полумраке,
В тишине ночной.

Смутны своды золотые,
Тайно воинства святые

Светят на стенах,
И стоит, у кипарисной
Дивной раки, с рукописной
Книгою, монах.

Синий бархат гробно выпит
Серебром... Она не дышит,
Лик ее сокрыт...
Но бледнеет он, читая,
И скользит слеза, блистая,
Вдоль сухих лавит.

25.1.16

КАДИЛЬНИЦА

В горах Сицилии, в монастыре забытом,
По храму темному, по выщербленным плитам,
В разрушенный алтарь пастух меня привел,
И увидал я там: стоит нагой престол,
А перед ним, в пыли, могильно-золотая,
Давно потухшая, давным-давно пустая,
Лежит надиальница — вся черная внутри
От угля и смолы, плававших в ней когда-то...

Ты, сердце, полное огня и аромата,
Не забывай о ней. До черноты сгори.

25.1.16

* * *

Когда-то, над тяжелой баркой
С широкодонною кормой,
Немало дней в лазури яркой
Качались снасти падо мной...

Пора, пора мне кинуть сушу,
Вздохнуть свободней и полней —
И вновь крестить нагую душу
В купели неба и морей!

25.1.16

ДУРМАН

Дурману девочка паслась,
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко:
Все непонятно, все загадка.
Какой-то звон со всех сторон:

Не видя, видит взор ипое,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной —
И невесомой, бестелесной
Ее довел домой пастух.

Наутро гробик сколотили.
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отвес под мышкой...
Ужели сказочке конец?

30.1.16

СОН

По снежной поляне,
При мглистой и быстрой луне,
В безлюдной, пемой стороне,
Несут меня сани.

Лежу, как мертвец,
Возница мой гонит и вост,
И лик свой то кажет, то кроет
Небесный беглец.

И мчатся олени,
Глубоко и жарко дыша,

В далекие тундры спеша,
И мчатся их тени —

Туда, где ковец
Страны этой бедной, суровой,
Где блещет алмазной подковой
Полярный Венец,—

И мерзлый кочкарник
Визжит и стучит подо мной,
И бог озаряет луной
Снега и кустарник.

30.1.16

ЦИРЦЕЯ

На тревожник богиня садится:
Бледно-рыжее золото кос,
Зелень глаз и аттический нос —
В медном зеркале все отразится.

Тонко бархатом риса покрыт
Нежный лик, розовато-телесный,
Каплей нектара, влагой небесной,
Блещут серьги, скользя вдоль лавит.

И Улисс говорит: «О, Цирцея!
Все прекрасно в тебе: и рука,
Что прически коснулась слегка,
И сияющий локоть, и шея!»

А богиня с улыбкой: «Улисс!
Я горжусь лишь плечами своими
Да пушком апельсинным меж ними,
По спине убегающим вниз!»

31.1.16

На Альпы к сумеркам психодят облака.
 Все мокро, холодно. Зеленая река
 Стремит свой шумный бег по черному ущелью
 К морским крутым волнам, гудящим на песке,
 И зоркие огни краснеют вдалеке,
 Во тьме от Альп и туч, под горной цитаделью.

31.1.16

У ГРОБНИЦЫ ВИРГИЛИЯ

Дикий лавр, и плющ, и розы,
 Дети, тряпки по дворам
 И коричневые козы
 В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
 Моря вольные края...
 Верю — знал ты, умирая,
 Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весной
 Будет смертному дано
 Жить отрадою земною,
 А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
 Теплый ветер... Счастлив я,
 Что моя душа, Virgilий,
 Не моя и не твоя.

31.1.16

* * *

Синие обои полиняли,
Образа, дагерротипы сняли —
Только там остался синий цвет,
Где они висели много лет.

Позабыло сердце, позабыло
Многое, что некогда любило!
Только тех, кого уж больше нет,
Сохранился незабвенный след.

31.1.16

* * *

На поморни далеком,
В поле, ровном и широком,
Белый мак цветет,
И над прихою-девицей
В небе месяц бледнолицый
Светит в свой черед.

А девица нитку сучит,
Сердце сонной грезой мучит
Да глядит вперед,
Где до моря-океана,
До полночного тумана
Белый мак цветет.

1.11.16

* * *

Там не светит солнце, не бывает ночи,
Не восходят зори,
За гранитным полем грозно блещет в очи
Смоляное море.

Над его ли зыбью, под великой тучей,
Мечется зарница,
А на белом камне, на скале горячей —
Дивная орлица:

Плещется крылами, красными, как пламень,
В этом море диком,
Все кого-то кличет и о белый камень
Бьется с лютым криком.

1.II.16

* * *

Лиман песком от моря отделен.
Когда садится солнце за Лиманом,
Песок бывает ярко позлащен.

Он весь в рыбалках. Белым караваном
Стоят они на грани вод, на той,
Откуда веет ветром, океаном.

В лазури неба, ясной и пустой.
Та грань чернеет синью вороненой
Из-за косы песчано-золотой.

И вот я слышу ропот отдаленный:
Навстречу крепкой свежести воды,
Вдыхая ветер, вольный и соленый,

Вдруг зашумели белые ряды
И, стоя, машут длинными крылами...
Земля, земля! Несчетные следы

Я на тебе оставил. Я годами
Блуждал в твоих пустынях и морях.
Я мерил неустанными стопами

Твой всюду дорогой для сердца прах:
Но нет, вовсе не утолю я муки —
Любви к тебе! Как чайки на песках,

Опять вперед я протираю руки.

6.11.16

ЗЕРКАЛО

Темнеет зимний день, спокойствие и мрак
Нисходят на душу — и все, что отражалось,
Что было в зеркале, померкло, потерялось...
Вот так и смерть, да, может быть, вот так.

В могильной темноте одна моя сигара
Краснеет огольком, как дивный самоцвет:
Погаснет и она, развестся и след
Ее душистого и тонкого угара...

Кто это заиграл? Чьи милые персты,
Чьи кольца яркие вдоль клавиш побежали?
Душа моя полна восторга и печали —
Я не боюсь могильной темноты.

10.11.16

МУЛЫ

Под сводом хмурых туч, спокойствием обьятых,—
Ненастный день темнел и ночь была близка,—
Грядой далеких гор, молочно-синеватых,
На грани мертвых вод лежали облака.

Я с острова глядел на море и на тучи,
Оставаясь в пути,— и горный путь, лиясь
В обрыве сизых скал, белел по дикой круче,
Где шли и шли они, под ношею клонясь.

И звук их бубенцов, размеренный, печальный,
Мне говорил о том, что я в страхе чужой,
И душу той страны, глухой, патриархальной,
Далекой для меня, я постигал душой.

Вот так же шли они при Цезарях, при Реме,
И так же день темнел, и вдоль скалистых круч
Лепился городок, сырой, забытый всеми,
И человек скорбел под сводом хмурых туч.

10.11.16

СИРОККО

Гул бури за горой и грохот отдаленных
Полуночных зыбей, бушующих в бреду.
Звон, непрерывный звон кузпечиков бессонных.
И мутный лунный свет в оливковом саду.

Как фосфор, светляки мерцают под ногами;
На тусклом блеске волн, облитых серебром,
Пыряет гробом челя... Господь смешался с нами
И мчит куда-то мир в восторге бредовом.

10.11.16

ПСАЛТИРЬ

Бледно-синий загадочный лик
На увядшие розы поник,

И светильники гроб золотят.
И прозрачно струится их чад.

— Дни мои отошли, отцвели,
Я бездомный и чуждый земли:

Да возрадует дух мой господь,
В свет и жизнь облечет мою плоть!

Если крылья, как птица, возьму,
И низринусь в подземную тьму,

Если горных достигну глубин,—
Всюду ты, и всегда, и один:

Укажи мне прямые пути
И в какую мне тварь низойти.

10.11.16

МИНЬОНА

В горах, от снега побелевших,
Туманно к вечеру синевших,
Тащила на спине осла
Вязанка сучьев почерневших,
А я, в лохмотьях, следом шла.

Вдруг сзади крик — и вижу: сзади
Несется с гулом, полный клади,
На дышле с фонарем, дормез:
Едва метнулась я к ограде,
Как он, мелькнув, уже исчез.

В седых мехах, высок и строен,
Прекрасен, царственно спокоен
Был путешественник... Меня ль,
Босой и нищей, он достоин
И как ему меня не жаль!

Вот сплю в лачуге закопченной,
А он сравнит меня с Мадонной,
С лучом небесного огня,
Он назовет меня Миньоновой
И влюбит целый мир в меня.

12.11.16

В ГОРАХ

Поэзия темпа, в словах не выразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат,
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!»
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

12.11.16

ЛЮДМИЛА

На западе весною под вечер тучи сипи,
Сырой землею пахнет, бальзамом тополей.
Я бросил фортепьяны, пошел гулять в долине,
Среди своих спокойных селений и полей.

Соседский сад сквозится по скатам за рекою,
Еще пустой, весенний, он грустен, как всегда.
Вон голая аллея с заветною скамьею,
Стволы берез поникших белеют в два ряда.

И видел я, как тихо ты по саду бродила,
В весеннем легком платье... Простудисься, дружок!
От тучи сад печален, а ты, моя Людмила?
От нежных дум о счастье? От чых-то милых строк?

Ночной весенний ливень, с каким он шумом хлыву!
Как сладко в черном мраке его земля пила!
Зажгли мне восемь свечек, и я пасьянс раскинул,
И свечки дались блеском в зеркальности стола.

13.11.16

* * *

Стена горы — до небосвода.
Внизу голыш, шумит ручей.
Я напою коня у брода,
Под дымной саклею твоей.

На ледяном Казбеке блещет
Востока розовый огонь.
Бьет по воде, игриво плещет
Копытом легким потный конь.

13.11.16

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

Над чернотой твоих пучин
Горели дивные светила,
И тяжело зыбь твоя ходила.
Взрывая огнь беззвучных мин.

Она глаза слепила нам
И мы бледнели в быстром свете,
И силе-огненные сети
Текли по медленным полям.

И снова, шумен и глубок,
Ты восставал и загорался —
И от звезды к звезде шатался
Великой тростью зыбкий фок.

За валом встречный вал бежал
С дыханьем пламенным муссона,
И хвост алмазный Скорпиона
Над чернотой твоей дрожал.

13.11.16

КОЛИЗЕЙ

Дул теплый ветер. Точно сел
Вечерний сумрак, жук жужжал.
Щербатый остов Колизея
Как чаша подо мной лежал.
Чернели и зияли стены
Вокруг меня. В глазницы их
Синела почь. Пустырь арены
Был в травах, жестких и сухих...
Свет лупный, вечный, неизменный,
Как топкий дым, белел на них.

13.11.16

СТОЙ, СОЛНЦЕ!

Летят, блестят мелькающие спицы,
Тоскую и дрожу,
А все вперед с летящей колесницы,
А все вперед гляжу.

Что впереди? Обрыв, провал, пучина,
Кровавый след зари...
О, если б власть и властный крик Навица:
«Стой, солнце! Стой, замри!»

13.11.16

• • •

Солнце полновечное, тени лиловые
В желтых ухабах тяжелых зыбей.
Солнце не греет — на лица суровые
Падает светом холодных лучей.

Скрылись кресты Соловецкой обители.
Пусто — до полюса. В блеске морском
Легкою мглой убегают святители —
Три мужичка-старичка босиком.

7.IV.16

МОЛОДОСТЬ

В сухом лесу стреляет длинный кнут,
В кустарнике трещат коровы,
И синие подснежники цветут,
И под ногами лист шуршит дубовый.

И ходят дождевые облака,
И свежим ветром в сером поле дует,
И сердце в тайной радости тоскует,
Что жизнь, как степь, пуста и велика.

7.IV.16

УЕЗДНОЕ

Светит, сети тклет паук...
Сумрак, жаркие подушки,
Костяной бегущий стук
Залихватской колотушки.
Светит, меркнет поплавок —
В золотистой паутине
Весь лампадный уголок...
Горячо мне на перине,

Высока моя постель...
Убаюкивает, тая,
Убегающая трель,
Костяная и пустая.

20.VI.16

В О Р Д Е

За степью, в приволжских песках,
Широкое алое солнце тонуло.
Ребенок уснул у тебя на руках,
Ты вышла из душной кибитки, взглянула
На кровь, что в зеркальные соли текла,
На солнце, лежавшее точно на блюде,—
И сладкой отрадой степного, сухого тепла
Подуло в лицо твое, в потные смуглые груди.
Великий был стан за тобой:
Скрипели колеса, верблюды ревели,
Костры, разгораясь, в дыму пламенели
И пыль поднималась багровою тьмой.
Ты, девочка, тихая сердцем и взором,
Ты знала ль в тот вечер, садясь на песок,
Что сонный ребенок, державший твой темный
сосок,
Тот самый Могол, о котором
Во веки веков не забудет земля?
Ты знала ли, Мать, что и я
Восславлю его,— что не надо мне рая,
Христа, Галилеи и лилий ее полевых,
Что я не смиреннее их,—
Атиллы, Тимура, Мамаю,
Что я их достоин, когда,
Наскучил таиться за ложью,
Рву древнюю хартию божью,
Насилую, режу, и граблю, и жгу города?
— Погасла за степью слюда,
Дрожащее солнце в песках потонуло.

Ты скучно в померкшее небо взглянула
И, тихо вздохнувши, опять опустила глаза...
Несметною ратью чернели воза,
В синеющей ночи прохладой и горечью дуло.

27.VI.16

ЦЕЙЛОН

Окраина земли,
Безлюдные пустынные побережья,
До полюса открытый океан...

Матара — форт голландцев. Рвы и стены,
Ворота в них... Тенистая дорога
В кокосовом лесу, среди кокосов —
Лачуги сингалесов... Справа блеск,
Горячий зной сухих песков и моря...

Мыс Дондра в старых пальмах. Тут свежей,
Муссоном сладко тянет, под верандой
Гостиницы на сваях — шум воды:
Она, крутясь, перемывает камни,
Кипит атласной певой...

Дальше — край,
Забытый богом. Джунгли низкорослы,
Холмисты, безграничны. Белой пылью
Спят глаза... Меняют лошадей,
Толпятся дети, нищие... И снова
Глядишь на раскаленное шоссе,
На бухты океана. Пчелоеды,
В зелено-синих перьях, отдыхают
На золотистых витях телеграфа...

Лагуна возле Равны — как сапфир.
Вокруг алеют розами фламинги,

По лужам дремлют буйволы. На них
Стоят, белеют цапли, и с жужжаньем
Сверкают мухи... Сверху, из листвы,
Круглят глаза большие обезьяны...

Затем опять убогое селенье,
Десяток нищих хижин. В океане,
В закатном блеске, — розовые пятна
Недвижных парусов, а сзади, в джунглях, —
Сиреневые горы... Ночью в окна
Глядит луна... А утром, в голубом
И чистом небе — Коршуны Брамипов,
Кофейные, с фарфоровой головкой:
Следят в прибое рыбу...

Вновь дорога:
Лазоревое озеро, в кольце
Из белой соли, заросли и дебри.
Все дико и прекрасно, как в Эдеме:
Торчат шипы акаций, защищая
Узорную нежнейшую листву.
Цветами рдеют кактусы, сереют
Стволы в густых лианах... Как огонь,
Пылают чаши лилии ползучей,
Тьмы мотыльков трепещут... На поляне
Лежит громада бурая: удав...
Вот медленно клубится, уползает...

Встречаются двуколки. Крыши их,
Соломенные, длинно выступают
И спереди и сзади. В круп бычков,
Запряженных в двуколки, тычут палкой:
«Мек, мек!» — кричит погонщик, весь нагой,
С прекрасным черным телом... Вот пески,
Пошли пальмиры, — ходят в синем небе
Их веерные листья — распевают
По джунглям петухи, но тонко, странно,
Как наши молодые... В высоте
Кружат орлы, трепещет зоркий сокол...

В траве перебегают грациозно
Песочники, бескасы... На деревьях
Сидят в вепцах павлины... Вдруг бревном
Промчался крокодил — шлеп в воду,—
И точно порохом взорвало рыбок!

Тут часто слоп встречается: стоит
И дремлет на поляне, на припеке;
Есть леопард,— он лакомка, он жрет,
Когда убьет собаку, только сердце;
Есть кабаны и губачи-медведи;
Есть дикобраз — бежит на водопой,
Подняв щетилу, страшно деловито,
Угрюмо, озабоченно...

Отсюда,
От этих джунглей, этих берегов
До полюса открыто море...

27.VI.16

ОТЛИВ

В кипящей пене валуны,
Волна, блистая, заходила —
Ее уж тянет, тянет Сила
Всходящей за морем луны.

Во тьме кокосовых лесов
Горят стволы, дробятся тени —
Луна глядит — и, в блеске, в пене,
Спешит волна на тайный зов.

И будет час: луна в зенит
Войдет и станет надо мною,
Леса затопит белизною
И мертвый обнажит гранит,

И мир застынет — на весу,
И выйду я один — и буду
Глядеть на каменного Будду,
Сидящего в пустом лесу.

28.VI.16

БОГИНЯ

Навес кумирни, жертвенник в жасмине —
И девственниц склоненных белый ряд.
Тростинки благовонные чадят
Перед хрустальной статуей богини,
Потупившей свой узкий, козий взгляд.

Лес, утро, зной. То зелень изумруда,
То хризолиты светят в хрустале.
На копанном из золота столе
Сидит она спокойная, как Будда,
Пречистая в раю и на земле.

И взгляд ее, загадочный и зыбкий,
Мерцает все бесстрастней и мертвей
Из-под косых приподнятых бровей,
И тонкою недоброю улыбкой
Чуть озарен блестящий лик у ней.

28.VI.16

В ЦИРКЕ

С застывшими в блеске зрачками,
В лазурной пустой вышине,
Упруго, качаясь, толчками
Скользила она по струпе.

И скрипка таинственно пела,
И тысячи изоров впились
Туда, где мердала, шипела
Пустая лазурная высь,

Где некая сжатая сила
Струпу колебала, свистя,
Где тихо над бездной скользила
Наяда, лунатик, дитя.

28.VI.16

СПУТНИЦА

Шелковой юбкой шурша,
Четко стуча каблучками,
Ты выбегаешь дышать
Утром, морскими парами.

Мать еще спит, ты одна...
Палубу моют, смолою,
Темная, пахнет она,
Море — соленою мглою.

Мглистая свежесть кругом
Смешана с золотом жарким
Раннего солнца, с теплом,
С морем цветистым и ярким.

Только что вымытых рук
Крепко и пежно пожатье,
В радостном взгляде — испуг
За башмаки и за платье:

С шваброй разутый матрос
Лезет, не выпавшись, чертом...
Льется, горит купорос,
Сине-лиловый, за бортом...

Ах, но па сердце тоска!
Скоро Афины и скоро
Только кивнешь ты слегка
С полуопущенным взором!

28.VI.16

СВЯТИЛИЩЕ

Сверкала Ступа снежной белизною
Меж тонких и нагих кокосовых стволов,
И Храмовое Дерево от зною
Молочный цвет роняло надо мною
На черный камень жертвенных столов.

Под черепицей низкая вихара
Таила господа в святилище своем,
И я вошел в час солнечного жара
В его приют, принес ему два дара —
Цветы и рис — и посветил огнем:

Покоился он в сумраке пахучем,
Расписан золотом и лаками, пленен
Полдневным сном, блаженным и тягучим;
К его плечам, округлым и могучим.
Вдоль по груди всползал хамелеон:

Горел как ярь, сощуриив глаз кошачий,
Дух горло желтое и плетью опустил
Эмаль хвоста, а лапы раскорячил;
Зубчатый гребень, огненно-горячий,
Был ярче и острее адских пил.

И адскими картинками блистала
Вся задняя стена, — на страх душе земной,
И сухую раскаленного металла
Вихара полутемная дышала —
И вышел я на вольный свет и зной.

И снова сел в двуколку с сипгалесом,
И голый сипгалес, коричневый Адам,
Погнал бычка под веерным навесом
Высоких пальм, сквозным и жарким лесом,
К священым водоемам и прудам.

29.VI.16

ФЕСКА

Мятую красную феску мастер водой окропил,
Кинул на медный горячий болван и, покрывши
Медною феской, формою с ручками, давит,
Крутит за ручки, а красная феска шипит
На раскаленном болване...
Твердая, теплая выйдет из формы ова,
Гордо ваденешь ее и в кофейне
Сидешь мечтать и курить, не стыдись за лохмотья
И за курдюк на верблюжьих штанах, весь в заплатках.
Холодно, сыро, в тумане морской горизонт,
В бухте зеленой качаются голые мачты,
Липкая грязь на базаре,
Горы в свинцовом дыму... Но цветут, розовеют сады,
Мглистые, синие, сладостно дремлют долины...
Женщина, глянь, проходил, сквозь силуэт
шелковый газ
На золотые усы и на твердую красную феску!

30.VI.16

ВЕЧЕРНИЙ ЖУК

На лиловом небе
Желтая луна.
Путается в хлебе
Мрачная струна:

Шорох жесткокрылый —
И дремотный жук
Потянул унылый,
Но спокойный звук.

Я на миг забылся,
Оглянулся — свет
Луны воцарился,
Вечера уж нет:

Лишь луна да небо
Да бледнее льва
Зреющего хлеба
Мертвая страна.

30.VI.16

* * *

Рыжими иголками
Устлан косогор,
Сладко пахнет елками
Жаркий летний бор.

Сядь на эту скользкую
Золотую сушь
С песенкою польскою
Про лесную глушь.

Темнота петлистая
Над тобой висит,
Красное, лучистое,
Солнце чуть сквозит.

Дай твои ленивые
Девичьи уста,
Грусть твоя счастливая,
Песенка проста.

Сладко пахнет елками
Потаенный бор,
Скользкими иголками
Устлан косогор.

30.VI.16

КОНЧИНА СВЯТИТЕЛЯ

И скрылось солнце жаркое в лесах,
И звездная пороша забелела.
И повял он: достигнувший предела,
Исчисленный, он взвешен на весах.

Вот точно дуновение в волосах,
Вот снова сердце пало и сомлело;
Как стынет лес, что миг хладеет тело,
И блещет снегом пропасть в небесах.

В епитрахили, в поручах, с распятем,
От скудного, последнего тепла,
Навстречу чьим-то ледяным объятьям,
Выходит он из темного дупла.

Трава в росе. Болото дымом млечным
Лежит в лесу. Он на коленях. С Вечным.

3.VII.16

РУС Л А Н

Гранитный крест меж сосен, на песчаном
Крутом кургане. Дальше — золотой
Горячий блеск: там море, там, в стеклянном
Просторе вод — мир дивный и пустой...
А крест над кем? Да баяют — над Русланом.

И сходят ваземь с седел псковичи,
Сымают с плеч тяжелые мечи
И преклоняют шлемы пред курганом,
И зоркая сорока под крестом
Качает длинным траурным хвостом,
Вдоль по песку на блеске моря скачет —
И что-то прячет, прячет...

Морской простор — в доспехе золотом.

16.VII.16

• • •

Край без истории... Все лес да лес, болота,
Трясины, заводи в ольхе и тростниках,
В столетних яворах... На дальних облаках —
Заката летнего краса и позолота,
Вокруг тепло и блеск. А на низах уж тень,
Холодный сивый дым... Стою, рублю кремепь.
Курю, стираю пот... Жар стынет — остро, сыро
И пряво пахнет глушь. Невидимого клира
Топчайшие поют и ноют голоса,
Столбом толчется гнус, таинственно и слабо
Свистят в куге ужи... Вот гаснет полоса
Чуть греющих лучей, вот завохтала жаба
В дымящейся воде... Колтунный край древлян,
Русь киевских князей, медледей, лосей, туров,
Полесье боргнянков и черных смолокуров —
И теплых сумерек краснеющий шафран.

16.VII.16

ПЛОТЫ

С востока дует холодом, чернеет зыбь реки
Напротив солнца низкого и плещет на пески.

Проходит зелень бледная, на отмелях кусты,
А ей навстречу — желтые сосновые плоты.

А на плотях, что движутся с громадою реки
Напротив зыби плещущей, орут плотовщяки,

Мужицким пахнет варевом, костры в дыму
трещат —
И рдеет красным заревом на холоде закат.

16.VII.16

Он видел смоль ее волос,
 За ней желтел крутой откос,
 Отвесный берег, а у ног
 Волна катилась па песок,
 И это зыбкое стекло
 Глаза слепило — и текло
 Опять назад... Был тусклый день,
 От пролетавших чаек тень
 Чуть означалась на песке,
 И серебристой пеленой
 Терялось море вдалеке,
 Где небеса туманпл зной;
 Был южный ветер, — горячо
 Ей дуло в голое плечо,
 Скользило жаром по литым
 Ногам, кирпично-золотым,
 С приставшей кое-где ва них
 Перловой мелкой шелухой
 От стертых раковин морских,
 Блестящей, твердой п сухой...
 Он видел очерк головы
 На фоне бледной синева,
 Он видел грудь ее... Но вот
 Накинут пламенный капот
 И легкий газовый платок,
 Босую ногу сжал чувяк, —
 Она идет навсрх, где дрок
 Висит в пыли и рдеет мак,
 Она идет, поднявши пзгляд
 Туда, где в небе голубом
 Встают сиреневым горбом
 Обрывы каменных громад,
 Где под скадистой крутизной
 Сверкает дача белизной
 И смольно-синий кипарис
 Верхушку мягко клонит вниз.

22.VII.16

• • •

Полночный зов степной пустыни,
Покой небес, тепло земли,
И горький мед сухой полыни,
И бледность звездная вдали.

Что слушает моя собака?
Вне жизни мы и вне времен.
Звевший сон степного мрака
Самим собой заворожен.

22.VII.16

ДЕДУШКА В МОЛОДОСТИ

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, падушен,
Меж тем, как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солпцем ветерок
И золотистый свет дробится
В тепи раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поет,

А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

22.VII.16

ИГРОКИ

Опальный стол, огромный. Вдоль по залу
Проходят дамы, слуги — на столе
Огни свечей, горящих в хрустале,
Колеблются. Но скупое внемлет балу,
Гремящему в башкетной, и речам
Мелькающих по залу милых дам
Круг игроков. Все курят. Беглым светом
Блещат огни по жирным аполетам.

Зал, белый весь, прохладен и велик.
Под люстрой тень. Меж золотисто-смуглых
Больших колонн, меж окон полукруглых —
Портретный ряд: вон Павла плоский лик,
Вон шелк и груди важной Катерины,
Вон Александра узкие лосины...
За окнами — старинная Москва
И звездной зимней ночи синева.

Задумчивая женщина прижала
Платок к губам; у мерзлого окна
Сидит она, спокойна и бледна,
Взор устремив на тусклый сумрак зала,
На одного из штатских игроков,
И чувствует он тьму ее зрачков,
Ее очей, недвижных и печальных,
Под топот пар и гром мазурок бальных.

Немолод он и на руке кольцо.
Весь выбритый, худой, костлявый, стройный,
Он мечет зло, со страстью беспокойной.

Вот поднимает желчное лицо,—
Скользит под красновато-черным коком
Лоск костяной па лбу его высоко,—
И говорит: «Ну что же, генерал,
Я, кажется, довольно проиграл? —

Не будет ли? И в картах и в любви
Мне не везет, а вы счастливый муж,
Вас ждет жена...» — «Нет, Стоцкий, почему ж?
Порой и я люблю волнение крови»,—
С усмешкой отвечает генерал.
И длится шtos, и длится светлый бал...
Пред ужипом, в час почи, генерала
Жена домой увозит: «Я устала».

В пустом прохладном зале только дым,
В столовых шумно, говор и расспросы,
Обносят слуги тяжкие подносы,
Князь говорит: «А Стоцкий где? Что с ним?»
Муж и жена — те в темной колымаге,
Спешат домой. Промерзлые сермяги,
В запылевших шапках и лаптях,
Трясутся на передних лошадях.

Москва темпа, глуха, пустынна,— поздно.
Визжат, стучат в ухабах подреза,
Возок скрипит. Она во все глаза
Глядит в стекло — там, в сипей тьме морозной,
Кудрявится деревьев серых мгла
И мелкие блистают купола...
Он хмурится с усмешкой: «Да, вот чудо!
Нет Стоцкому удачи ниоткуда!»

22.VII.16

КОНЬ АФИНЫ-ПАЛЛАДЫ

Запели жрецы, распахнулись врата — восхищенный
Пал на колени народ:
Чудовищный копь, с расписной головой, золоченый,
В солпечном блеске грядет.

Горе тебе, Илион! Многолюдный, могучий, великий,
Горе тебе, Илион!
Решом жрецов и народными кликами дикий
Голос Кассандры — пророческий вопль —
заглушен!

22.VII.16

* * *

Архистратиг средневековый,
Написанный века тому назад
На церковке одноголовой,
Был тонконог, весь в стали и крылат.
Кругом чернел холмистый бор сосновый,
На озере, внизу, стоял посад.
Текли года. Посадские мешаво
К нему ходили на поклон.
Питались тем, чем при царе Ивлне, —
Поставкой в город дравка для икон,
Корыт, латков, — и правил Рыцарь строгий
Работой их, заботой их убогой,
Да хмурил брови тонкие свои
На песни и кулачные бои.
Он говорил всей этой жизни брешной,
Глухой, однообразной, неизменной,
Про дивный мир небесного царя, —
И освещала с грустью сокровенной
Его с заката бледная заря.

23.VII.16

КАНУН

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,

И по хлевам чадит навоз...
Жара, стради... Куда летит
Через усадьбу шалый пес?

На голом остове варка
Почуют старые сыни,
Днем в тополях орут грачи,
По тишина так глубока,
Как будто в мире нет людей...
Мелеет теплая река,
В степи желтеет море ржей...
А он летит — хрипят бока,
И пена льется с языка.

Летит стрелою через двор,
И через сад, и дальше, в степь,
Кровав и мутен лрый взор,
Оскален клык, на шее цепь...
Помилуй бог, спаси Христос,
Сорвался пес, взбесился пес!

Вот рожь горит, зерно течет,
Да кто же будет жать, влзать?
Вот дым валит, пабат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесповатых рать
И, как Мамой, всю Русь пройдет...
Но пусто в мире — кто спасет?
Но бога нет — кому карать?

23.VII.16

ПОСЛЕДНИЙ ШМЕЛЬ

Черпый бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жилье человека
И как будто тоскуешь со мной?

За окном свет и зной, подоконники яркие,
Безмятежны и жарки последние дни,
Полетай, погуди — и в засохшей татарке,
На подушечке красной, усни.

Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля!

26.VII.16

* * *

В яоре, домами сдавленной,
Над грязью стертых плит,
Фоварик, весь заржавленный,
Божницу золотит.

Темна вора, ведущая
Ступеньками к горе,
Груба толпа, бредущая
С поклажею в яоре.

Но всяк тут замедляется
И смотрит, педвижим,
Как Дева озаряется
Фовариком своим.

И кротостью усталые
Полны тогда черты,
И милы Деве алые
Бумажные цветы.

6.VIII.16

* * *

Вот он снова, этот белый
Город турок и болгар,
Небо синее, мечети,
Черепица крыш, базар,
Фески, зелень и бараны
На крюках без головы,
В черных пятнах под засохшим
Серебром нагой плены...
Вот опять трактир знакомый,
Стол без скатерти, прибор
И судок, где перец с солью,
Много крошек, всякий сор...
Я сажусь за стол, как дома,
И засученной рукой,
Волосатой и смуглой,
Подает графин с водой
И тарелку кашкавала
Пожилой хозяин, грек,
Очень черный и серьезный,
Очень храбрый человек...

2.VIII.16

БЛАГОВЕСТИЕ О РОЖДЕНИИ ИСААКА

Они пришли тропинкою лесною,
Когда текла полдневная жара
И в ярком небосклоне предо мною
Кудрявилась зеленая гора.

Я был как дуб у черного шатра,
Я был богат стадами и казною,
Я сладко жил утехою землею,
Но вот пришли: «Встань, Авраам, пора!»

Я отделил для вестников телицу.
Ловя ее, увидел я гробницу,
Пещеру, где оливковая жердь,

Пылая, озаряла двух почивших,
Гроб праотцев, Эдема нас лишивших,
И так сказал: «Рождение чад есть смерть!»

10.VIII.16

• • •

Настанет день — исчезну я,
А в этой комнате пустой
Все то же будет: стол, скамья
Да образ, древний и простой.

И так же будет залетать
Цветная бабочка в шелку,
Порхать, шуршать и трепетать
По голубому потолку.

И так же будет неба дво
Смотреть в открытое окно,
И море равной синевой
Мавить в простор пустынный свой.

10.VIII.16

ПАМЯТИ ДРУГА

Вечерних туч над морем шла гряда,
И золотисто-светлыми столпами
Сняла безграничная вода,
Как небеса лежавшая пред нами.
И ты сказал: «Послушай, где, когда
Я прежде жил? Я странно болен — снами,
Тоской о том, что прежде был я бог...
О, если б вновь обнять весь мир я мог!»

Ты верил, что откликнется мгновению
В моей душе твой бред, твоя тоска,
Как помню я усмешку, неизменно
Твои уста кривившую слегка,
Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепой!

Те радости и муки без причин,
Та сладостная боль соприкасая
Душой со всем живущим, что один
Ты разделял со мною, — нет назавья,
Нет имени для них, — и до седи
Я донесу порывы воссоздания
Своей любви, своих плененных сил...
А ты их вольной смертью погасил.

И прав ли ты, не превозмогший тесной
Судьбы своей и жребия творца,
Лишенного гармонии небесной,
И для чего я мучусь без конца
В стремление вновь дать некий вид телесный
Чертам уж бестелесного лица,
Зачем я этот печер вспоминаю,
Зачем иду ничтожных слов, — не знаю.

12.VIII.16

НА НЕВСКОМ

Колеса мелкий снег взрывали и скрипели,
Два вороных надменно пролетели,
Каретный кузов быстро промелькнул,
Блеснувши гляпцем стекол мерзлых,
Слуга, сидевший с кучером на козлах,
От вихрей голову нагнул,
Поджал губу, синевшую щетивой,
И ветер веял красной пелериной

В орлах на позументе золотом...
Все пропеслось и скрылось за мостом,
В темнеющем буране... Зажигали
Огни в несмежных окнах вокруг меня,
Чернели грубо баржи на канале,
И на мосту, с дыбящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких колских пог,
Дымилась клочья праха слегового...

Я молод был, безвестен, одинок
В чужом мне мире, сложном и огромном.
Всю жизнь я позабыть не мог
Об этом печере бездомном.

27.VIII.16

* * *

Тихой ночью поздний месяц вышел
Из-за черных лип.
Дверь балкона скрипнула, — я слышал
Этот легкий скрип.
В глупой ссоре мы одни не спали,
А для нас, для нас
В темноте аллей цветы дышали
В этот сладкий час.
Нам тогда — тебе шестнадцать было,
Мне семнадцать лет,
Но ты помнишь, как ты отворила
Дверь на лунный свет?
Ты к губам платочек прижимала,
Смокшийся от слез,
Ты, рыдая и дрожа, роняла
Шпильки из полос,
У меня от нежности и боли
Разрывалась грудь...
Если б, друг мой, было в нашей воле
Эту ночь вернуть!

27.VIII.16

ПОМПЕЯ

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпел
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какала фея
В нагих степях, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

28.VIII.16

КАЛАБРИЙСКИЙ ПАСТУХ

Лохмотья, нож — и цвета черной крови
Недвижные глаза...
Сон давних дней на этой древней нови.
Поют дрозды. Пять-шесть овец, коза.

Кругом, в пустыне каменистой,
Желтеет дрок. Вдали руины, храм.
Вдали полдневных гор хребет лазурно мгlistый
И тени облаков по выжженным буграм.

28.VIII.16

КОМПАС

Качка слабых мучит и пьянит.
Круглое окошко поминутно
Гасит, заливая хлябью мутной —
И трепещет, мечется магнит.

Но откуда б, в ветре и тумане,
Не швыряло певой через борт,
Верю — он опять поймает Nord,
Крепко сплю, мотаюсь на диване.

Не собьет с пути меня никто.
Некий Nord моей душою правит,
Он меня в скитаньях не оставит,
Он мне скажет, если что: не то!

28.VIII.16

• • •

Покрывало море свитками
Древней картин своей
Берег с пестрыми кибитками
Забавлявшихся людей.

Вот зима — за туманами
Скрылось солнце. Дик и груб,
Океан гремит органами,
Гулом раковинных труб.

В свисте бури крик мерещится,
И высокая луна
Ночью прыгает и плещется
Там, где мечется волна.

29.VIII.16

АРКАДИЯ

Ключ гремит на дне теснины,
Тень широкая сползла
От горы до половины
Белознойного русла.
Истекают, тают сосны
Разогретою смолой,
И зиждитель скиптроносный
Дышит сладостною мглой.
Пастухи его видали:
Он поконтся в тени,
И раскинуты сандалий
Запыленные ремни.
Золотою скользкой бровей,
Хвоей, устлана гора —
И тяжка от благовоний
Сосен темная жара.

29.VIII.16

КАПРИ

Проносились над островом зимние шквалы и бури
То во мгле и дожде, то в сиянии яркой лазури,
И качались, качались цветы за стеклом,
За окном мастерской, в красных глиняных вазах, —
От дождя на стекле загорались рубины в алмазах
И свежее цветы расцветали на лоне морском.
Ветер в раме свистал, раздувал серый пепел в
камине,
Градом сек по стеклу — и опять были ярки и сини
Средиземные зыби, глядевшие в дом,
А за топким блестящим стеклом,
То на мгле дождей, то на водной сивелшей
пустыне,
В золотой пустоте голубой высоты,
Все качались, качались дышавшие морем цветы.

Провоспелись февральские шквалы. Светлее и жарче
сияли

Африканские дали,
И утихли ветры, зацвели
В каменистых садах миндаля,
Появились туристы в панاماх и белых ботинках
На обрывах, на козлых тропинках —
И к Сицилии, к Греции, к лилиям божьей земли,
К Палестине
Потянуло мепя... И остался лишь пепел в камнях
В опустевшей моей мастерской,
Где всю зиму качались цветы на синеющей пустыне
морской.

30.VIII.16

* * *

Едем бором, черными лесами.
Вот гора, песчаный спуск в долину.
Вечереет. На горе пред нами
Лес щетинит новую вершину.

И темным-темно в той новой чаще,
Где опять скрывается дорога,
И враждебен мой ямщик молчаливый,
И надежда в сердце лишь на бога,

Да на бег коней нетерпеливый,
Да на этот нежный и певучий
Колокольчик, плачущий счастливо,
Что на свете все авось да случай.

9.IX.16

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ

Таает, слетает луна в облаках.
Яблони в белых кудрявых цветах.

Зыбь облаков и мелка и нежна.
Возле луны голубая она.

В холоде голых, прозрачных аллей
Пробует цокать, трещит соловей.

В доме, уж темном, в раскрытом окне,
Девочка косы плетет при луне.

Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.

2.X.16

СРЕДИ ЗВЕЗД

Настала ночь, остыл от звезд песок.
Скользя в песке, я шел за караваном,
И Млечный путь, двоящийся поток,
Белел над ним светящимся туманом.

Он дымчат был, прозрачен и высок.
Он пропадал в горах за Иорданом,
Он ниспадал на сумрачный восток,
К иным звездам, к забытым райским странам.

Скользя в песке, шел за верблюдом я.
Верблюд чернел, его большое тело
На верховом качало ствол ружья.

Седло сухое деревом скрипело,
И верховой кивал, как неживой,
Осыпанной звездами головой.

28.X.16

* * *

Бывает море белое, молочное,
Всем зримый Апокалипсис, когда
Весь мир одно молчанье полночное,
Армады звезд и мертвая вода:

Предвечное, могильное, грозящее
Созвездиями небо — и легко
Дымлящееся жемчугом, лежащее
Всемирной плащаницею млеко.

28.X.16

ПАДУЧАЯ ЗВЕЗДА

Ночью, звездной и студеной,
В тонком сумраке полей —
Ослепительно-зслепый
Разрывающийся змей.

О, какая ярость злая!
Точно дьявол в древний миг
Низвергается, пылая,
От тебя, Архистратиг.

30.X.16

• • •

Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий.
Море плавится в заливе драгоценной синевой.
Вниз бегу. Обрыв за мною против солнца желтый.

яркий,
А холмистое побережье блестит высохшей травой.

Вниз сбегавши, отдыхаю. И лежу, и слышу, лежа,
Несказанное безмолвье. Лишь кузнечики сипят
Да печет нещадно солище. И горит, чернеет кожа,
Сонным хмелем входит в тело огненной полдневный яд.

Вспоминаю летний полдень, небо светлое... В просторе
Света, воздуха и зноя, стройно, молодо, легко
Ты выходишь из кабинки. Под тобою, в сваях, море,
Под ногой горячий мостик... Этот полдень далеко...

Вот опять я молод, волен,— миновало наше лето...
Мотыльки горячим роем осыпают предо мной
Пересохшие бурьяны. И раскрыта и нагрета
Опустевшая кабинка... В мире радость, свет и зной.

30.X.16

ПОЭТЕССА

Большая муфта, бледная щека,
Прижатая к пей томию и любовию,
Углом колени, узкая рука...
Нервная, притворная и бескровная.

Все принца ждет, которого все лет,
Глядит с мольбою, горестно и смутно:
«Пучок, прочтите новый триолет...»
Скучная, бесполой и распутная.

<3.I.16>

ЗАКЛИНАНИЕ

Из топкигорлого фиала
Я золотое масло лью
На арабийскую жаровню,
На жертву тайную мою:

«Приди ко мне, замороженной!
Приди к невенчанной жене,
Супруг невенчанной, сраженный
Стрелой в неведомой стране!»

И угли вспыхивают длинным
Зеленым пламенем — и дым,
Лазурный, теплый и угарный,
По бедрам стелется нагим.

И лоб мой стынет, каменеет,
Глаза мутятся, сердце ввысь
Томительная сила тянет,
И груди остро поднялись:

Я предаюсь Тебе, я чую
Твой аромат и паготу
И на предплечьях золотые
Браслеты и ледяном поту!

<26.1.16>

МОЛОДОЙ КОРОЛЬ

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горю —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Гроном гремит далеким.

— Ваша королевская милость. —
Говорит королю Елена,
А король на коня садится.
Пробует, крепки ль подпруги,
И лица Елены не видит, —
Ваша королевская милость.
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко.

Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость. —
Говорит королю Елена, —
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте,
Жениха моего пошлите!

Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас почевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою почевали,
На мое великое счастье.
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут —
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет,
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Ворошеную черноту почвы,
Мокрые соломенные крыши,
Петухи поют по деревне, —
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты.

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма.

<Не позднее февраля 1916>

КОБЫЛИЦА

Я снял узду, седло — и вольпо
Она метнулась от меня,
А я склонился богомольно
Пред солнцем гаснущего дня.

Она взмахнула легкой гривой
И, поздри к ветру обратив.
С тоскою нежной и счастливой
Кому-то страстный шлет призыв.

Едины божи создання,
Благословен создавший их
И совместивший все желанья
И все томления — в моих.

<3.II.16>

НА ИСХОДЕ

Ходили в мире лже-Мессии, —
Я не прельстился, угадал,
Что блуд и срам их в литургии
И речь — бряцающий кимвал.

Своекорыстные пророки,
Лжецы и скудные умы!
Звезда, что будет на востоке,
Еще среди глубокой тьмы.

Но на исходе сроки ваши:
Вновь проклят старый мир — и вновь
Пьет сатана из полвой чаши
Идоложертвенную кровь!

<6.II.16>

ГАДАНИЕ

Гадать? Ну что же, я послушна,
Давай очки, подлинь огонь...
— Ах, как нежна и простодушна
Твоя открытая ладонь!

Но ты потупилась, смущаясь?
В лице румянца ни следа,
В ресницах слезы? — Не беда:
Бледнеют розы, раскрываясь.

<10.V.16>

ЭЛЛАДА

Меж островов Архипелага
Есть славный остров. Он пустой,
В нем есть подобье саркофага.
Сиял рассвет, туман с водой
Мешался в бездны голубые,
Когда увидел я впервые
В тумане, в ладане густом,
Его алевшую громаду, —
В гробу почившую Элладу, —
На небе яспо-золотом.
Из-за нее, в горячем блеске,
Уже сиял лучистый бог,
И пикий эллин в грязной феске
Спал на корме у наших ног.

<16.VII.16>

РАБЫНЯ

Странно создав человек!
Оттого что ты рабыня,
Оттого что ты без страха
Отскочила от поэта
И со смехом диск зеркальный
Подпесла к его морщинам, —
С влдеей жаждой пожеленья
Смотрит он, как ты прижалась,
Вся вперед подавшись, в угол,

Как под желтым шелком остро
Встали маленькие груди,
Как сияет смуглый локоть,
Как смолисто пали кудри
Вдоль ливийского лица,
На котором черным солнцем
Светят радостно и знойно
Африканские глаза.

<1916>

СТАРАЯ ЯБЛОНЯ

Вся в снегу, кудрявом, благоуханном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчел и ос, завистливых и злых...

Старисься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!

<1916>

ГРОТ

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала
Подпожние скалы,— качался водный сплав,
Горбами шел к скале,— волна росла, сосала
Ее кровавый мох, медлительно вползала
В отверстие грота, как удав,—
И вдруг темнел, переполнялся бурным,
Греющим шумом звучный грот
И вспыхивал таким лазурным
Огнем его скалистый свод,
Что с криком ужаса и смехом
Кидался в сумрак дальних вод,
Будя орган пещер тысячекратным эхом,
Наяд пугливый хоровод.

<1916>

ГОЛУБЬ

Белый голубь летит через море,
Через сине-зеленое море.
Белый голубь Киприды завидел,
Что стоишь ты на жарком песке,
Что кипит белоспешная пена
По твоим загорелым ногам,
Он пернатой стрелою несется
Из-за поля, где гридой голубою
Тают в солнечной мгле острова,
Долетев, упадает в восторге
На тугие холодные груди,
Орошенные пылью морской,
Трепеща, он уста твои ищет,
А горячее солнце выходит
Из прозрачного облака, зноем,
Точно маслом, тебя обливает —
И Киприда с божественным смехом
Обнимает тебя выше бедр.

<1916>

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес:
Ночной порой из сумрачной ложины
Въезжаю на отлогий косогор
И вижу заалевшие вершины,
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром.
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас, — недаром
Вчера был сход! И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий, лепет в вышине.
Такой дремотно-сладкий и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне.

27.VI.17

УКОРЫ

Море с голой степью говорило:
«Это ты меня солопчаками
И полынью горькой отравила,
Жарко дуя жесткими песками!

Я ли не господяля криница?
Да не пьет ни дикий зверь, ни птица
Из волны моей солоно-жгучей,
Где остался твой песок летучий!»

Отвечает степь морской пустыне:
«Не по мне ли, море, ты ходило,
Не по мне ли, в кипени и сниви,
За волной волну свою катило?

Я ли виновата, что осталась,
В час, когда со мной ты расставалось,
Белой солью кипень снеговая,
Голубой полынью синь живая?»

11.VIII.17

ЗМЕЯ

Запелестела тонкая трава,
Струюю темной побежала —
И вдруг извилась и смотрит цифра 2,
Как волосок, трепещет жало...

Исчадие, проклятое в раю,
Какое наслаждение расплющить
Головку копьевидную твою,
Твой лик раскосый и зовущий!

26.VIII.17

* * *

Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны,
Черный ряд кипарисов в квадрате высокой степи,
Белизна мавзолеев, блестящих на солнце кругом,
Зимний холод мистралья, пригретый весенним теплом,
Шум и свежесть валов, что, как сосны, шумят за
стенной,
И небес гиацинт в снеговых облаках надо мной.

29.VIII.17

* * *

Как много звезд на тусклой синеве!
Весь небосклон в их траурном уборе.
Степь выжжена. Густая пыль в траве.
Чернеет сад. За ним — обрывы, море.
Оно молчит. Весь мир молчит — затем,
Что в мире бог, а бог от века нем.

Сажусь на камень теплого балкона.
Он озарен могильно, — бледный свет
Разлит от звезд. Не слышно даже злона
Ночных цикад... Да, в мире жизни нет.
Есть только бог над горными огнями,
Есть только он, несметный, ветхий дьявол.

29.VIII.17

* * *

Вид на залив из садика таперны.
В простом вине, что пил я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серпый —
И розоватый цвет.

Пью под дождем, — весна здесь прихотлива,
Миндаль цветет на Капри в холода, —
И смутно в синеватой мгле залива
Далекие белеют города.

10.IX.17

* * *

Роняя снег, проходят тучи,
И солнце резко золотит
Умбрийских гор нагие кручи,
Сухой кустарник и гранит.

И часто в тучах за горами
Обрывки радуги цветут —
Святые нимбы над главами
Авахоретов, живших тут.

12.IX.17

ЛУНА

Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая.
Тогда велит господь, творящий чудеса,
Светилу новому взойти на небеса.

— Сняй, сияй, Луна, все выше поднимая
Свой, Солящем давний лик. Да будет миру весть,
Что День мой догорел, но след мой в мире —
есть.

15.IX.17

У ворот Сиона, над Кедронем,
На бугре, ветрами обожженном,
Там, где тень бывает от стены,
Сел я как-то рядом с прокаженным,
Евшим зерна спелой белены.

Он дышал невыразимым смрадом,
Он, безумный, отравлялся ядом,
А меж тем, с улыбкой па губах,
Поводил кругом блаженным взглядом,
Бормоча: «Благословен аллах!»

Боже милосердый, для чего ты
Дал нам страсти, думы и заботы,
Жажду дела, славы и утех?
Радостны калеки, идиоты,
Прокаженный радостнее всех.

16.IX.17

ЭПИТАФИЯ

На земле ты была точно дивная райская птица
На ветвях кипариса, среди золоченых гробниц.
Юный голос звучал, как в полуденной роще цевница,
И лучистые солнца сияли из черных ресниц.

Рок отметил тебл. На земле ты была не жилища.
Красота лишь в Эдеме не знает запретных границ.

19.IX.17

ВОСПОМИНАНИЕ

Золотыми цветут острилми
У кровати полночные свечи.
За открытым окном, в черной яме,
Шепчет сад беспокойные речи.

Эта тьма, дождевая, сырая,
Веет в горницу свежим дыханьем —
И цветы, золотясь, выросли,
На лазурном дрожат основанье.

Засыпаю в постели прохладной,
Очарован их дрожью растущей,
Молодой, беззаботный, с отрадной
Думой-песней о песне грядущей.

19.IX.17

ВОЛНЫ

Смотрит на море старый Султан
Из серала, из окон Дивана:
В море — пенистых волн караван,
Слышен говор и гул каравана:

«Мы зеленые, в белых чалмах,
Мы к Стамбулу спешим издалека, —
Мы сподобились зреть, падишах,
И пустыню и город пророка!»

Понимает укоры Султан
И склоняет печальные вежды...
За тюбанаом белеет тюбан,
И зеленые пеют одежды.

19.IX.17

ЛАНДЫШ

В голых рощах вял холод...
Ты светился меж сухих.
Мертвых листьев... Я был молод,
Я слагал свой первый стих —

И навеки сроднился с чистой
Молодой моей душой
Влажно-свежий, водянистый,
Кисловатый запах твой!

19.IX.17

СВЕТ НЕЗАКАТНЫЙ

Там, в полях, на погосте,
В роде старых берез,
Не могилы, не кости —
Царство радостных грез.
Летний ветер мотает
Зелень липпых ветвей —
И ко мне долетает
Свет улыбки твоей.
Не плита, не распятие —
Преде мной до сих пор
Институтское платье
И сияющий взор.
Разве ты одинока?
Разве ты не со мной
В нашем прошлом, далеком,
Где и я был иной?
В мире круга земного,
Настоящего дня,
Молодого, бывшего
Нет давно и меня!

24.IX.17

* * *

О радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий желтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят.

О радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, господи, что ты
Вернешь к потерявшему раю
Мои томленья и мечты!

24.IX.17

* * *

Стали дымом, стали выше
Облака,— лазурь сквозит
И на шиферные крыши
Голубой водой скользит.

Что с того, что крыши стары
И весенний воздух сыр!
Даже запахом сигары
Снова сладок божий мир.

27.IX.17

* * *

Ранний, чуть видный рассвет,
Сердце шестнадцати лет.

Сада дремотная мгла
Липовым цветом тепла.

Тих и таинственен дом
С крайним заветным окном.

Штора в окне, а за ней
Солнце вселенной моей.

27.IX.17

* * *

Смятение, крик и визг рыбалок
На сальной, радужной волне...
Да, мир живых и зол и жалок,
И в нем порою тяжко мне.

Вот — сколько ярости бессильной,
Чтоб растащить тугой моток
Кишки зеленовато-мыльной,
Что пароходный бросил кок!

28.IX.17

* * *

Мы рядом шли, но на меня
Уже взглянуть ты не решалась,
И в ветре мартовского дья
Пустая наша речь терялась.

Белели стужей облака
Сквозь сад, где падали капли,
Бледна была твоя щека,
И как цветы глаза сипели.

Уже полураскрытых уст
Я избегал касаться взглядом,
Но был еще блаженно пуст
Тот дивный мир, где шли мы рядом.

28.IX.17

* * *

Белые круглятся облака,
Небо в них сгущается, чернея...
Как песной стройна и высока
В этом небе мраморном аллея!

Серый ствол на солнце позлащен,
А вершины встали сизым дымом...
Помню, помню: жаркий день под Римом,
Мраморный апрельский небосклон...

29.IX.17

* * *

Мы сели у печки в прихожей,
Одни, при угасшем огне,
В старинном заброшенном доме,
В степной и глухой стороне.

Жар в печке угрюмо краснеет,
В холодной прихожей темно,
И сумерки, с ночью мешаясь,
Могильно синеют в окно.

Ночь — долгая, хмурая, волчья,
Кругом все снега и снега,
А в доме лишь мы да иконы
Да жуткая близость врага.

Презренного, дикого нека
Свидетелем быть мне дано,
И в сердце моем так могильно,
Как мерзлое это окно.

30.IX.17

* * *

Сорвался вихрь, промчал из края в край
По рощам пальм кипящий ливень дымом —
И снова солнце в блеске нестерпимом
Ударило на зеленые мокрых вай.

И туча, против солнца смоляная,
Над рощами издвигалась как стена,
И радуга горит на ней цветная,
Как вход в Эдем роскошна и страшна.

1.X.17

• • •

Осенний день. Степь, балка и корыто.
Рогатый вол, большой соловый бык,
Скользнув в грязи и раздвоив копыто,
К воде поздрями влажными припик:

Сосет и смотрит светлыми глазами,
Закинув хвост на свой костлявый зад,
Как вдоль бугра, в пустой небесный скат,
Бредут хохлы за тяжкими возами,

1.X.17

• • •

Щеглы, их звон, стеклянный, неживой,
И клен над облетевшею листвою,
На пустоте лазоревой и чистой,
Уже весь голый, легкий и ветвистый...
О, мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листею? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон, и этот звон,
И темный смысл, которым полон он,
Вместить в созвучия и звуки?
Я должен взять — и, разгадав, отдать,
Мне кто-то должен сострадать,
Что пригревает солнце низким светом
Меня в саду, просторном и раздетом,
Что озаряет желтая листва
Ветвистый клен, что я едва-едва,
Бродя в восторге по саду пустому,
Мою тоску даю понять другому...
— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем, — пусть в моей тетради

Останется хоть память вместе с ним
Об этом светлом вертограде
С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над кленом
Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мертвым звоном!

3.X.17

• • •

Этой краткой жизни вечным измененьем
Буду неустанно утешаться я,—
Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,
В свежем парке листьев медленным паденьем
И тобой, знакомая, старая скамья.

Будущим портам, для меня безвестным,
Бог оставит тайну — память обо мне:
Стану их мечтами, стану бестелесным,
Смерти недоступным, — призраком чудесным
В этом парке розовом, в этой тишине.

10.X.17

• • •

Как в апреле по почам в аллее,
И все тоньше верхних сучьев дым,
И все легче, ближе и виднее
Поблудневший небосклон за ним.

Этот верх в созвездьях, в их узорах,
Дымчатый, воздушный и сквозной,
Этих листьев под ногами шорох,
Эта грусть — все то же, что весной.

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами —
И опять, опять чего-то жду.

10.X.17

* * *

Звезда дрожит среди вселенной...
Чьи руки дивные несут
Какой-то влагой драгоценной
Столь переполненный сосуд?

Звездой пылающей, потиром
Земных скорбей, небесных слез
Зачем, о господи, над миром
Ты бытие мое вознес?

22.X.17

ВОСХОД ЛУНЫ

В чаще шорох потасовный,
Дуновение тепла.
Тополь, сверху озаренный,
Перед домом вознесенный,
Весь из жидкого стекла.

В чашу темную глядится
Круг зеркально-золотой.
Тополь льется, серебрится,
Весь трепещет и струится
Стекловидною водой.

<3.X.17>

В пустом, сквозном чертоге сада
Иду, шумя сухой листвой:
Какая странная отрада
Былое попираť ногой!
Какая сладость все, что прежде
Ценил так мало, вспоминать!
Какая боль и грусть — в надежде
Еще одну песню узнать!

<3.X.17>

**СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ
И. А. БУНИНЫМ
В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

НАД МОГИЛОЙ С. Я. НАДСОНА

Угас поэт в расцвете силы,
Заснул безвременно певец;
Смерть сорвала с него венец
И унесла под свод могилы.
В Крыму, где ярки неба своды,
Он молодые кончил годы,
И скрылись в урне гробовой
Его талант могучий, сильный,
И жар души любвеобильной,
И сны поэзии святой!..

Он мало жил, но благородно
Служил искусству с детских лет;
Он был поэт, душой поэт,
А не притворный, не холодный;
Могучей силой песнопенья
Он оживлял мечты свои;
В нем сердце билось вдохновеньем
И страстью искренней любви!
Корысть и ненависть глубоко
Он благородно презирал...
И, может быть, удел высокий
Его в сей жизни ожидал!..

Но ангел смерти быстрокрылый
Его уста оледенил,
И камень с надписью унылой
Его холодный труп сокрыл.

Умолк поэт... Но вечно будет
Он жить в предаших премец,
И долго, долго не забудет
Отчизна лиры его звон!

Опа должна теперь цвeтами
Гробницу юноши повить
И непритворными слезами
Его могилу оросить!

«Спи ж тихим сном!» — скажу с тоскою
И я, вплетая лепесток
Своей неопытной рукою
В надгробный лавровый венок.

<1887>

ИЗ «ВЕЧЕРНИХ ДУМ»

Отчего так печальна природа?
Отчего грустен вечер?

Гляди:

За далекой тропинкой по жнивью
Ничего не видать впереди.

Далеко на пространстве безлесном
Темный вечер безмолвно лежит;
Только там, на краю горизонта,
Силуэты чуть видны ракит;

Да под меркнувшим светом заката,
Разостлавшись над полем немым,
Пыль, подпятая чьей-то телегой,
Неподвижно стоит, словно дым...

Я один... И опять мое сердце
Непонятною грустью полно.
Оттого ль, что так вечер безмолвен,
Оттого ли, что в поле темно?

Оттого ли, что грусть этой ночи
Веет чем-то знакомым, родным, —
Тишиною родимой деревни
И безлюдьем степным?

<1891>

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Отрывки из дневника

...Сегодня в первый раз один брожу в аллее...
Сегодня и первый раз подумать мне пришлось,
Что счастье наших дней и светлые мгновенья
Мы не умели, может быть, ценить...

Все медленно, безмолвно увядает...
Лес пожелтел, редет с каждым днем;
Не так теперь таинственны тропинки,
Не так тенисты в светлый день поляны;
Высокий клен и легок и прозрачен,
Широкий дуб, как бронзовый, стоит,
И ниже и светлее мелколесье...
Открыты волчьи лазы по чащам
В глухих лесных оврагах и лощинах,
И по ночам мне кажется, что там
При шуме ветра, в черной мгле осенней,
Сверкают волчьи очи, словно свечи...

Но нет! Теперь еще не так печально, —
Настанут дни суровой и темней.
Когда во мгле рассвет белеет еле-еле,
Стоит туман холодный по низам
И лес в молчанье мертвом неподвижен...
Теперь еще пролетных птиц кагалы
У нас садятся отдыхать зарей,
Теперь еще порою дни теплеют, —
Проглянет солнце, озарит чащи,
Пригрет листья, мягкие, сырые,
Глядишь — и лес опять повеселеет!

Затихнет весь — ни пороха, ни звука;
Сквозь сучья обнаженные дубов,
Сквозь кленовые листья золотые
Белеет мирно ласковое небо...

Люблю тогда бродить я и вдыхать
Разлитый тонко аромат осенний.
Уйду за лес, на гору, за опушку,
Гляжу, как предо мной осенний лес пестрест,
А на полях и живьях золотых
Чуть-чуть туман синеет неподвижный...

Минувшая весна, минувшая любовь,
Тогда вдвойне милей и поэтичней
Мне кажутся... Как будто даль зовет
И тихую печаль мне навевает...
И долго я стою, безмолвием объятый,
И долго предо мной безмолвствуют поля,
И теплый, светлый день, и редкий лес пахучий.

<1891>

* * *

Пустынные поля, пейзажи деревень,
Синеющих вдали задумчиво-безмолвно,
Прохладный небосклон и этот серый день —
Все для меня теперь какой-то грусти полно.

Но эта грусть меня и греет, и живит,
И силу творчества как будто пробуждает,
Как будто прежнюю любовь напоминает
И про какую-то разлуку говорит...

Внимательно слежу, как золотом пестреют
В лощинах и в полях дубовые леса,
Как с каждым днем бледнеют небеса
И живья желтые и сохнут, и пустеют,

И для меня вдвойне повялней и родней
Печаль и красота последних дней свободы,
Поэзия немой, задумчивой природы,
Поэзия пустеющих полей.

<1891>

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.
Ярким пурпуром зажглись
Пред закатом небеса.

Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.

И сегодня пад широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.

<1891>

БУРЯ

Истомлена полдневным зноем,
В немой тоске земля ждала,
Чтоб ночь прохладой и покоем
Хоть миг забвения дала...

Но ярко день пылал в лазури...
И вот — в затишье гробовом —
В морской дали восстала буря,
Бледнея в гнев роковом!
И, вспыхнув, взор ее орлиный

От зпойной страсти потемнел,
И ветер сразу налетел,
Промчался морем, зыбью длинной,
И в горных соснах все грозней
Завыл в безумье горделивом...

О, не страшись его,— смелей
Грудь распахни его порывам!
Смотри, как страшно мрак возрос,
Как сразу холодом пахнуло,
Как волны бьются об утес,
Как дико стонет альбатрос,
Как весел он средь тьмы и гула!..

<1895>

В ТЕМНУЮ НОЧЬ

Холодные, темные ночи стоят;
И ветер и сырость в туманной долине,—
Ни света, ни звука... На черной вершине
Леса обнаженные глухо шумит...

Но здесь так уютно,— все с детства знакомо,
Все дышит покоем и веет теплом...
И долгую ночь мы с тобой проведем
Под кровлей родной деревенского дома!

Прочтем позабытые песни свои,
Где все так прекрасно и молодо было,
Где каждая строчка навек сохранила
И радость и горе далекой любви;

Вспомним о пей, ни единым упреком
Не тропем того, что навеки прошло —
И будет на сердце тепло и светло
В ненастную полночь, во мраке глубоком!

<1895>

О да, от злобы я молчу...
Стою, как вищий, у дороги
И жду, исполненный тревоги...
Но подаянья не хочу...

Я жду хоть ласкового слова,
Хоть только нескольких минут
Любви, забвенья молодого...
Душа болит... А дни идут!..

<1898>

НА ХУТОРЕ

Опять кругом печалью веет...
Уж пал зазимок на поля,
И в черных пашнях снег белеет,
Как будто в трауре земля.

Глубоким сном среди ложины
Деревни спит... Ноябрь идет,
Пруд застывает, — и с плотины
Листва поблекшая лозины
Уныло сыплется на лед.

Вот день; но скупое над землею
Сияет солнце; поглядит
Из-за бугра оно зарею
Сквозь сучья черные раkit,

Пригреет кроткими лучами —
И вновь потонет в облаках...
А ветер жидкими тенями
В саду играет под ветвями,
Сухой травой шуршит в кустах...

Но мил ты мне, мой хутор бедный,
Мой невеселый край родной,
Твоею глушью запоедной,
Твоею грустною красой!

Как с другом юности далекой,
С тобою будет легче мне
И сумрак осени глубокой,
И холод ночи одинокой
В угрюмой зимней тишине.

<1898>

У ЗАЛИВА

Над морем дремлют, зеленеют
Меж скал цветущие сады.
Лучи полдневные их греют,
Им слышен тихий плеск воды.

Здесь даже зимнею порою
Среди и лавров и олив,
Под неприступною горою
Стоит, как зеркало, залив.

В затишье расцветают розы,
И кипарис в полдневный зной
Внимает, погруженный в грезы,
Как говорит волна с волной,

И смотрит вдаль, где, утопая
В лазурном море, паруса
На солнце искрятся, сверкают,
И точно манят в небеса.

<1901>

В ЛЕСУ

Тропинкой темною лесною,
Где колокольчики цветут,
Под тенью легкой и сквозною
Меня кустарники ведут.

Здесь полусвет и запах пряный
Сухой листвы, а вдалеке
Лес расступается поляной
К долине мирной и реке.

Садится солнце, даль синееет,
Кукушка стонет, а река
Уже от запада алеет
И отражает облака.

Вокруг меня деревья стройно
Уходят к ясной пышине,
И сердце радостью спокойной
Полно в вечерней тишине.

Пора и горе, и несчастье,
И зиму темную забыть,—
Одно есть только в мире счастье —
Весь божий свет душой любить!

<1901>

ЗВЕЗДА МОРЕЙ

Я в бездне был, я жил кошмаром,
Скитаясь по волнам три дня.
Порой закат пылал пожаром —
И красный бред томил меня.

Порой слепила тьма немая —
И я качался в искрах звезд,

Качался в бездне, обнимал
Обломок рен, точно крест.

Вдруг — словно пламя на закате...
Ужели смерть? — Но на полне
Звезда Морей в огне и злате
Восстала — и предстала мне.

И ниц упал я, ослепленный,
Восторгом жизни потрясен —
И чей-то голос отдаленный
Прорезал мрак: «Спасен! спасен!»

<1901>

ГОРНЫЙ ПУТЬ К МОРЮ

Отрывок

Весенний день синее в вышине,
А в сумраке ущелья снег таится
И в холоде, в глубокой тишине,
Под соснами на камнях серебрится.
Весенний ключ, прозрачный, как кристалл,
Журчит и звонко каплет между скал,
И широко и вольно веет влага
Из мокрого скалистого оврага...

Вдали, в окно его теснины,
Я вижу море. Здесь и тень
И свежесть каменной лощины,
А там весенний ясный день,
Залив, лесистые долины
И голубых небес простор...
Иду, — утесы расступились,
Тепло и свет, — окрестных гор
Хребты лиловые открылись;
Крепкий путь сбегает в лес, —
Ведет он в чащи на обрывах, —

И между сучьями, в извивах,
Синеет глубина небес...

Как тихо здесь, в тени узорной!
Как хороши и томны в ней,
Среди листвы сухой и черной,
Глаза фиалок у корней!
Взгляну на горы — там высоко
Меж скал ущелье подвнялось
И в синее пятно слилось;
Взгляну в долины — там широко
В заливе море разрослось
И меж лесных стволов сияет...
А солнце мягко прогревает,
Лепечут птицы в тишине,
И в темном свете, в полусне,
Весь лес как будто замирает
И сладко грезит о весне!

<1902>

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Я уснул в грозу, среди ненастья,
Безнадежной скорбью истомлен...
Я проснулся от улыбки счастья...
О, как был я зол и неумен!

Облака бегут — и все теплее,
Все лазурней светит летний день.
На сырой, лютый песок в аллее
Льют березы трепетную тень.

Вет легкий, чистый ветер с поля,
Сердце бьется счастьем юных сил...
О, мечты! о, молодая воля!
Как я прежде мало вас ценил!

<1902>

ПРИ СВЕЧЕ

Голубое основание,
Золотое острие...
Вспоминаю зимний вечер,
Детство раннее мое.

Заслонив свечу рукою,
Снова вижу, как во мне
Жизнь рубиновой кровью
Нежно светит на огне.

Голубое основание,
Золотое острие...
Сердцем помню только детство:
Все другое — не мое.

<VIII.06>

СТАЛЬ

Бью звонкой сталью по кремню,
Сухие искры рассыпая.
Грозит, мигает ночь слепая,
Но я себе не изменю.
Он гаснет, слишком сгнивший трут,
Но ты секи, секи огнем:
Будь в заблуждении счастливым,
Что эти искры не умрут.
Придет, настанет ли мой день?
Но блещет свет над мертвой гнилью,
Сталь золотою сыплет пылью,
И крепок звонкий мой кремень.

<1909>

В АРАБСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Если почью лечь на теплой крыше,
Старой пальмы путаный вихор
Зачернеет в небе, станет выше,
По звездам раскинет свой узор.

А посмотришь в сторону Синая,
Под луну, к востоку — там всегда
Даль пустыни точно золотая
На песках разлитая вода.

Сладкие мечты даешь ты, боже!
Кто не думал, глядя в лунный свет,
Что тайком придет к нему на ложе
Девушка четырнадцати лет!

2.IX.15, Глогово

СЕ ЖЕНИХ ГРЯДЕТ...

В сосудах, тонких и прозрачных,
Сквозит елей, огни горят.
Жених идет в одеждах брачных,
Невеста долу клонит взгляд.

И льется трепет серебристый
На лица радостные их:
— Благословенный и пречистый!
Взойди в приют рабынь твоих!

2.IX.15

• • •

Лик прекрасный и бескровный,
Смоляная борода,
Взор архангельский, церковный,
Вязь тюбана в три ряда.

Плечи круты и покаты,
Вышит золотом халат,—
Точно старые дукаты
На шелку его лежат.

Шалью, ярко расцвеченной,
Подпоясан ладный стан,
На поге сухой, точелой
Малахитовый сафьян.

Наклоняясь вместе с баркой,
На корме сидит весь день.
А жена в каюте жаркой
С черной нянькой делит лень.

Он глядит на белый парус
Да читает суры вслух,
А жена сквозь тонкий гарус
С потных губ сдувает мух.

<12.IX.15>

НЕВЕСТА

Косоглазая девушка, пожки скрестив,
На циновке сидит глянцевиной.
В зимнем солнце есть теплый, явтарный отлив,
Но свежо на веранде раскрытой.
А свежо не от тех ли снегов,
Что в лазурь вознесла Хираями?
Не от тех ли молочных, тугих лепестков,
Что покрыли весь жертвенник в храме?
Не от этих ли зыбких, медлительных рей,
Что в заливе, за голым платаном?
Не от тех ли далеких морей,
Где жених первый раз капитаном?

12.IX.15
Глаголо

ПО ТЕЧЕНИЮ

«Девушка, что ты чертила
Зонтиком в светлой реке?»
Девушка зонтик раскрыла
И прилегла в челноке.

«Любит — не любит...» Но просит
Сердце любви, как цветок...
Тихо течение уносит
Зонтик и белый челнок.

11.11.16

НА НУБИЙСКОМ БАЗАРЕ

Она черна, и блещет скат
Ее плечей, и блещут груди:
Так два тугих плода лежат
На крепко выкованном блюде.

Пылит песок, дымит котел,
Кричат купцы, теснятся в давке
Верблюды, вишне, ослы —
Они с утра стоят у лавки.

Жует медлительно тростник,
Косясь на груды пестрых тканей,
Зубами светит... А язык —
Лилово-бледный, обезьяний.

13.11.16

ВЕНЧИК

Колокола переводили,
Кадили на раскрытый гроб
И венчик розовый лепили
На костяной лимонный лоб.

И лишь пристал он, и с поклоном
Назад священник отступил,
Ты приобщилася иконам,
Святым — и холоду могил.

И пала тень ресниц чернее,
И обострился черты:
Несть часа на земле страшнее,
И несть грознее красоты,

3.VI.16

* * *

Ночь и алые зарницы.
Вот опять:
Блеск — и черной плащавицы
Ширь и гладь.

Поминутно камни, скалы,
Их отвес
Озаряет быстрый, алый
Свет небес,

Озаряет он, слепящий,
На морском
Побережье вал, кипящий
Молоком.

Озаряет, краткий, зыбкий,
Лица нам
И неловкие улыбки
Наших дам.

А пад легкой, слоеправной
Сей игрой
Дьявол катит гул державный
За горой.

<1916>

НОЧНОЙ ПУТЬ

Стой со сжатыми скулами:
Как чугун, тлжелы,
Ходят жадно, акулами
Под тобою валы.

Правь рукою железною:
Из-за шатких снастей
Небо высится звездное
В грозной славе своей.

БРЕД

Стоит, трепещет Стрекоза
В палищем мраке надо мною,
Стоцветной бисерной росой
Кипят несметные глаза
В ее головке раздвоенной,
В короне млечно-голубой —
И шепчет, шепчет сон бессонный
Во тьме палящей и слепой.

ОТРЫВОК

Старик с серьгой, морщинистый и бритый,
Из красной шерсти вязаный берет,
Шлыком висащий на ухо сто лет,

Опорки, точно старые копыта,
Рост полтора аршина, гнутый стан,
Взгляд исподлобья, зоркий и лукавый,—
Мила мне глушь сицилиан,
Патриархальные их нравы.

Вот темный вечер, буря, дождь, а он
Бредет один, с холодным ветром споря,
На дальний мол, под хмурый небосклон,
К необозримой черпн моря.
Слежу за ним, и страшная тоска
Томит меня: я мучаюсь мечтами,
Я думаю о прошлом старика,
О хижинах под этими хребтами,
В скалистой древней гавани, куда
Я запесей, быть может, навсегда...

ПОРТРЕТ

Бродя по залам, чистым и пустым,
Спокойно озаренным бледным светом,
Кто пред твоим блистающим портретом
Замедлит шаг? Кто будет золотым
Восхищен сном, испослапным судьбою,
В жизнь давнюю, прожитую тобою?
— Кто б ни был он, познаешь ты, поэт,
С грядущим другом радость единенья
В стране, где нет ни горести, ни тленья,
А лишь нерукотворный твой Портрет!

• • •

Луна над шумною Курюю
И над огнями за Курой
Тифлис под лунною чадрою,
Но дышит знойною жарой.

Тифлис не спит, счастливый, праздный, —
Смех, говор, музыка в садах,
И чуть мерцает блеск алмазный
На еле видимых хребтах.

Уйдя в туман, на север дальний,
Громадами снегов и льдин,
Они все строже, все печальней
Глядят на лунный блеск долин.

* * *

Земпой, чужой душе закат! —
В зеленом небе алым дымом
Туманы легкие летят
Над молчаливым зимним Крымом.

Чужой, тяжелый Чатырдах!
Звезда мелькает золотая
В зеленом небе, в облаках, —
Кому горит она, блистая?

Она горит душе моей,
Она зовет, — я это знаю
С первоначальных детских дней, —
К иной стране, к родному краю!

* * *

Звезда, воспламеняющая твердь,
Внезапно, на единое мгновение,
Звезда летит, в свою не веря смерть,
В свое последнее паденье.

А ты, луна, свершаешь путь земпой,
Теряя блеск с минуты на минуту,
И мертвецом уходишь в край иной,
Испив по капле смертную цинкуту!

Гор сиреневых кручи встают,
Гаснет сумерек алых сиянье,
В тихом море сирены поют,
В мире счастье, покой и молчанье.

В мире только старик-рыболов,
Да сиреневый остров Капрел,
Да заморская синь облаков,
Где закат потухает, алая.

ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ





«НЕ ВИДНО ПТИЦ. ПОКОРНО ЧАХНЕТ...»

(стр. 68)

В журнальной публикации после II строфы:

И далеко в лесу багряном
Кустарник виден на горе,
И луг, синеющий туманом
На ранней утренней заре...

После III строфы:

Теснятся тучи небосводом,
Синеет резко даль под ним...
И бодро конь идет по всходам,
По взметам, влажким и сырм.

(Журн. «Мир божий», СПб.
1898, № 10, октябрь.)

«КАК ДЫМКОЙ ДАЛЬ ПОЛЕЙ ЗАКРЫВ НА
ПОЛЧАСА...»

(стр. 70)

Первая редакция:

в лесу

Как флером голубым, закрыв на полчаса
Окрестность,— дождь прошел косыми полосами;
И снова глубоко синеют небеса
Над орошенными полями...

Тепло и аромат... свежееет зелень ржи,
На солнце бархатней становится пшеница,
И в молодом лесу, в березках, у межи
Болтают веселее птицы...

Пойдем же в лес... Свежа и зелена
Березок куща там, и деиственны, не смлты
Меж ними лапдыши... Цветущая веспа
Там разлила свои лесные ароматы.

Пойдем туда... И снова, может быть,
Напомнит нам веспа и роца молодая,
Как молоды еще с тобой мы, дорогая,
Как можем мы еще и верить, и любить...

*(Журн. «Наблюдатель», СПб.
1891, № 6, июнь.)*

«ЕЩЕ ОТ ДОМА НА ДВОРЕ...»

(стр. 83)

В Полном собр. соч., 1915 г., после строки «Над пєю ладный стук
палька»:

А за деревнею, где мѣжи
В поля привольные бегут,
Где хуторки белеют реже,—
Ржи наливают и цветут,
В лазури жаворонки реют,
Поют про степь наперебой,
И, как мираж, кургапы мреют
В дали воздушно-голубой.

«В СТОРОНЕ, ДАЛЕКОЙ ОТ РОДНОГО КРАЯ...»

(стр. 85)

В журнальной публикации заключительная строфа:

В стороне далекой от родного края
Грезится мне юность, как далекий сон —
Светлый сон, в котором снилось мне счастье,
Утро дней весенних, ясный небосклон.
Но проходят годы — в мечты бледнеют...

Счастье обмануло молодость мою...
Пусть оно порою мне смущает душу,
Пусть я дни былые, как мечту, люблю —
Я былым надеждам мой привет прощальный
С горькою улыбкой и с печалью шлю!

(Журн. «Русское богатство», СПб.
1900, № 12, декабрь.)

МАТЬ

(стр. 89)

В журнальной публикации после строки: «И завосили хутора»:

А дом стоял в открытом поле
- Печальным сторожем степным,
И ветер бешеный над ним
Как будто тешился па воле.
Он крышу снес, врывался в дом —
И стекла в рамах дребезжали,
И снег в пустой, старинной зале
Кружился в сумраке ночном.

Но был огонь... Не угасая,
В пристройке робко он светил,
И кто-то там всю ночь ходил,
Глаз до рассвета не смыкая...
То мать моя... забывши страх,
Она одна нас не кидала,
С больным ребенком па руках
Она одна душой страдала.

После строки «Большими темными глазами...»:

Далеко хутор мой родной;
Давно прошли те дни и ночи,
Когда я видел пред собой
Ее заплаканные очи.
Но не забыть их никогда!
Во тьме житейского ненастья,
В часы раздумья и труда

Я вспомню их, как счастье,—
Как радость детства моего,
Как утешенье пред разлукой,
Как ласку нежную того,
Кто дал мне жизнь своею мукой!..

(Журн. «Мир божий», СПб.
1898, № 1, январь.)

ЛИСТОПАД

(стр. 120)

После строки «Блестят, как сеть из серебра»:

Просека узкая, как сени,
Уходит в терем, а по ней
Лежит ковер листвы осенней
Среди кустарников и пней.
Там, в потаенном чернолесье,
Всегда затишье: частый бор
Над ним темнеет в поднебесье
И окружает светлый двор.

После строки «И снова все кругом замрет»:

Лес точно дремлет. А в ворота,
Среди двух высохших осин,
Глядят и синева долин,
И мелколесье, и болота,
И даль лиловых деревень...
Как хорошо! Но жаль кого-то,
И грустно Осени весь день.

Порой задумчиво выходит
Она на солнце из ворот
И бродит в поле и не сводит
Очей с желтеющих болот.
Там по лощинам и полянам
Густых кустарников бугры
Раскинулись широким станом,
Как темно-красные шатры.

Там путь на юг... С немой печалью
На край небес глядит она,
Где даль слилась с небесной далью,
Мечтами тихими полна.
Они зовут, по пет пазванья
Мечтам далеким. В них — любовь
И красота воспоминанья,
Которым не воскреснуть вновь...

А день уходит. Небо ясно,
Прозрачный воздух сух и тих,
Леса безмолвны... И безгласно
Уходит светлый день от них.

После строки «Предвестник долгого негастья»:

Все строже вдаль она глядит,
Все резче тайное страданье
В ее немых очах сквозит...
Какое вешнее молчанье!

После строки «И листьев сыростью гнилой»:

Луна с небес, как привиденье,
Глядит, застывши без движенья,
И жутко Осени одной
В полночной тишине лесной!

Наутро бледной и больною
Она проснется. На дворе
Темно и хмуро. За стеною
Бушует бор, как в полябре...

После строки «С него местами крышу снял»:

А вход сырой листвою усыпал...
Потом зазимок ночью выпал
И хоть растаял, но кругом
Уже повеяло морозом...
Зачем же предаваться грезам?
Зачем и думать о былом?..

После строки «Над лесом держат перелет»:

Но дни идут. Свежеет проспнь
Студеных далей. Их простор
Живит и ободрлет Осень...
Близка зима, стихает бор...

И вот уж сизые туманы
Встают на утренней заре;
Сквозит в лазури лес багряный,
Земля в морозном серебре.

*(Журн. «Жизнь», СПб.
1900, № 10, октябрь.)*

НА РАСПУТЬЕ

(стр. 124)

В журнальной публикации после строки «Укажи мне путь в
краю глухом»:

«Я покинул остров Царь-Девы,
Сине море, терем и сады,
Не иду я по свету Жар-Птицы,—
Укажи мне ключ Живой Воды,—

Светлый ключ, который воскрешает
Усыпленных Мертвою Водой
И цветами степи украшает,
Призывая к жизни молодой!»

Но молчит угрюмо ворон вещий,
Неподвижно на кресте сидит
И безмолвно, зоркий и зловещий,
На меня и на коя глядит.

После строки «Человечьим голосом меня?»:

И ужели нет пути иного,
Где бы мог пройти я, не губя
Ни надежд, ни счастья, ни былого,
Ни коня, ни самого себя?..

Вест поле тишиной великой!
Мертвецы в могилах древних спят...
Очаровав красотою дикой,
Опускаю я покорный взгляд.

Вижу я курганы в тихом поле...
Много дней стоят они, и нет
Дела им до нашей бедной доли,
До мгновенных радостей и бед!

*(Журн. «Книжки Недели», СПб.
1900, № 10, октябрь.)*

ВИРЬ

(стр. 125)

В журнальной публикации после строки «Полны неотразимой
снам!»;

Вирь тихо плачет меж ветвей,
Вирь сострадания не знает,—
И человек идет за ней
И дней печальных не считает.

Безмолвной жалостью к себе,
Томленьем сладостным объятый,
Покорный горестной судьбе,
Он помнит лишь одни закаты.

После заключительной строки «Чем человек большей страдает»

В старинной книге прочтала
Я эту повесть. Вирь доныне
Живет в лесу, где скит стоял,
Где лес безлюден, как в пустыне.

Я верю грустным тем местам,
Я верю темному преданью...
Я посвящаю «Вирь» мечтам
И одинокому страданью.

*(Журн. «Жизнь», СПб. 1900,
№ 9, сентябрь.)*

В ОТЪЕЗЖЕМ ПОЛЕ

(стр. 128)

В Полном собр. соч., 1915 г., после заключительной строки
«Встань, труби в холодный, звонкий рог!»:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычи жду... Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я слепо в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна!

«РАСКРЫЛОСЬ НЕБО ГОЛУБОЕ...»

(стр. 139)

В журнальной публикации после строки «И паутиной пала
тень»:

Зато все ярче и нежнее
Живая неба бирюза,
И смотрят, песело синяя,
В кустах подснежников глаза.

После строки «Пятнистой кожей по земле»:

И нежный ветер, поднимая
Весенний шум своим крылом,
Пахнул внезапно лаской мая
И мягким солнечным теплом...

Сухие листья, запах пряный,
Атласный блеск березняка...
О, как за этою поляной
Просека стройно-глубока!

Как утонченно-ярки краски,
Как даль светла и хороша!
Как жадно верит нежной ласке
Освобожденная душа!

(Журн. «Мир божий», СПб.
1901, № 9, сентябрь.)

«ЕЩЕ И ХОЛОДЕН И СЫР...»

(стр. 142)

В журнальной публикации после заключительной строфы еще две:

Она повсюду разлита,—
В лазури неба, в птичьем пенье,
В снегах и вешнем дуновенье,—
Она везде, где красота.

И упиваясь красотой,
Лишь в ней дыша полней и шире,
Я знаю,— все живое в мире
Живет в одной любви со мной!

(«Журнал для всех», СПб.
1902, № 1, январь.)

«ОБЛАКА, КАК ПРИЗРАКИ РАЗВАЛИН...»

(стр. 146)

В Полном собр. соч., 1915 г., после заключительной строки
«Ночь зовет бессмертной красотой»:

Покоряясь смене, одиноко
Мы уходим... Скоро догорят
Наш закат... Но день уж недалеко,—
Он других улыбкой озарит.

Кто сумеет в эту ночь ответить,
Для чего делал я мечты?
Не затем ли, чтоб покорно встретить
Эту смену вечной красоты?

ВЕСНЯНКА

(стр. 152)

В журнальной публикации вместо последней строки «И зарыдал, забился»:

И зарыдал, как мальчик... Слезы долго
И сладостно мне сердце облегчали,
Но, наконец, иссякли. В вышине,
Сквозь жидкие, разорванные тучки,
Блеснули звезды. Ветер, пробега
И, как живой, среди оясов шурша,
Пахнул с гречих душистым теплым медом...
И вдруг открыв глаза, я засмеялся.

«О нет,— сказал я, радостно вздохнув.—
Я все простил, я все смогу поправить!
Я страсть сломил. Пойду к ней и скажу:
«Прости меня,— я изнемог, измучен,
Люби других,— меня лишь пожалей.
Так горестно, так сладко жить на свете,
Любя неразделенною любовью,
Но чувствуя, что ты не одинок!»
И, вновь вскочив, я вновь упал на землю...

Я замирал, я трепетал от скорби,
Я выл, как зверь, и плакал, расточая
Безумные и пезные слова...
Потом я обессилен... Наступило
Седое утро, тихое, сырое,
Опсы к земле приникли — и устало
Я головой склонился на межу.
О, если б был я проще и спокойней!
О, если бы так страстно не любил!
Но сокрушаться поздно... Наступает
Печальный день, туманный и сырой,
Грозы не будет больше... Скоро осень!

*(Ежемесячные литературные приложения
к журн. «Нива», СПб. 1901, № 12, декабрь.)*

ОТРЫВОК

(стр. 162)

В журнальной публикации после строки «Но холодно,— до снега
далеко...»:

В конце аллеи есть старая калитка.
Под псю лужа зеркалом чернеет,
А в луже — куча листьев. За калиткой
Зеленых входов лоснится равнина
И даль полей открыта... Много дней
Вдоль тех аллей, среди берез гудящих
Под холодом и ветром я скитался,
Пытаясь к одиночеству привыкнуть,
Забыть тебя, унять тоску разлуки,
Пока в тоске душа не истомилась,
Пока недуг печали не сломил...
Теперь я отдыхаю. Одиноко
Проходят дни, но горе миновало.
Мне весело глядеть теперь на небо,
На облака, на солнце... Я с улыбкой
Внимаю песне ветра, что разгульно
Весь день звенит и свищет в щели рам.

После строки «А нам легко и весело, как птицам...»:

Ты помнишь, что я говорил тебе?
«Не надо думать в радости и горе.
Люби и грусть, и радость,— песни жизни!»
Все это спом мне кажется теперь.
Древняя, глушь, забытая усадьба,
И только ветер тот же... Он играет
В березах старых, кружится по саду
И в щели рам, мешаясь каждый миг,
Поет о чем-то звонко и высоко...
Какое дело ветру до сомнений,
До слез о прошлом? Жизнь не замедляет
Свой вольный бег, она зовет вперед,
Она поет, как ветер, лишь о вечном!
Зачем смущать себя бесплодной думой,
Что мы живем не счастьем, а надеждой

На это счастье, — что никто не знает,
К чему все наши радости и скорби,
Когда нас ждет забвенье и ничто?
Умру — и все ж останусь в этом мире,
Как часть его великой, вечной жизни,
И пусть, пока я создаю его,
Пока я это чувствую и мыслю,
Пусть сердце не смущается в печали,
Пусть любит все, что разлюбить не может,
Пусть познает, что и печаль и радость —
Равно прекрасны в вечной жажде — жить!

(Журн. «Мир божий», СПб.
1902, № 1, январь.)

БРОДЯГИ

(стр. 173)

В Полном собр. соч., 1915 г., после строки «Какие заунывные напевы!»:

Бродя по свету, выгнанный из дому
Нуждой и скукой, часто вспоминаю
Я собственное детство: протекало
Оно в степи, среди ложин и пашен,
Среди таких же голых косогоров,
Как вот на этом тракте; много тихих
Печальных детств зачем-то расцветало
И расцветет не раз еще в безлюдье
Степных полей; мне тяжело любить их,
Но как забыть родное? Ни души
Нет на лугу, а солнце в тучку село...

В журнальной публикации этим стихам предшествовали строки:

Но отчего ж навеки я сроднился
С печалью степи? Отчего так сладко
Мне рисовать ее глухую жизнь?
О, что-то есть прекрасное в забытых
Пустых полях, как в тишине осенней!

(Журн. «Образование», СПб.
1902, № 10, октябрь.)

«ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ
НАД БЕЗЛЮДНОЙ ЗЕМЛЕЮ...»

(стр. 183)

В Полном собр. соч., 1915 г., первая строфа:

Стынут пески в тишине и молчании ночи...
Вдруг зашумело сухим и холодным песком,
Пыль за клубилась, сверкнули несметные очи,
Ветром пахнуло — и снова затихло кругом.

И заключительная строфа:

Демоны всюду преграды куют человеку —
Им ненавистна святая дорога во храм.
Но не страшись: на рассвете увидишь ты Мекку
И облечешься в ирам.

«ДАЛЕКО НА СЕВЕРЕ КАПЕЛЛА...»

(стр. 184)

В Полном собр. соч., 1915 г., первая строфа:

Ночь тепла, светла и золотиста,
Месяц встал и замер над гумном,
Все уснуло. Темен тихий флигель,
Степь и небу видны за окном.

И последняя строфа:

Сладко этой лаской упиваться,
Сладок отдых почью... Ночь светла,
Все вокруг как прежде: хутор, поле...
Все как было. Только жизнь прошла!

«ОБРЫВ ЯЙЛЫ. КАК РУКИ ФУРИЙ...»

(стр. 187)

В журнальной публикации следующее начало:

Стремнипа скал. Волной железной
Здесь плоскогорье поднялось
И пад зияющею бездной,
Оцепенев, оборвалось.

Здесь небо ясно,— слой тумана
Ползет под нами, как дракон,—
И моря синия нирвана
Висит в пространстве с трех сторон.

(Журн. «Золотое руно», М. 1906,
№ 7—9, июль — сентябрь.)

СКАЗКА

(стр. 203)

В журнальной публикации после строки «Смола, прозрачное стекло»:

На яркий свет лесных прогалин,
На берег выходя порой,
Мы упивались небом, далью
И волн хрустальною игрой.

И небеса в дали тонули,
А в небесах — морской простор,
И без конца вдоль по заливам
Холмами шел синевший бор.

Что там, за ним? Что обещала
Обетованная страна?
О, только счастье,— только к счастью
Загадочно являла она!

(Журн. «Правда», М. 1904, № 1, январь.)

В журнальной публикации после строки «По насту снеговых полей»;

Я шел убить, я слушал чутко
Малейший звук... Но отчего
Мне было в эту ночь так жутко
И за себя и за него?

Он был мой враг, мы оба ждали
Смертельной встречи. Уж не раз
Мы друг за другом наблюдали
В глухую ночь, в полночный час.
В безмолвье, на равнине дикой,
Мы оба знали, что живем
Ее таинственной, великой
Зловещей чуткостью — вдвоем.

Но эта тишина пугала,
В ней крылось колдовство Судьбы...
И не она ль подстерегала?
Опа, опа! А мы — рабы,
И оба одиноки в поле,
И оба жалки... И одной
Обречены печальной доле:
Стеречь друг друга в час ночной.

Затерянный в степи безбрежной,
Он в эту полночь где-нибудь
Держал среди равнины снежной
Свой вечный, безотрадный путь.
А я? Я тоже вечный страпник;
Я, как и он, — в добре и зле
Какой-то темной силы давник —
Живу скитальцем па земле...

И все же только меткость пули
Одна могла спасти меня...
И если б предо мной блеснули
Два фиолетовых огня...

После заключительной строки «И сделала врагами нас»:

Он умерщвлен. Но он — эмблема
Той дикой жизни, тех степей,
Где эта грубая поэма
Слагалась в душе моей.
Он умерщвлен. Но нет прощенья
За смерть его, сказал башкир:
Он гений зла, он демон Мишенья,
Он дьявол, покоривший мир!

*(Журн. «Мир божий», СПб.
1905, № 4, апрель.)*

НЕБО
(стр. 229)

В журнальной публикации после I строфы:

В деревне смех звучал и говор,
Все улыбались без причин
И томно шурились от солнца,
От ярких снеговых вершин.

После IV строфы:

И целый день я приближался
К их непорочной красоте,
И взгляд встречался только с бездной —
С лазурной бездной в высоте.

Не на земле я жил как будто,
Не на земле, а в той стране,
Где я был счастлив до рожденья,
Где все так близко было мне.

*(«Ежемесячный журнал для всех», СПб.
1905, № 4, апрель.)*

В МОСКВЕ

(стр. 271)

В журнальной публикации стихотворение начиналось следующими строками:

Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город. Я живу
В каком-то ветхом домике и, право,
Весьма доволен этим. Хочешь знать,
Где я весну встречаю? В мезонине.
Там холодно и низки поголки,
Немало крыс, но по ночам — чудесно.

И заключительные строки:

Головки мелких куполов... Смотрю
И думаю: как хорошо быть вольным!
Как хорошо быть вечно одиноким!

(Журн. «Новое слово», М. 1906, № 3.)

«ЛЕСА В ЖЕМЧУЖНОМ ИНЕЕ. МОРОЗНО...»

(стр. 272)

Первая редакция:

ИНЕЕ

Леса в жемчужном инее. Морозно.
Стою у телеграфного столба.
И гул, и звон. То жалобно, то грозно
Поет далекий, темный, как судьба.

Молчит и внемлет белая долина.
И льется небо северных ночей,—
Как исполицский хвост павлина,—
Стоцветною игрой своих лучей!

(Журн. «Современный мир», СПб.
1909, № 1, январь.)

Д И Я
(стр. 272)

В журнальной публикации после строки «Воркул, ходят, ходят турмана»:

Пригретый лаской солнечного света,
Сегодня в полдень слаще и грустней,
Задумчивей, чем прежде, с минарета
Цел муэдзин... И все следил за пей.

Дышал он морем, тонким ароматом
Садов в цвету, теплом небес, земли...
А Дия шла по каменистым скатам,
По голышам меж саклями — к Али...

К Али? О нет, к фонтану. Там востытый,
Столетний дуб, еще нагой, сквозной,
Там по корням лазурью серебристой
Бежит родник и летом и зимой.

После строки «Она глядится в зеркало твое»:

Ей правится ее босая ножка
В стекле воды... Ей правится сурьма
Ее бровей... Ей правится немножко
Пока одно: она сама.

(Журн. «Перевал», М. 1907,
№ 4, февраль.)

Х Р А М С О Л Н Ц А
(стр. 276)

В Полном собр. соч., 1916 г., после строки «Шум быстрой малахитовой воды»:

Под ним оазис древнего Номада,
И древние священные места
Венчает золотая колоннада.

Рунла храма Солнца, ты пуста!
По ты — исток познаний человека,
Порог его искания, врата.

Ты — колыбель младенческого века,
Наш первый след и первый иероглиф —
И в бездну я взглянул из Баальбека:

Там — даль и мгла. Туманно-синий Миф.

«НОЧЬ ЗИМНЯЯ МУТНА И ХОЛОДНА...»

(стр. 343)

В Полном собр. соч., 1915 г., после строки «Горят из мглы, как
из пушистых гнезд»:

С собакою сам-друг я при луне.
Занидевел тяжелый мех на мне,
Глаза прозрачным льдом окружены,
И яся душа — во власти тишины,
Пред жутким богом северных ночей,
У тайны тайн, истока всех ключей.

Н О Я Б Р Ъ С К А Я Н О Ч Ъ

(стр. 352)

В Полном собр. соч., 1915 г., еще две заключительные строфы:

Сбивался я и молодым,
Как сбился я теперь,
Да не пугал ни лунный дым,
Ни час почпой, ни зверь.
Мне ль привыкать к полям пустым?
К тоске разлук, потерь?

Но, видно, надо: не привык.
Да и не те года:
Глазам мешает то башлык,
То темная вода...
— А может, слезы? Ты, старик,
Брось лучше повода!

ВЕНЕЦИЯ

(стр. 360)

В Полном собр. соч., 1915 г., начальные строки:

Восемь лет в Венеции я не был...
Мука Бреннер! Вымотало душу
По мостам, ущельям и туннелям,
Но зато какой глубокий отдых!

После строки «Радостно все это было видеть!»:

Плыли мы с Эприко, — он жевился,
Стал серьезней, — у дверей отеля
Я сказал: «Эприко, если помпишь,
Я люблю осенние, сырые
Месячные ночи, надо завтра
Побродить по городу, на взморье,
На лагуны выплыть: завтра в полночь
Выйду я, как прежде, на пьядетту,
Паперть нашей церкви, — дождайся
Вон под тем палаццо, что напротив,
С выбитыми стеклами, с железной
Ржавою решеткой в дырах окон».

После строки «По лагунам к югу!»:

Нет, не сердцем
Были мы моложе: сердце стало
Драгоценной сказочною скрипкой,
Зазвучавшей золотом певучим
Только после многих скорбных песен!

ПЕРСТЕНЬ

(стр. 368)

Первая редакция:

С индийской пышностью осыпан перстень мой
Лучисто-острыми камнями.
Так светит и горит, сокрытый полутьмой,
Старинный образ в царском храме.

Рубины мрачные цветут, чернеют в нем,
Внутри пурпурно-кровяные,
Алмазы вспыхивают розовым огнем,
Слезясь, как перлы ледяные.

И часто я гляжу на этот огчий дар
С тоскою, смутной и тревожной,
И опускаю взор, переходя базар,
В толпе крикливой и ничтожной.

*(Альманах «Творчество», кн. 2,
М.—П. 1918.)*

В О Й Н А

(стр. 375)

В газетной публикации следующее продолжение:

Пойду бродить из зала в зал,
Хрустля осколками зеркал,
Копая мусорные груды,—
Как падишах, войду в Сераль,
Где смешан розовый миндаль
С кровавым деревом Иуды!

*(Газ. «Биржевые ведомости»,
утр. выпуск, П. 1915,
№ 15290, 25 декабря.)*

Д У Р М А Н

(стр. 393)

В журнальной публикации после 1 строфы:

Звон дивный — слышный и неслышный,
Рай и невидимый и пышный,—
Она глядит на сад, на двор,
Идет к избе и понимает,
Куда идет, дорогу знает,
Но очарован слух и взор.

Последняя строфа до исправления читалась:

Наутро губки почернели,
Лоб посипел... Ее одели,
Припарядили — и отец
Прикрыл ее сосновой крышкой
И на погост отнес под мышкой...
Ужели сказочке конец?

(Журн. «Летопись». II. 1916, № 8, август.)

«СОЛНЦЕ ПОЛНОЧНОЕ, ТЕНИ ЛИЛОВЫЕ...»

(стр. 404)

В журнальной публикации после 1 строфы:

Крепит размеренно палубу темную —
Валок тяжелый и грязный баркас.
С мукою слушаешь чайку бездомную
В этот полуночный солнечный час.

(Журн. «Современный мир»,
II. 1916, № 10, октябрь.)

«АРХИСТРАТИГ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ...»

(стр. 420)

После заключительной строки «Его с заката бледная заря»:

Кто знал его? Но вот, совсем недавно,
Открыт и он, по прихоти тщеславной
Столичных мод, — в журнале дорогом
Изображен на диво, и о нем
Теперь толкуют мистики, эстеты,
Богоскатели, девицы и поэты,
Их сытые, болтливые уста
Пророчат Руси быть архистратигом,
Кошуются о рубище Христа
И умиляются — по кингам, —
Как Русь смиренна и проста.

(Сб. «Господин из Сан-Франциско», М. 1916.)

ПАМЯТИ ДРУГА

(стр. 424)

Стихотворение имело следующее начало:

...Шел сенбернар вдоль светлой водной глади
Песчаной прибрежной полосой,
Шел гимназист в сандалиях, а сзади,
В капоте красном, с черпою косою,
Шла барышня... Мы сели на ограде,
Над пыльной и засохшей дерезой,
Над полустгнившей лестницей к купальням,
И облака следили в небе дальнем.
На горизонте стыла их гряда.

(Сб. «Господин из Сан-Франциско», М. 1916.)

«КАК МНОГО ЗВЕЗД НА ТУСКЛОЙ СИНЕВЕ!»

(стр. 441)

После строки «Есть только бог над горными огнями»:

Но что есть бог? Кто он, несметный двами?

Он страшен мне. Он слишком величав
И слишком необъятен. Он молчалив,
Он штиль морей и пыль сожженных трав,
Он черный сад и бледных звезд сиянье.
Он разум мой, мне чуждый,— оттого,
Что разум мой не любит ничего.

И это я, столь чувствующий землю
В ее осенней сладкой теплоте,
И это я, любовью полный, внемлю
Его пустой и холодной немоте!
И это я и должен и не смею
Сказать себе: ты будешь, будешь ею!

(Сб. «Роза Перихона», Берлин, 1924.)



ПРИМЕЧАНИЯ



Первый том настоящего Собрания сочинений включает большую часть бунинского поэтического наследия, количественно вообще необширного, а именно: стихи, созданные в первые тридцать лет творчества, от юношеских опытов шестнадцатилетнего Бунина до предреволюционных произведений.

Поэзия Бунина, этого архангста-новатора, верного литературным традициям XIX века и вместе с тем шагнувшего вперед в освоении новых художественных средств, являет нам пример движения русской лирики в ее коренных, национальных основах. Оставаясь на протяжении всей своей долгой, почти семидесятилетней творческой жизни натурой исключительно цельной, повиная внутреннему велению таланта, Бунин в то же время, в пору дореволюционного творчества, пережил заметную эволюцию, раскрывая на различных перепадах русской общественной жизни новые грани своего дарования.

Детство и юность Бунина прошли на природе, в индустриальной дворянской усадьбе. В его формировании как художника сказались противоборство сословно-дворянских и демократических, даже простонародных традиций. С одной стороны, завершенность былым величием столбового рода, милым миром старины, с другой — искренняя, хотя и поверхностная увлеченность гражданской поэзией. Характерно в этом смысле, что дебютом Бунина было длинное стихотворение «Над могилой Надсона», написанное с горячим инететом и сочувствием к поэту-демократу. Правда, стилистически, всем художественным строем С. Надсон был все же далек семнадцатилетнему стихотворцу из Елецкого уезда. В демократической литературе XIX века его привлекала

пе, условно говоря, ее «городская» линия, к которой принадлежала Надсон, а «крестьянско-мещанская», представленная, скажем, творчеством И. Никитина. Так, совершенно «никитинским» по звучанию выглядит второе опубликованное буниинское стихотворение — «Деревенский индий». Никитинские стихи, простые и сильные, очень рано запомнились Бунину. Они чаще других звучали в домике елецкого мещанина Бякина, «на хлеба» к которому он попал гимназистом. Однако было бы ошибкой представить себе молодого Бунина наследником демократических заветов Никитина или Кольцова. Жизнь в скудеющем имении, поэтизация усадебного быта, дремлющие сословные традиции — все это вызывало у молодого Бунина недвусмысленные признания, например, в письме к В. В. Пашенко (14 августа 1891 г.): «У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному времени, но я даже начинаю непольно поэтизировать его... Прозо, я желал бы пожить прежним помещиком»¹. Такова природа бунинской двойственности — в одновременном тяготении и отталкивании от дворянских традиций.

Итогом юношеских опытов Бунина явилась книга стихов, вышедшая в 1891 году в Орле. Сборник этот трудно назвать удачей молодого автора. Стих здесь поражает бескровностью и безмускульностью, обилием штампов. Обращаясь к литературным формам, поэт зачастую уходил в мир условных, картонно-аллеповатых декораций —

Замок, дремлющий при шепоте фонтанов,
Где красавица, склонившись на балкон,
Спит в тени развесистых каштанов
Под навесом мраморных колонн...

Двадцатилетний поэт еще не достиг власти над словом, он только чувствовал магию ритмичности и музыкальности. «Все — и веселое и грустное — отдается у меня в душе музыкой каких-то неопределенных хороших стихов...» — писал он В. В. Пашенко 9 апреля 1891 года. — Ты, конечно, не знаешь, не испытывая такое состояние внутренней музыкальности слов...»² Эти внутренние ритмические гулы были всего лишь прологом, предощущением подлинно художественного творчества.

¹ И. А. Бунин, Собр. соч., т. I, М. 1956, стр. 419.

² Альманах «Литературный Смоленск», кн. 15, Смоленск, 1956, стр. 203.

Здесь можно было бы поставить точку на характеристике первых печатных стихов Бунина, если бы в этом в целом несовершенном сборнике не прозвучала одна-единственная тема: русская природа, разомкнувшая строй высших, надуманных стихов. Таковы, скажем, отрывки из дневника «Последние дни» («Все медленно, безмолвно увидает... Лес пожелтел, редет с каждым днем...»). Строчки бунинского стиха лишены метафор, они почти безобразны в отдельности, однако в целом создали осеннее настроение — умирает природа, напоминая поэту о разрушенном, умершем счастье. Бунин не включил это, как и большинство других стихотворений первого сборника, в последующие книги лирики. И все же след этого стихотворения мы находим: оно послужило строительным материалом для более поздней, великолепной лирической пьесы «В степи».

Дата под стихотворением «В степи» (1889—1897)¹ может толковаться расширительно, как довольно точное указание на бунинский «переходный период». Сборники «Под открытым небом» (1898), «Стихи и рассказы» (1900), «Полевые цветы», «Листопад» (1901) знаменуют собой постепенный выход поэта к рубежам зрелого творчества. Однако если ранние опыты Бунина-поэта заставляют вспомнить имена Никитина и Кольцова, то стихи конца 90-х и начала 900-х годов выдержаны в традициях Фета, Полонского, Майкова, Жемчужникова. Влияние этих поэтов оказалось прочным и стойким — именно их стихи переводили на язык искусства те впечатления, какие получал юный Бунин. Быт семьи, обычаи, развлечения, катания ряженных на сятках, охота, ярмарки, полевые работы — все это, преобразованное, вдруг «узнавалось» в стихах пепцов русской усадьбы. И конечно, любовь. «В ранней юности,— вспоминает Бунин,— многим пленил меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так разное счастье я был в моей воображаемой любви. Что я знал тогда! А как верно и сильно видел и чувствовал!

Выйду за оградой
Подышать прохладой —
Слышу, милый едет
По степи широкой...

¹ См. И. А. Бунин, Полное собр. соч., т. I, П. 1915, стр. 68.

Стень, синие сумерки, хутор — и она за белой каменной оградой, небольшая, крепкая, смуглая, в белой сорочке, в черной плахте, босая с маленькими загорелыми ступнями...»¹

Но насколько отлично положение Бунина от условий, в которых творили Полонский, Майков, Фет. Для Бунина предметом поэзии стал сам быт уходящего класса. Не только «холодок покорных уст», но и обыденное занятие помещика (теперь ставшее редкостным) в ретроспективном восприятии поэта приобретает новое, эстетически остранинное звучание: «И тени штор узорной легкой сеткой по конскому лечебнику пестрят...» («Бегут, бегут листы раскрытой книги...»).

На рубеже XX века, когда уже пробивались первые ростки пролетарской литературы и одновременно крепло «новое», символистское направление в поэзии, бунинские стихи могли бы показаться живым анахронизмом. Самый их эстетический строй предполагает в авторе как будто не современника Горького и Блока, а скорее ровесника Фета и Полонского. Недаром иные стихи Бунина вызывают справедливые и весьма конкретные ассоциации, заставляют вспомнить малых и больших, но всегда старых поэтов:

Перед закатом набежало
Над лесом облако — и вдруг
На взгорье радуга ушла,
И засперкало все вокруг.

Едва лишь добежим до чащи —
Все стихнет... О, росистый куст!
О, взор, счастливый и блестящий,
И холодок покорных уст!

Дата под стихотворением (1902) доказывает, что написано оно в пору, когда период подражания для Бунина давно прошел. Однако общее настроение, картинка летнего дождя, как она выписана, обилие восклицаний (эти знакомые «о») — все заставляет вспомнить: Фет. Поставьте бунинское стихотворение в один ряд с «Весенним дождем», «Еще весны душистой нега...», «Весна на дворе», «Первым ландышем» и т. д. — и вы увидите, что поэтическая система Фета как бы включает в себя характерные приметы бунинского стиля. Более того. В сравнении

¹ В. Н. Муромцева-Бунина, Жизнь Бунина, Париж, 1958, стр. 51. Бунин точно цитирует стихотворение Полонского «Неслы».

с Фетом Бунина выглядит строже. Фетовский импрессионизм, раздвинувший пределы поэтической выразительности и вместе с тем уже содержащий в себе черты, подхваченные затем модернизмом, Бунину чужд. Чужда ему и смелая фетовская реализация метафор. Он может восхищаться со своим «двойником» Арсеньевым строками Фета:

Каким грусть! Конеч аллен
Опль с утра исчез в пыли,
Опль серебряные змеи
Через сугробы поползли...

Или: «Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рошей, печаль»¹. И тут же отвечает устами Лики: «Да, это очень хорошо... Но почему «как месяц над рошей»?» Сам Бунин употребляет слово «печаль» (одно из любимейших в его поэтическом словаре!), отнюдь не растворяя границы между своим ощущением и внешним миром: «светлых дум печаль», «печальный след былого», «ночь печальна, как мечты мои», «печальная земная красота», «все, что в нем так нежно я любил, я до сих пор в печали не забыл» и т. д.

Приверженность к прочным классическим традициям удержала стихи Бунина от модных болезней времени и одновременно сократила приток в его поэзию впечатлений живой повседневности. В своих стихах поэт воскресил, говоря словами Пушкина, «преlestь нагой простоты». Мир восстаповел в них в своей реальности. На месте зыбких впечатлений и декоративных пейзажей символистов, на месте «прозрачных кносков», «замерзших сказок», «куртин красоты» — точные лаковичные эскизы, но в пределах уже великолепно разработанной системы стиха. В них нет брюсовского произвола в создании фантастических миров, но нет и мощных бронзовых строф, дыхания городской улицы, которое припис Брусов в поэзию, предваря Маяковского. В них нет эмоционального солипсизма молодого Блока, но нет и кровотокающей правды, которая заставляет героя немедленно, сейчас же разрешить неустроенность жизни, а пережив неудачу — разрыдаться, облить стих слезами и гневом. Блок перерос символизм, и это было связано со вступлением

¹ Бунин неточно цитирует строки Фета: «Уноси мое сердце в звенящую даль, // Где, как месяц за рошей, печаль...» («Песни»).

поэта в радостное и скорбное царство реальности. Бунин ограничил себя какой-то одной стороной реального под бесстрастным девизом:

Иду я в этом мире сочетая
Прекрасного и вечного...

Правда, у Бунина оставалась подвластная ему область — мир природы. «Так знать и любить природу, как умеет Бунин, — писал А. Блок, — мало кто умеет. Благодаря этой любви поэт смотрит зорко и далеко и красочные и слуховые его впечатления богаты»¹. В этой ограниченной области Бунин сразу достиг успеха и затем лишь укреплял и очищал свой метод. Рецензируя третий том его стихов, Блок отмечал, что с первого тома «резких перемен не произошло»². Через четверть века В. Ходасевич не без оттенка неудовлетворенности подведет итоги: до конца Бунина-поэта «остался верен своему контрсимволизму»³. Иными словами, в доступных Бунину пределах, он движется все в том же русле реализма.

Бунинская поэзия глубоко национальна. Образ Родины, России складывается в стихах исподволь, незаметно. Он подготовлен уже пейзажной лирикой, где крепкой закваской явились впечатления от родной Орловщины, Подстепня, среднерусской природы. Разумеется, они были лишь родинком, давшим начало большой реке, но родинком сильным и чистым. И в отдельных стихотворениях поэт резко и мужественно говорит о родной стране, нищете, голодной, любимой («Родина», «В стороне далекой от родного края...», «Родина» и т. д.). Осень, зима, весна, лето — в бесконечном круговороте времени, в радостном обновлении природы черпает Бунин краски для своих стихов. Его пейзажи обретают удивительную конкретность, растения, птицы — точность обозначений. Иногда эта точность даже мешает поэзии:

В сизых ржах васильки зацветают,
Бирюзовый виднеется лен,

Серебрится ячмень колосистый,
Зеленеют привольно осы...

(«На проселке»)

¹ А. Блок, Собр. соч., т. 5, М.—Л. 1962, стр. 141.

² Там же.

³ Вл. Ходасевич, О поэзии Бунина. — Газ. «Возрождение», Париж, 1929, № 1535, 15 августа.

Бунин оставался в основном во власти «старой» образной системы и ритмики. Ему приходилось поэтому внешне банальными средствами добиваться небанального. Путь слова от круга общеупотребляемых, стертых сочетаний к своему новому гнезду — уже как метафоры — необыкновенно короток. Поэт вскрывает неизведанные возможности, заложенные в традиционном стихе. Не в ритмике, нет — чаще всего это чистый пяти- или шестистопный ямб. Не в рифме — «взор» — «костер»; «ненастье» — «счастье», «бурь» — «лазурь» и т. д.; она банальна, как у Д. М. Ратгауза. Но Бунин уверенно выбирает такие сочетания слов, которые, при всей своей простоте, порождают у читателя полную ответных ассоциаций. «Леса на дальних косогорах, как желто-красный лиственный мех»; «звезд узор живой»; «седое небо»; тучи — «как горы дымящие»; облака — «как призраки развалин»; вода морская — «точно ртутью палита». Составные части всех этих образов так тесно тяготеют друг к другу, словно они существовали вместе извечно, в некоем эстетическом симбиозе, а не были сближены поэтом. Осенние степи, конечно, «пагние»; дыни — «бронзовые»; цветник морозом «сожжен»; шум моря — «атласный». Только бесконечно чувствуя живую связь с природой, поэту удалось избежать эпигонства, идя бороздой, по которой шли Полонский, А. К. Толстой, Фет. Лишь говоря с природой на ее языке, можно было, например, подметить такое:

Усадьба по-осеннему молчала.
Весь день был мертв в полночной тишине,
И, как ребенок брошенный, кричала
Ушастая пустушка на гумне.

В противовес беззаботному отношению к природе поэтом народнического толка или демонстративному отъединению от нее декадентов, Бунин с сугубой дотошностью, реалистически точно воспроизводит ее мир. Всякая поэтическая условность, переступающая границы реально-возможного, воспринимается им как недопустимая вольность, безотносительно к жанру (так, он с откровенной прямолинейностью возражал против того, что в горьковской «Песне о Соколе» выведен сокол, «почему-то очутившийся в горах»). Бунин, очевидно, просто не может воспринимать животных и птиц в басенно-аллегорическом толковании, как «переодетых» людей, как выражение определенных челове-

челюсти клещей. И негде сам он изображает крылатого хитца, и стихотворении передается весь живой опыт деревенского человека

И полях, далеко от усадьбы,
Зимует прогнивший омет,
Там табулет подчьи свадьбы,
Там клочки шерсти и помет.
Половы ребра у дороги
Торчат в снегу — и спал на них
Синяя, стертая космонавт,
Готовый взвиться каждый миг.

(«Синяя»)

Вспомним слова Юрия Бунина о брате: «Все абстрактное его ум не воспринимал». И не только абстрактное в смысле — логическое, противоположное образному, но и «абстрактное», то есть лишённое нашего правдоподобия, условно-романтическое. Он чувствует кровную связь с природой, с жизнью каждой естественной (будь то олень, уходящий от преследования охотников — «Густой зелёный ельник у дороги...»; или «седой орленок», который «шныт, как вылизка», задев диск солнца — «Обрыв Дилы. Как руки фурий...»). И, скажем, герой маленькой бунинской поэмы «Истопад», в первом издании посвящённой М. Горькому, «просто лес», его отдельное, красочное и многоликое бытие.

Получив сборник «Истопад», вышедший в издательстве символистов «Скорпион», Горький писал Бунину: «...Я — со Скитальцем — проглотил его, как молоко. Хорошо! Какое-то матовое серебро, мягкое и тёплое, льётся в грудь со страниц этой простой, изящной книги. Люблю я, человек мелочный, всегда что-то делняющий, отдыхать душою на том красном, в котором вечно вечное, хотя и нет в нем приятного мне возмущения жизнью, нет сегодняшнего дня, чем я, по преимуществу, живу и что меня, поменьше, губит. Не скрою — мне хотелось видеть в ваших стихах больше таких звуков, как в «Витле», да, но — «всякому свое, а наибольшая тому честь, кто во всем весь»¹. Горький не случайно упоминает стихотворение Скитальца (имеется в виду «Рыцарь», где ярко звучат революционные мотивы). Отмечая поэтические достоинства бунинских стихов, он недоуменно общительной индифферентностью их творца, его

¹ Письмо до середины февраля 1901 г. — Горьковские чтения, 1958—1959, АН СССР, М. 1961, стр. 18—19.

одновременным сотрудничеством в демократическом «Знании» и символистском «Скорпионе».

Однако было бы ошибкой рассматривать поэзию Бунина как нечто раз и навсегда сложившееся, неизменяющееся, пассивно-самоцельное и созерцательное. Связь между его творчеством и общественной жизнью существовала, только она была не прямой и непосредственной, как у большинства «званцевцев» (Гусева-Оренбургского, Скитальца, Чирикова, Айзмана и т. д.), тутко реагиовавших на подъем и спад революционного движения. Внешне Бунин как будто бы остался холоден и бесстрастен по отношению к первой русской революции. В то время, как другие, мелкобуржуазные демократические писатели брались за самые насущные темы, он неторопливо шлифовал свои произведения об угасающих дворянских гнездах, путешествовал по Ближнему Востоку, Малой Азии, Египту, а затем Индии и Цейлону. Мы не найдем и в стихах этого периода города, городской жизни, отзвуков общественной борьбы. Редкостные для него волюнтеристские мотивы звучат холодноватой риторикой. Он спешит увести читателя в поле, в лес, или спокойно любит морским прибоем, или в чеканных стихах запечатлевает человека, размышляющего с потухающей сигарой, перед камнем, о суете жизни.

И все же появление в дальнейшем таких «тузовых» (выражение Горького) вещей, как «Деревня», «Суходол», «Господня из Сан-Франциско», доказывает, какая огромная «подземная» работа должна была им предшествовать. Свидетельство тому, например, стихотворение «Пустошь» (своего рода поэтический параллель к «Суходолу», только написанное тремя годами раньше), в сдержанно-благородных тонах воссоздающее образы отравленных рабией психологией людей, тех, кто отдал все свои силы темной «суходольской» жизни:

Мир вам, давно забытые! — Кто знает
Их имена простые? Жили — в страхе,
В безлестности — почил. Ииогда
В селе ковали цепи, засекали,
На поселенье гнали. Но стихал
Однообразный бабий плач — и спова
Шли дни труда, покорности и страха...

Это стихотворение было написано (1907), когда большинство «званцевцев», в обстановке начавшейся реакции, отступили от

демократических заветов. Остро переживая смену общественных настроений, Горький писал Ирикову в марте 1907 года: «У меня странное впечатление вызывает современная литература,— только Бунин верен себе, все же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо, не отдают себе отчета в делах своих»¹. Целюность Бунина-художника помогла ему не только «выстоять» в годы реакции, но и выйти к новым творческим рубежам.

Если на рубеже века для бунинской поэзии наиболее характерна пейзажная лирика, в ясных традициях Фета и А. К. Толстого, то в пору первой русской революции и последовавшей затем общественной реакции Бунин все больше обращается к лирике философской, продолжающей тютчевскую проблематику. Личность поэта необычайно расширяется, обретает способность самых причудливых перевоплощений, находит элемент «всечеловеческого» (о чем говорил, применительно к Пушкину, в своей известной речи Достоевский):

Я человек: как бог, я обречен
Познать тоску всех стран и всех времен.

(«Собака», 1909)

Жизнь для Бунина — путешествие в воспоминаниях, причем не только личностных, но и воспоминаниях рода, класса, человечества. Поверхностный атеизм («Каменная баба», 1903—1906; «Мистикку», 1905) сменяется пантеистическим восприятием мира и своего рода метафизическим исследованием глубинных основ нации. Бунин стремится прочесть и разгадать сокровенные законы нации, которые, по его мнению, незыблемы, вечны. Не случайно именно в 1910-е годы в его поэзию особенно широко вторгается стихия крестьянского фольклора, устной народной литературы. Легенды, предания, притчи, сказания, частушки, лирические сельские песни, «страдания», прибаутки и при сказки — россыпи мудрости народной — заполняют страницы рассказов и повестей, преобразованные, становятся стихами («Два голоса», «Святогор», «Мачеха», «Отравы», «Невеста», «Святогор и Илья», «Князь Всеслав», «Мне вечер, молодой...», «Алепушка» и т. д.) Нетрудно подметить, что Бунин стремился реставрировать и идеализировать «дотатарскую», старую Русь. Его взгляд на народ таит в себе черты своеобразного неосла-

¹ М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 29, М. 1955, стр. 17.

янофильства. На основе своих наблюдений Бунин построит позднее особую и реакционную теорию — о народе как о темной, неуправляемой силе, которая, будучи предоставлена сама себе, грозит выбросить внезапные протуберанды жестоких «бузтов». «Есть два типа в народе, — размышляет он. — В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, — и дубина, и икона», — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает...»¹ Бунинское отношение к прошлому России внешнеисторично.

Отсюда, от «вечных» законов, якобы управляющих человеком, Бунин отправляется к истокам исчезнувших цивилизаций, воскрешает образы древнего Востока, античной Греции, раннего христианства. В своих лучших «исторических» стихах он с пушкинской отзывчивостью стремится проникнуть в самую сердцевину чужой культуры, передать индивидуальный облик далекой эпохи. Стихи «Эсхил», «Самсон», «Ормузд», «Сон» (из книги пророка Даниила), «Черный камень Каабы», «Тезей», «Магомет в изгнании», «Иерихон» и т. д., равно как и великолепно воссозданная лонгфелловская «Гайавата», заставляют еще раз вспомнить слова Достоевского о Пушкине, обладавшем редкостным свойством «перевосплотиться вполне в чужую национальность». Бунин не создает иллюстрацию к Корану или халдейскому мифу, «вечное», архангелское и современное — нерасторжимо для него. Иногда это «настоящее в прошлом» обнажено в сентенцию, как, например, в стихотворении 1916 года «Кадильница». Образ продолжается в прямой заповеди писателю, творцу, напоминанием о его высоком призвании («Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты стори»). Энергичное напоминание о проповедническом, страстном долге художника кажется неожиданным в устах Бунина, но оно просто указывает еще раз на односторонность представления о Бунине как писателе «холодном». Он лишь стремился всегда сохранить между собой и читателем известную дистанцию, страшась оказаться «накоротке» с ним. Горделивость бунинской натуры вовсе не исключала ее страстности, создавая, однако, своего рода защитный покров: это как бы пылающий факел в ледяном панцире.

¹ И. А. Бунин, Собр. соч., т. X, Берлин, 1935, стр. 94.

Философская лирика теснит пейзажную, проникает в нее и ее преобразует. Непременная принадлежность бунинских пейзажей — кладбища, погосты, могилы, напоминающие об исчезновении древнего рода и неизбежности собственной смерти («Ограда, крест, зеленая могила...»; «Растет, растет могильная трава...»; «Настает день — исчезну я...»; «Могильная плита» или просто «Смерть»). Пессимизм Бунина усиливается ощущением обреченности кровного ему дворянского класса. На изображаемое падает гробовой отсвет, музыка стиха обретает мрачноватую величавость. Поэт стремится заглянуть за пределы человеческой очевидности, переступить черту, которую сторожит «позрачий взор» смерти. Ее карающая десница не щадит никого («Был воин, вожь, но имя смерть украла и унеслась на черном скакуне...»), ее загадка неотступно мучит воображение Бунина:

За окном весна сияет повал.
А в избе — последняя твоя
Восковая свечка — и тесовая
Длинная ладья.

Причесали, нарядили, справили.
Полотном закрыли бледный лик —
И ушли, до времени оставили
Твой немой двойник.

У него ни имени, ни отчества,
Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
Роковые дни.

Да пребудет в мире, да поконится!
Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
Белая ладья.

(«Берег»)

Вблизи этой темы — темы смерти — стих Бунина обретает особенную классическую прозрачность и точность, свободно перепнимает песенно-народный и речитативный лад. Одновременно стих облачается в жесткую парчу православия. Верный национальному в арханке, Бунин освящает все отошедшее, отдышавшее, предвосхищая проблематику позднейших произведений («Преображение», «Поздний час», вереница похорон в «Жизни Арсеньева» и т. д.). Мрачно-торжественное, мистическое и смертное дыхание православия, ощутимое в некоторых стихах

Бунин, необыкновенно усилится в эмиграции, вместе с воскресшим чувством сословности, «завоем предков».

Где выход из пессимизма? По Бунину, он в слиянии с природой, в возвращении к ней и обновлении жизни. И когда Смерть предлагает прохожим савап как вечную одежду, в сравнении с которой одежды живых мимолетны, курган Савур отвечает ей: «И савап обречен истлеть в земле, чтоб споза вырос яркий небесно-синий лен» («Присела на могильнике Савурс...»). Ощущение всеобщности жизни, ее вечного круговорота «в мирнадах безримых существ» продолжает в стихах Бунина 1910-х годов космическую, тютчевскую традицию. Земная жизнь, бытие природы и человека воспринимается поэтом как часть великой мистерии, грандиозного «действия», развертывающегося в просторах вселенной —

И меркнет тень, и двинулась аура,
В свой бледный свет, как в дым, погружена,
И кажется, вот-вот и я пойму
Незримое — идущее в дыму
От тех земель, от тех предвечных страп,
Где гробовой чернеет океан,
Где, наступив на ледяную Ось,
Превыше звезд восстал Великий Лось —
И отражают бледные снега
Стоцветные горючие рога.

(«Ночь зимняя мутна и холодна», 1912)

В этой мраморной поступи неоклассика слышен призыв к людям нового века следовать за ним — ощущать ход вечности и раствориться в ней. Взгляд поэта обретает вселенскую, «надзвездную» масштабность, где человек — лишь малое дитя бесконечного мира. Космическая иерархия, по Бунину, неподвижна и вечна, и отдельный человек обречен на одиночество и непонимание. От юношеских опытов, прямолинейно подражавших Тютчеву («Зачем и о чем говорить» — сколок знаменитого «Silentium»), Бунин приходит к близким Тютчеву философским обобщениям.

Исчезает мечтательность поэта, ощущение одиночества растет и даже эстетизируется: «Одни встречаю я дни ридостной недели...»; «Если б только можно было одного себя любить...»; «Как хороша, как одинока жизнь!» («В пустынной вышине...») или положенное на музыку С. Рахманиновым «Как светла, как нарядна весна!..» (романс «Я опять одинок»). В многоглагольном

здании природы, в последовательной подчиненности ее явлений, человек, как полагает Бунин, занимает одну из последних ступеней и способен расширить слабые свои пределы лишь за счет опыта всех предшествующих поколений. Преодоление одиночества и страха смерти возможно, таким образом, при достижении вневременного пантеистического мирозерцания: «Я говорю себе, почуяв темный след того, что пращур мой воспринял в древнем детстве: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» («В горах», 1916). Но бунинский пантеизм, при всей его кажущейся широте, всеохватности, в действительности ограничен жесткими «личностными» и классовыми рамками. Опять-таки это связано с давлением дворянских симпатий, вынуждающих Бунина беспрерывно совершать «путешествия в прошлое», скорбеть о старике, чувствовать, что «мертвые не умерли для нас» («Призраки»). Правда, есть еще одна, абсолютная сила, способная противостоять смерти, и имя ей — красота.

Красота — «мир стремится вперед», она порождает любовь-страсть, совершающую прорыв в одиночестве и одновременно приближающую роковые силы смерти. В конечном счете, любовь не спасает от одиночества. Исчерпав «земные» возможности, она ввергает героя в состояние спокойного отчаяния. Этим настроением сдержанного трагизма проникнуто едва ли не самое известное стихотворение Бунина «Одиночество» («И ветер, и дождик, и мгла...»). Осещий «бунинский» пейзаж, пестерпимая (против которой одно лекарство — время) боль по ушедшей женщине — в стихотворении «Одиночество» — уже заложен художественный поиск в «темные аллеи» человеческой страсти, который развернется в творчестве 1910-х годов и результатом чего явятся такие шедевры, как «Сны Чанга» и «Легкое дыхание». Сила желания счастья и в то же время осознание его невозможности выражены в нарочито спокойной концовке:

Что ж! Камни затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

Знаменитые строчки послужили в свое время причиной следующего анекдота. Рецензировавший книжку стихов Бунина 1903—1906 годов поэт К. Р. обратил внимание на эти стихи, заявив, что «реализм иногда оказывает автору и плохие услуги, доводя чуть ли не до цинизма»¹. От человека-де ушла любимая

¹ К. Р., Критические отзывы, П. 1915, стр. 288.

жепшина, а он собирается покупать собаку! Комичное недоразумение многозначительно: августейший критик Константин Романов продемонстрировал тем самым полное непонимание завоеваний литературы нового времени. В самом деле, там, где поэту прошедшего, XIX столетия, или его робкому подражателю, надобно было произнести взволнованный монолог, Бунин сжимает содержание до двух строчек. Этот лаконизм — достоинство литературы уже нового, XX века, когда смятенность человеческих чувств передается «посторонней» фразой. Надо сказать, что именно в интимной лирике отчетливо видно отличие Бунина от «чистых» дворянских поэтов. Это отличие проявляется и в облике лирического героя, далекого от прекрасноты и восторженности, избегающего красоты, фразы, позы. Заметно оно и в той здоровой чувственности, которая окрашивает бунинские стихи. В любовной лирике Фета главное — гамма возвышенных переживаний, красивое чувство, изображал которое поэт совершенно растворяет образ любимой, колеблет его, как колеблет отражение бегущий ручей. Облик женщины поэтичен и бесплотен. И рядом — чувственное, бунинское:

Я к ней вошел в полпоздний час.
Она спала,— луна сияла
В ее окно,— и одела
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвинув груди,—
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.

Любовная лирика Бунина невелика количественно. Но именно в ней предвосхищаются многие искания позднейшей поры. Женский характер, прямой и резкий, способный к действию, запечатленный в «Песне» («Я — простая девка на баштане...»), перекликается с образами рассказов «При дороге» и «Игнат». А известное стихотворение «Портрет» (1903) родственно написанному в 1916 году рассказу «Легкое дыхание». Бессмысленная гибель прелестной девочки с «ясным» взглядом и кокетливой прической и несовместимость ее «бессмертного» облика с «погребальным издором» как бы предвзвешивают позднейшие, более обдуманные размышления в рассказе: «Этот венок, этот бугор, этот дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте...»

Любовная лирика Бунина, принадлежащая своим эмоциональным строем XX веку, трагедийна, в ней вызов и протест против несовершенства мира в самых его основах, тоска с природой и вечностью в требовании идеального чувства. Как и вся бунинская поэзия, его интимная лирика сохраняет классическую отточенность формы, являясь своего рода реакцией на символизм. В этом смысле неоклассицизм Бунина можно сопоставить с выдающимся творчеством его младшего современника — Анны Ахматовой.

На протяжении 1910-х годов поэтическая интенсивность Бунина очень неравномерна. После появления «Деревни» проза решительно оттесняет на второй план стихи, которые теперь читаются как бы отходами впечатлений. Однако к 1915 году происходит обратное явление. В короткую пору 1916—1917 годов Бунин пишет небывало много стихов. Его поэзия военных лет не коснулась казенный патриотизм. Верный себе, Бунин тревожит прошлое, отдается печали воспоминаний («Дедушка в молодости», «Настает день — исчезну я...», «На Невском», «Тихой ночью поздний месяц вышел...», «Воспоминание», «Свет незакатный», «Ранний, чуть видный рассвет...» и т. д.). Но это была не оторванность от времени, а форма неприятия его.

Задолго до пачала революции Бунин, чуткий художник, ощущал ее пришествие и воспринял приближающиеся громовые события как величайшее несчастье, отдаленные последствия которого не предугадываемы. Именно поэзия позволяла без опоздания выразить непосредственные предчувствия, самые злободневные помыслы:

Сон лютый снился мне: в полибть, в соборном храме,
Из древней усыпальницы княжой
Шли смерды-мертвецы с дымлящими свечами,
Гранитный гроб несли, тяжелый и большой.
Я поднял жезл, я крикнул: «В доме бога
Владыка — я! Презренный род, стойте!»
Они идут... Глаза горят... Их много...
И ни один не обратился вспять.

Это стихотворение, озаглавленное «Сон епископа Игнатия Ростовского», написано в начале 1916 года, и его двойной, архаичный и злободневный смысл весьма прозрачен. Бунин, с его политическим консерватизмом, нашел в том великом противостоянии, какое образовали в пору революции классы русского общества, собственное место — место охранителя «исконных»

стародавних устоев. Ни на какой компромисс с «попой властью» он и не помышлял идти. Бунину слишком «левым» представляется даже буржуазное временное правительство, и в остром диалоге «Брань» (лето 1917 г.) он заставляет бедняка Сухоцкого, который по-народному метко обличает «справного» хозяина, а проще — кулака Лаврентия, одновременно выбрать и «Вапкиншу державу», не оставившую ничего от «великого бога и великого государя». Октябрь Бунин встретил крайне враждебно. Дальнейшие события, вплоть до самых ничтожных, только все больше озлобляли, ожесточали его. Его путь прямолинейщик — участие в белогвардейской газетке в Одессе, в печатном агентстве Деникина «Осваг», наконец палуба французского парохода, на котором он навсегда покинул родину. Творчество Бунина-поэта, понятно, продолжалось и за рубежом. Он и здесь остался верен себе, своему таланту, изображая красоту русской природы, размышляя о жизни и смерти, но неотступно звучит в его поздних стихах боль и тоска по родине и невозможность его утраты. (Количественно немногочисленные даже в сравнении с дореволюционной поэзией эти стихи Бунина собраны вместе с переводами в т. 8 наст. изд.)

Бунин-изгнанник не принял рабоче-крестьянское государство, но народ по праву вернул как национальное достояние все лучшее, что было создано писателем, в том числе — и поэзию. Значительно уступая стихам крупнейших современников в общественном звучании, в степени преображения действительности, художественной смелости, поэзия Бунина обретает право на долгую жизнь благодаря многим, присущим только ей достоинствам. Певец русской природы, «вечных», «первородных» тем, мастер интимной и философской лирики, Бунин продолжает классические традиции, вскрывая неизведанные возможности «традиционного» стиха. В новых, изменившихся условиях он не просто повторяет достижения «серебряного века» русской поэзии (Тютчев, Фет, Полонский), но активно развивает ее завоевания, нигде не отрываясь от национальной почвы, оставаясь поэтом прежде всего и по преимуществу — русским.

О. Михайлова

В настоящий том входят все стихотворения 1886—1917 годов, которые печатались в прижизненных собраниях сочинений И. А. Бунина и авторских сборниках, кроме некоторых ранних, еще незрелых стихотворений из первых книг поэта.

Первый сборник стихов Бунина — «Стихотворения 1887—1891» — вышел приложением к газете «Орловский вестник» в 1891 году. Затем появились небольшие книги рассказов и стихотворений: «Под открытым небом», М. 1898; «Стихи и рассказы», М. 1900; «Полевые цветы», М. 1901.

В 1901 году был издан сборник «Листопад», встреченный одобрительными отзывами прессы и отмеченный Пушкинской премией Академии наук.

В последующие годы стихотворения Бунина издавались часто. Значительное место Бунин отводил стихотворениям в своих дореволюционных собраниях сочинений. Выпущенные издательством «Знание» три сборника: «Стихотворения», СПб. 1903; «Стихотворения 1903—1906 гг.», СПб. 1906; «Стихотворения 1907 года», СПб. 1908, — составили отдельные (ненумерованные) книги плитомного Собрания сочинений. Том шестой — «Стихотворения и рассказы 1907—1909», СПб. 1910, появился в изд-во «Общественная польза».

В 1915 году приложением к журналу «Нива» вышло шеститомное Полное собрание сочинений И. А. Бунина. Стихотворения 1886—1915 годов заняли полностью первый, третий и частично шестой тома. Для того времени это издание было итоговым: Бунин объединил все сборники, начиная с «Листопада», и дополнил стихотворениями, не входившими в сборники.

После «пивского» издания Бунин печатал стихотворения в сборниках: «Чаша жизни», М. 1915, «Господин из Сан-Франциско», М. 1916, и «Храм Солнца», П. 1917. В 1918 году он выпустил единственный — десятый — том собрания сочинений в изд-ве «Парус», в который, кроме рассказов, вошли и стихотворения.

В годы эмиграции дореволюционные стихотворения Бунина, зачастую перерабатывая их, публиковал в периодике и включал в сборники: «Натальная любовь», Прага, 1921; «Чаша жизни», Париж, 1922; «Роза Иерихона», Берлин, 1924; «Митина любовь», Париж, 1925; «Избранные стихи», Париж, 1929.

Для одипнадцатитомного собрания сочинений (изд-во «Петрополис», Берлин, 1934—1936) Бунин отобрал сравнительно немного стихотворений, даже не выделив их в отдельный том.

Бунин настойчиво подчеркивал, что текст 1934—1936 годов является последней редакцией его произведений, и просил «читателей, критиков и переводчиков пользоваться только этим текстом» («От автора» — см. т. 9 наст. изд.). Но в последние годы жизни он вновь правил стихотворения, вошедшие в берлинское издание и в книгу «Избранные стихи», Париж, 1929.

Обратился он и к «пивскому» изданию 1915 года — к произведениям, которые не входили в позднейшие книги. Он считал недостойным переиздания многое из того, что было создано в молодости, и писал в 1946 году: «Сколь ужасны... *первые книги* издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введения в его издание всего того ничтожного, что называется произведениями «юношескими»...» («Исторический архив», 1962, № 2).

Все же Бунин колебался в отборе произведений, первые тома «пивского» издания, столь сурово им оцененные, стилистически исправлял, готовя для будущих изданий. Так, он внимательно просмотрел первый том этого издания, некоторые стихи сократил или зачеркнул и написал на книге: «16 декабря 1952 г. Париж. Зачеркнутое не вводить в будущее собрание моих сочинений, даже самое полное. Ив. Б.» (хранится в ИМЛИ). Бунин зачеркнул следующие стихотворения:

«Поэт», «Деревенский пищик», «Полевые цветы», «На пруде», «Какая теплая и темная зоря!..», «Бледнеет почва... Туманов пелена...», «Не пугай меня грозью...», «Туча растаяла. Влажным теплом...», «Далеко за морем...», «...Зачем и о чем говорить?..».

«...Поздним летом...», «Нет, не о том я сожалею...», «Ангел», «Родиле», «Догорел апрельский светлый вечер...», «Соловьи», «Весеннее», «Троица», «Крупный дождь в лесу зеленом...», «В Гефсиманском саду», «Христос воскрес! Опять с зарею...», «Счастлива, когда ты голубые...», «Три ночи», «Снова сон пленительный и сладкий...», «Звезды ночью весенней нежнее...», «Как светла, как нарядна весна!..», «Последняя гроза», «Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...», «Ручей», «Стопли ночи северного мая...», «На монастырском кладбище», «Кедр», «В поздний час мы были с нею в поле...», «Ночь», «Утро», «Веснянка», «Звезда над темными далекими лесами...», «Надпись на могильной плите», «Пока я шел, я был так мал!..», «Из тесной пропасти ущелья...», «Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустарник...», «Крестьянская почва», «На озере», «Забытый фонтан».

Окончательный отбор стихотворений автором для будущих изданий неизвестен, так как недоступны материалы парижского архива, указанные в «Литературном завещании». В силу этого мы не сочли возможным исключить из нашего издания стихи, зачеркнутые в указанном выше тексте. К тому же отношение Бунина к своим ранним произведениям было сложным, и его нельзя свести только к отрицанию их значения. Выражением его колебаний в оценках некоторых стихотворений и рассказов служит статья «Происхождение моих рассказов» (см. т. 9 наст. изд.).

Стихотворения, входившие в собрание сочинений изд. «Петрополис», печатаются по текстам соответствующих томов этого издания с рукописными поправками И. А. Бунина (хранятся в ГБЛ). Большинство стихотворений, не входивших в изд. «Петрополис», печатается по «винскому» изданию: стихотворения 1886—1902 годов — по первому тому с рукописной правкой Бунина (хранится в ИМЛИ), стихотворения 1903—1914 годов — по третьему и шестому томам. Эти источники текста в примечаниях не оговариваются. Во всех остальных случаях в примечаниях указывается источник текста.

Исправления Бунина на другом экземпляре первого тома «винского» издания (хранится в ЦГАЛИ) не датированы и, по-видимому, являются незавершенной, черновой работой. Из этого экземпляра учитываются только рукописные исправления в датах стихотворений.

Недатированные стихотворения, из числа напечатанных в газетах «Возрождение» и «Последние новости» под общим

заглавием «Старая тетрадь», включены в первый том, так как удалось установить, что большинство стихотворений из этих «тетрадей» написаны до 1917 года, что дает основание отнести и дореволюционному периоду и остальные стихи цикла.

Стихотворения расположены в хронологическом порядке. Многие стихотворения, точное время написания которых не установлено, помещены в пределах хронологических границ, указанных автором в прижизненных изданиях. Некоторые стихотворения, не имеющие авторской даты, датируются по первой публикации или автографам. В книге «Начальная любовь» Бунин исправил даты написания ряда стихотворений. Эти изменения учтены в настоящем издании. Для уточнения датировок использованы также воспоминания В. Н. Муромцевой-Бупиной («Жизнь Бунина», Париж, 1958, и «Беседы с памятью» — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1960—1965). Редакционные даты приведены в угловых скобках. В каждом отдельном случае обоснование редакционных дат в примечаниях не дается.

В примечаниях указывается первая, журнальная или газетная, публикация стихотворения. Некоторые стихотворения, по свидетельству самого писателя, были напечатаны впервые в сборниках или даже в берлинском собрании сочинений. В тех случаях, когда установить первую публикацию не удалось из-за крайней неразработанности библиографии Бунина, указывается первое книжное издание.

При переизданиях Бунин стилистически исправлял текст, нередко сокращал свои произведения, иногда исключал по нескольку строф. Эту работу он производил в продолжение всех лет своей литературной деятельности. Те из зачеркнутых автором строф, которые представляют самостоятельный интерес, помещены в приложении к тому.

В раздел «Стихотворения, не включавшиеся И. А. Буниным в собрания сочинений» вошли наиболее значительные и интересные стихотворения из ранних сборников («Стихотворения 1887—1891», «Под открытым небом», «Полезные цветы») и периодических изданий. Большинство стихотворений этого раздела только один раз публиковались в периодике. В тех случаях, когда стихотворение печатается по первой публикации, это в примечаниях не оговаривается. Несколько стихотворений печатается по автографам, поскольку публикации их не установлены.

Список условных сокращений

- ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
- «Господин из Сан-Франциско», 1916 — И. в. Б у н и н, Господин из Сан-Франциско. Произведения 1915—1916 гг., «Книгоиздательство писателей в Москве», М. 1916.
- «Господин из Сан-Франциско», 1920 — И. в. Б у н и н, Господин из Сан-Франциско, Париж, 1920.
- «Жизнь Бунина» — В. Н. М у р о м ц е в а - Б у н и н а, Жизнь Бунина, Париж, 1958.
- «Знание» — Сборники товарищества «Знание».
- «Избранные стихи», 1929 — И. в. Б у н и н, Избранные стихи, изд-во «Современные записки», Париж, 1929.
- ИМЛИ — Институт мировой литературы им. М. Горького АН СССР.
- «Иоанн Рыдалец», 1913 — И. в. Б у н и н, Иоанн Рыдалец. Рассказы и стихи 1912—1913 гг., «Книгоиздательство писателей в Москве», М. 1913.
- «Листопад», 1901 — И. в. в. Б у н и н, Листопад. Стихотворения, изд. «Скорпион», М. 1901.
- «Митина любовь», 1925 — И. в. Б у н и н, Митина любовь, Париж, 1925.
- «Начальная любовь», 1921 — И. в. Б у н и н, Начальная любовь, «Славянское издательство», Прага, 1921.
- «Новые стихотворения», 1902 — И. в. в. Б у н и н, Новые стихотворения, М. 1902.
- «Под открытым небом», 1898 — И. в. А. Б у н и н, Под открытым небом. Стихотворения, изд. «Детское чтение», М. 1898.
- «Полевые цветы», 1901 — И. в. А. Б у н и н, Полевые цветы. Сборник стихотворений и рассказов для юношества, М. 1901.
- Полное собрание сочинений — И. А. Б у н и н, Полное собрание сочинений, т. 1—6, изд. т-ва А. Ф. Маркс, П. 1915 (Приложение к журналу «Нива»).
- «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912 — И. в. Б у н и н, Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг., издание второе, дополненное, Московское книгоиздательство, М. 1912.
- «Роза Иерихона», 1924 — И. в. в. Б у н и н, Роза Иерихона, Берлин, 1924.
- Собрание сочинений — И. Б у н и н, Собрание сочинений, тт. I—XI, изд. «Петрополис», Берлин, 1934—1936.

«Стихотворения», 1903 — И. в. Б у н и ц, Стихотворения, издание товарищества «Знание», СПб. 1903 <Собрание сочинений, т. 2>.

«Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891 — И. А. Б у н и ц, Стихотворения 1887—1891 гг., Орел, 1891.

«Стихотворения 1903—1906», 1906 — И в а н Б у н и ц, Стихотворения 1903—1906 гг., издание товарищества «Знание», СПб. 1906 <Собрание сочинений, т. 3>.

«Стихотворения 1907 г.», 1908 — И в а н Б у н и ц, Стихотворения 1907 г. «Годива». Поэма Теннисона. Из «Золотой легенды». Лонгфелло. «Канни». Мистерия Байрона, издание товарищества «Знание», СПб. 1908 <Собрание сочинений, т. 4>.

«Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910 — И. Б у н и ц, Стихотворения и рассказы 1907—1909, книгоиздательство «Общественная польза», СПб. 1910 <Собрание сочинений, т. 6>.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства СССР.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1886—1899

«Шире, грудь, распахнись для принятия...» (стр. 53). — Полное собрание сочинений, т. 1.

Поэт (стр. 53). — Полное собрание сочинений, т. 1.

Деревенский нищий (стр. 54). — Журн. «Родина», СПб. 1887, № 20, 17 мая. Подзаголовок: «Первое напечатанное стихотворение» — не точен: до этого было опубликовано стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона».

«Месяц задумчивый, полночь глубокая...» (стр. 55). — Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1898, № 532, 19 июля, под заглавием «В июле».

«Как печально, как скоро померкла...» (стр. 56). — «Листопад», 1901.

Полевые цветы (стр. 56). — «Полевые цветы», 1901.

На пруде (стр. 57). — «Под открытым небом», 1898.

«В темнеющих полях, как в безграничном море...» (стр. 58). — «Под открытым небом», 1898.

Комментарии к событиям и именам из мифологии и древней истории написаны В. Смирным.

«Серп луны под тучкой длинной...» (стр. 58).— «Листопад», 1901.

Затишье (стр. 59).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1888, № 9, сентябрь, без заглавия.

Октябрьский рассвет (стр. 59).— «Под открытым небом», 1898.

«Высоко полный месяц стоит...» (стр. 60).— Журн. «Детское чтение», М. 1897, № 11, ноябрь, под заглавием «Ночь».

«Помню — долгий зимний вечер...» (стр. 60).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1889, № 1, январь.

«Какая теплая и темная заря!..» (стр. 61).— «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

«Бледнеет ночь... Туманов пелена...» (стр. 61).— «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

«Осыпаются астры в садах...» (стр. 62).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1888, № 10, октябрь.

«Любил я в детстве сумрак в храме...» (стр. 63).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1890, № 7, июль.

«Не пугай меня грозою...» (стр. 63).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1888, № 12, декабрь.

«Туча растаяла. Влажным теплом...» (стр. 64).— «Под открытым небом», 1898.

«Ветер осенний в лесах подымается...» (стр. 64).— Журн. «Мир Божий», СПб. 1898, № 10, октябрь.

«В полночь выхожу один из дома...» (стр. 65).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября, вместе со стихотворениями: «Пустыня, грусть в степных просторах...», «Как все вокруг сурово, снежно...», «Под орган душа тоскует...», «На поднебесном утесе, где бури...», «Седое небо надомной...», «В туче, сонде заступающей...», «Беру твою руку и долго смотрю на нее...», «При свете звезд померкших глаз сильнее...», «Я к ней вошел в полночный час...», «Что в том, что где-то, на далеком...», «Тут покоится хан, покоривший несметные страны...» — с примечанием: «Никогда не были в печати».

«Пустыня, грусть в степных просторах...» (стр. 65).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Как все вокруг сурово, снежно...» (стр. 66).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Под орган душа тоскует...» (стр. 66).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«На поднебесном утесе, где бури...» (стр. 67).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

Цыганка (стр. 67).— Собрание сочинений, т. 1.

«Не видно птиц. Похоронено чахлеть...» (стр. 68).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 10, октябрь.

Это стихотворение восхитило Л. Н. Толстого. Горький писал в воспоминаниях «Лев Толстой»: «Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки — настоящие мокроступы, — пошел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхивает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые, атласные стволы берез.

— Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В опрагах сыростью грибной...

— Очень хорошо, очень верно!» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 14, М. 1951, стр. 293).

«Седое небо падает мной...» (стр. 68).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Далеко за морем...» (стр. 69).— Журн. «Северный вестник», СПб. 1889, № 7, июль.

«Один встречаю я дни радостной недели...» (стр. 70).— «Дистопад», 1901.

«Как дымкой даль полей закрыла полдн-са...» (стр. 70).— Журн. «Наблюдатель», СПб. 1891, № 6, июнь, под заглавием «В лесу». Печатается по кн. «Начальная любовь».

В степи (стр. 70).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 853, 3 июля, без посвящения Н. Д. Телешову, с пометой «Из книги «Памяти Белинского». Н. Д. Телешов (1867—1957) — писатель, друг Бунина.

В костеле (стр. 72).— Журн. «Нива», СПб. 1896, № 8, 24 февраля. Написано под впечатлением поездки в Смоленск, Витебск и Полоцк. В Витебске Бунин поразила костел: «Вернувшись, он написал стихи под заглавием «Костел» и был долго под впечатлением поэтического посещения католического храма» («Жизнь Бунина», стр. 63). О костеле в Витебске, где он слушал орган и пение хора, Бунин вспоминает в повести «Жизнь Арсеньева», кн. 5, гл. XVI (см. т. 6 наст. изд.).

«...Зачем и о чем говорить?...» (стр. 74).— Газ. «Орловский вестник», 1891, № 22, 22 января.

«...Поздним летом...» (стр. 74).— «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

Подражание Пушкину (стр. 75).— Полное собрание сочинений, т. 1.

«В туче, солнце заступающей...» (стр. 76).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Ту звезду, что качалась в темной воде...» (стр. 76).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Былое». Это стихотворение в чтении автора произвело большое впечатление на Горького во время их встречи на Капри в 1909 году («Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, кн. 64, стр. 212—213).

«Нет, не о том я сожалею...» (стр. 77).— Журн. «Мир божий», СПб. 1893, № 5, май.

Ангел (стр. 77).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 8, август, под заглавием «Вечерний ангел».

Родные (стр. 78).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1898, № 603, 4 октября.

«Лес,— и ясно-лазурное небо глядится...» (стр. 78).— Журн. «Север», СПб. 1897, № 22, 1 июля, под заглавием «Из песен о весне». Печатается по книге «Начальная любовь».

«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...» (стр. 79).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1893, № 7, июль. В Полном собрании сочинений 1915 года озаглавлено «В феврале» и напечатано с посвящением А. М. Жемчужникову.

«Бушует поляя вода...» (стр. 80).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1893, № 7, июль.

«Догорел апрельский светлый вечер...» (стр. 80).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1893, № 7, июль.

Соловьи (стр. 81).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1893, № 7, июль, без заглавия.

«Гаснет вечер, даль сплывает...» (стр. 82).— «Под открытым небом», 1898.

«Еще от дома на дворе...» (стр. 83).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1893, № 7, июль.

Весеннее (стр. 84).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 4, апрель, под заглавием «Из песен о весне».

«В стороне далекой от родного края...» (стр. 85).— Журн. «Русское богатство», СПб. 1900, № 12, декабрь.

«За рекой луга зазеленели...» (стр. 85).— Журн. «Север», СПб. 1898, № 19, 10 мая.

Тронца (стр. 86).— Ив. Бунин, Стихи и рассказы, М. 1900.

«Крупный дождь в лесу зеленом...» (стр. 87).— Газ. «Жизнь и искусство», Киев, 1898, № 323, 22 ноября.

В поезде (стр. 87).— «Под открытым небом», 1898. О сборнике «Под открытым небом» Горький писал Бунину: «Получил вашу книжку. Сердечное спасибо! ...Хорошие стихи, ей-богу! Свежие, звучные, в них есть что-то детски-чистое и есть огромное чутье природы...» и дальше, процитировав стихотворение «В поезде», замечал: «Миленький мой, это и есть самая чистая поэзия» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 28, М. 1954, стр. 68).

«Ночь идет — и темнеет...» (стр. 88).— Ив. Бунин, Стихи и рассказы, М. 1900, под заглавием «Ночь».

«...И снилось мне, что осенней порой...» (стр. 88).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1894, № 6, июнь.

Мать (стр. 89).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 1, январь. Стихи о матери — Людмиле Александровне Буниной (1834—1910). В начале 1890-х годов родители И. А. Бунина окончательно разорились, им пришлось жить у родственников. «Сильно страдая за мать, чувствовал, как ей тяжело жить не у себя, чтобы хоть немного порадовать ее, он написал стихи «Мать» и послал ей» («Жизнь Бунина», стр. 84).

Копыль (стр. 90).— Журн. «Труд», СПб. 1895, № 5, май, под заглавием «В южных степях». Эпиграф — из «Слова о полку Игореве». *Лежи — палатки, кочевые шатры.*

В Гефсиманском саду (стр. 92).— Журн. «Север», СПб. 1897, № 14, 6 апреля, без заглавия. *Гефсиманский сад* — роща близ Иерусалима, где, согласно Евангелию, молился Христос в ночь перед взятием под стражу.

«Могилы, ветряки, дороги и курганы...» (стр. 93).— «Журнал для всех», СПб. 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Степная ночь».

«Неуловимый свет разлился над землею...» (стр. 93).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1894, № 6, июнь.

«Если б только можно было...» (стр. 94).— Журн. «Север», СПб. 1898, № 27, 5 июля.

«Нагнал степь пустыней вее...» (стр. 94).— «Листопад», 1901.

«Что в том, что где-то, падалеком...» (стр. 95).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая, вместе со стихами: «Звезда, воспламеняющая твердь...», «Поздно, склонилась луна...» и «В окошко из темной каюты...» — под общим заглавием «Старая тетрадь».

Костер (стр. 95).— Журн. «Труд», СПб. 1895, № 11, ноябрь, под заглавием «В осеннем лесу».

«Когда па темный город сходит...» (стр. 96).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 2, февраль, под заглавием «Ночная выюга».

«Ночь наступила, день угас...» (стр. 97).— Журн. «Мир божий», СПб. 1897, № 12, декабрь.

На проселке (стр. 97).— «Под открытым небом», 1898.

«Долог был во мраке почин...» (стр. 98).— Журн. «Нива», СПб. 1896, № 19, 11 мая, под заглавием «В море».

«Поздний час. Корабль и тих и темен...» (стр. 99).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 972, 7 ноября.

Метель (стр. 99).— Ив. Бунин, Стихи и рассказы, М. 1900.

«В окошко из темной каюты...» (стр. 100).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая.

Родина (стр. 101).— Журн. «Русское богатство», СПб. 1898, № 4, апрель, под заглавием «На севере».

«Ночь и даль седал...» (стр. 101).— «Под открытым небом», 1898, под заглавием «Звезды».

«Христос воскрес! Опять с зарею...» (стр. 102).— «Под открытым небом», 1898.

На Днепре (стр. 103).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь. В журн. «Жизнь» вошло в цикл «Акварели», составленный из следующих стихотворений: «Все лес и лес. А день темнеет...», «На Днепре», «После половодья», «Не угас еще вдали закат...», «В отъезде поле», «Закат», «Все темней и кудрливей березовый лес зеленеет...».

Кипарисы (стр. 103).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1899, № 707, 24 января.

«Счастлива, когда ты голубые...» (стр. 104).— «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», СПб. 1896, № 9, сентябрь.

«Вьется путь в снегах, в степи широкой...»

(стр. 104).— Журн. «Русское богатство», СПб. 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «Зимний день».

«Отчего ты печальна, вечернее небо?..» (стр. 105).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 8, август, под заглавием «В море».

Северное море (стр. 106).— «Под открытым небом», 1898.

На хуторе (стр. 106).— «Журнал для всех», СПб. 1899, № 1, январь. Это стихотворение поэт написал о своем отце — Алексее Николаевиче Бунине (1824—1906). «Иногда,— пишет В. Н. Муромцева-Бунина,— отец брал гитару и пел старинные русские песни; пел он музыкально, поднимая брови, чаще с печальным видом и производил большое впечатление.

В своих стихах «На хуторе», написанных в 1897 году, Бунин дает картину этого вечера...

Больше всего Ваня любил песню на два голоса, которую его отец пел один или с кем-нибудь... Вот как он сам о ней написал.

«Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал: «Что ты замолк и сидишь одиноко...» («Жизнь Бунина», стр. 33).

«Скачет пристяжная, снегом обдает...» (стр. 107).— Газ. «Жизнь и искусство», Киев, 1898, № 329, 28 ноября.

Три ночи (стр. 107).— Журн. «Наблюдатель», СПб. 1890, № 8, август.

«Беру твою руку и долго смотрю на нее...» (стр. 108).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Поздно, склонилась луна...» (стр. 109).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая.

«Я к ней вошел в полночный час...» (стр. 110).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«При свете звезд померкших глаз сиянье...» (стр. 110).— Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

«Снова сон, пленительный и сладкий...» (стр. 110).— Газ. «Южное обозрение», Одесса, 1898, № 525, 12 июля.

«Звезды ночью веселей нежнее...» (стр. 111).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 1, январь.

На дальнем севере (стр. 111).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 11, ноябрь, без заглавия.

Плеяды (стр. 112).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 10, октябрь, без заглавия.

«И вот опять уж по зарям...» (стр. 112).— Журн. «Мир божий», СПб. 1898, № 10, октябрь.

«Листья падают в саду...» (стр. 113).— Полное собрание сочинений, т. 1.

«Таинственно шумит лесная тишина...» (стр. 114).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

«В пустынной вышине...» (стр. 114).— «Стихотворения», 1903.

«Все лес и лес. А день темнеет...» (стр. 115).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Из сказки».

«Как светла, как нарядна весна!...» (стр. 116).— «Журнал для всех», СПб. 1900, № 12, декабрь. Музыку на стихи написал С. В. Рахманинов.

«Ныче ночью кто-то долго пел...» (стр. 116).— «Журнал для всех», СПб. 1900, № 12, декабрь.

«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...» (стр. 116).— «Журнал для всех», СПб. 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «Осенняя ночь».

1900—1902

«Враждебных полно тайн на взгорье спящий лес...» (стр. 118).— «Избранные стихи», 1929. *Валдайское серебро* — знаменитые ямские колокольчики города Валдая, Новгородской губернии.

«Затрепетали звезды в небе...» (стр. 118).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 5, май, под заглавием «Весенний вечер».

«Нет соловья, но светлы пруды...» (стр. 119).— «Полевые цветы», 1901, под заглавием «На Троицу». В сб. «Стихотворения», 1903, под заглавием «Счастье» и с посвящением художнику П. А. Нилусу.

Листопад (стр. 120).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 10, октябрь, с подзаголовком «Осенняя поэма» и с посвящением М. Горькому.

Поэму Бунин писал летом 1900 года в деревне Огневке, Тульской губернии. Работал он с большим подъемом. В письмах к друзьям сообщал: «Много пишу, читаю,— словом, живу порлочной жизнью, а это, повторю, кажется, только и можно сделать, что в Огневке» (письмо А. М. Федорову от 1 августа 1900 г.—ЦГАЛИ). Работу над «Листопадом» Бунин закончил в августе. Отправив поэму в Москву с братом — Юлием Алексеевичем, он писал И. А. Белоусову: «Обращаюсь к тебе с большой просьбой: как можно скорей устрой мне поэму «Листопад», которую передаст тебе Юлий, в «Русскую мысль» (ЦГАЛИ). Выполнить просьбу Бунина Белоусову не удалось. 4 сентября Бунин в Москве встретился с Горьким и В. А. Поссе и на следующий день писал Белоусову: «Очень прошу у тебя извинения: утром вчера меня поймали — прислали за мной Горький и Поссе... Продам за 112 р. «Листопад» для октябрьской кн. «Жизни» (письмо от 5 сентября 1900 г.—ЦГАЛИ).

«Листопаду» Бунин придавал особое значение. Сборник, вышедший в 1901 году в издательстве «Скорпион», он назвал по этой поэме, а впоследствии вводил ее во все свои собрания сочинений.

Сборник «Листопад» вызвал многочисленные отзывы критики. В те годы реалистический поэт Бунин резко выделялась на фоне декадентских произведений, на что обратили внимание рецензенты. К. И. Чуковский отмечал, что в стихах Бунина привлекает характерное для пушкинской поэзии «душевное равновесие, простота, ясность и здоровье — какие все это редкие вещи по нынешним временам!» («Одесские новости», 1903, № 5899, 26 февраля). Другой рецензент замечал: «...В поисках и в передаче настроений г. Бунин не утратил, подобно другим современным поэтам, жрецам пресловутой «новой красоты», связи с заветами наших великих мастеров слова» («Журнал для всех», СПб. 1902, № 2, февраль). Столь же единодушно отмечали рецензенты стремление Бунина рисовать картины родной природы («Мир божий», СПб. 1901, № 5, май).

Весьма благожелательно встретили «Листопад» видные русские писатели. А. Блок в статье «О лирике» писал: «Цельность и простота стихов и мировоззрения Бунина настолько ценны и единственны в своем роде, что мы должны с его первой книги и первого стихотворения «Листопад» признать его право на одно из главных мест среди современной русской поэзии» (А. А. Блок, Собр. соч., т. 5, М.—Л. 1962, стр. 141). И. А. Эртель

писал Бунину 17 марта 1901 года о сборнике «Листопад»: «Люблю ваши стихи, простые, без нынешних выкрутас и сверхъестественных напряжений фантазии и языка. От ваших стихов на меня почти всегда идет свежесть и простотою нашей милой природы» («Русская литература», 1961, № 4, стр. 151). С особым интересом относился к стихотворениям Бунина А. Н. Куприна. О «Листопаде» он отзывался, как о талантливой книге, в которой Бунин «с редкой художественной тонкостью умест своеобразными, ему одному свойственными приемами передать свое настроение» («Русская литература», 1963, № 2, стр. 177).

Горький, получив сборник «Листопад», в письме к Брюсову назвал Бунина «первым поэтом наших дней» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 28, М. 1954, стр. 152).

На распутье (стр. 124).— Журн. «Книжки Недели», СПб. 1900, № 10, октябрь. Стихотворение написано под впечатлением картины «Витязь на распутье» художника В. М. Васнецова, которому оно было посвящено в сб. «Листопад». Стихотворение положено на музыку А. Гречаниновым.

Вирь (стр. 125).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь.

Последняя гроза (стр. 126).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 9, сентябрь.

В отъезде поле (стр. 128).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь. В сб. «Листопад» печаталось с посвящением В. Я. Брюсову.

После половодья (стр. 128).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь.

«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...» (стр. 129).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «В мае».

«Не угас еще вдали закат...» (стр. 129).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь, под заглавием «Молодой месид».

«Когда деревья в светлый майский день...» (стр. 130).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 18, 18 января.

«Лес шумит невнятным, ровным шумом...» (стр. 130).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Глушь».

«Вдали еще гремит, по тучи уж спалились...» (стр. 130).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 8, август, под заглавием «В лесах над Десною».

«Еще утро не скоро, не скоро...» (стр. 131).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 12, декабрь, под заглавием «Перед зарею». Печатается по кн. «Начальная любовь».

По пещерной заре (стр. 132).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 8, август.

«Ночь печальна, как мечты мои...» (стр. 132).— «Журнал для всех», СПб. 1900, № 8, август. Музыку на стихи написал С. В. Рахманинов и Р. М. Глиэр.

Рассвет (стр. 133).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 8, август, под заглавием «Утро».

Родник (стр. 133).— «Полевые цветы», 1901. Печатается по кн. «Начальная любовь».

Учан-Су (стр. 134).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 8, август. *Учан-Су* — водопад в Крыму, близ Ялты.

Зной (стр. 134).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 11, ноябрь.

Закат (стр. 135).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 9, сентябрь.

Сумерки (стр. 135).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 1, январь.

«На мертвый локоть винули бакан...» (стр. 136).— Журн. «Жизнь», СПб. 1900, № 11, ноябрь, под заглавием «В бурю». Печатается по кн. «Начальная любовь».

«К прибрежью моря длинная аллея...» (стр. 136).— Журн. «Мир божий», СПб. 1900, № 11, ноябрь. Печатается по кн. «Начальная любовь».

«Открыты живые золотые...» (стр. 137).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 1, январь.

«Был поздний час — и вдруг над темнотой...» (стр. 138).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 207, 29 июля.

«Зеленый плет морской воды...» (стр. 138).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «На рассвете».

«Раскрылось небо голубое...» (стр. 139).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 9, сентябрь.

«Зарницы лик, как сновиденье...» (стр. 139).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 8, август, под заглавием «Зарницы».

«На глазки синие, прелестные...» (стр. 140).— Газ. «Народное слово», М. 1918, № 20, 4 мая, под заглавием «Колыбельная». Стихотворение посвящено сыну Бунина Коле

(1900—1905), родившемуся от брака с А. П. Цавки (1879—1963). В. И. Муромцева-Бунина пишет, что летом 1901 года, «будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи, и среди них «На глазки синие, прелестные...». Это стихотворение, конечно, о сыне». По ее словам, у Бунина были еще стихи о сыне, «очень прощательные, но нигде не напечатанные. Раз он прочитал их мне» («Жизнь Бунина», стр. 131, 159).

Ночь и день (стр. 140).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 12, декабрь.

Ручей (стр. 141).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 9, сентябрь, без заглавия.

«На высоте, на снеговой вершине...» (стр. 141).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 2, февраль, под заглавием «В Альпах», с подзаголовком: «Сонет на льдине».

«Еще и холоден и сыр...» (стр. 142).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 1, январь, под заглавием «Оттепель».

«Высоко в просторе неб...» (стр. 142).— Журн. «Русская мысль», М. 1901, № 6, июнь.

«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар мой ей!..» (стр. 143).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 6, июнь.

«Дымится поле, рассвет белест...» (стр. 144).— Журн. «Русская мысль», М. 1901, № 8, август, под заглавием «С кургана».

«Гроза прошла над лесом стороною...» (стр. 144).— Журн. «Жизнь», СПб. 1901, № 1, январь.

В старом городе (стр. 145).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 7, июль.

«Отошли закаты на далекий север...» (стр. 146).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 179, 1 июля.

«Облака, как призраки развалин...» (стр. 146).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 179, 1 июля.

«Стоили ночи северного мая...» (стр. 146).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 8, август, под заглавием «Ночью».

На монастырском кладбище (стр. 147).— Газ. «Курьер», М. 1902, № 2, 2 январь.

Кедр (стр. 148).— «Новые стихотворения», 1902.

«В поздний час мы были с нею в поле...» (стр. 148).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 8, август, под заглавием «Отрывок».

Ночь (стр. 149).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 1, январь. *Мемфис* — древнеегипетский город, во времена Древнего Царства (III тыс. до н. э.) был столицей Египта. *Вавилон* — древний город в Двуречье (на территории совр. Ирака), столица Вавилонского царства в XIX—VI вв. до н. э. *Понт* — Понт Эвксинский, древнегреческое название Черного моря.

«Спокойный азор, подобный взору лапи...» (стр. 150).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 6, июнь.

«Зв все тебе, господь, благодарю!» (стр. 151).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 7, июль, под заглавием «На закате».

«Высоко наш флаг трепещет...» (стр. 151).— «Новые стихотворения», 1902, под заглавием «В море».

Утро (стр. 152).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 7, июль.

Всесиянка (стр. 152).— «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», СПб. 1901, № 12, декабрь, под заглавием «Гроза». Печатается по книге «Начальная любовь».

«Полями пахнет, свежих трав...» (стр. 154).— «Новые стихотворения», 1902, под заглавием «Под тучей».

«Звезда над темными далекими лесами...» (стр. 155).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 6, июнь, под заглавием «Вечерняя звезда».

Надпись на могильной плите (стр. 155).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 8, август.

Из Апокалипсиса (стр. 156).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 3, март, под заглавием «Слава господу», с подзаголовком: «Апокалипсис, гл. IV».

«Пока я шел, я был так мал!...» (стр. 157).— «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива», СПб. 1901, № 9, сентябрь, под заглавием «На горах».

«Из тесной пропасти ущелья...» (стр. 158).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Просветы».

«Не слышать еще тяжелого грома за лесом...» (стр. 158).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 7, июль, под заглавием «В июле».

«Любил он почти темные шатры...» (стр. 159).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 8, август, под заглавием «Курган».

«Это было глухое, тяжелое время...» (стр. 159).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 8, август, под заглавием «Сон-Цветок».

«Моя печаль теперь спокойна...» (стр. 160).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 270, 30 сентября.

«Звезды ночи осенней, холодные звезды!..» (стр. 160).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Осень».

«Шумели листья, облетая...» (стр. 161).— Газ. «Курьер», М. 1902, № 270, 30 сентября.

«Светло, как днем, и тень за нами бродит...» (стр. 161).— «Стихотворения», 1903.

«Смотрит месяц внастий, как сыплются желтые листья...» (стр. 162).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 1, январь.

Отрывок (стр. 162).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 1, январь, под заглавием «Из дневника».

Эпитафия (стр. 163).— «Журнал для всех», СПб. 1901, № 9, сентябрь, с посвящением К. Д. Бальмонту.

«Морозное дыхание метели...» (стр. 164).— «Новые стихотворения», 1902.

«Жесткой, черной листовой шелестит и трепещет кустарник...» (стр. 164).— Журн. «Русская мысль», М. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Метель».

На острове (стр. 165).— «Литературно-художественный сборник «На трудовом пути», М. 1901.

«Не устану воспевать вас, звезды!..» (стр. 165).— Журн. «Мир божий», СПб. 1901, № 11, ноябрь, под заглавием «Вечное».

Крещенская ночь (стр. 166).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 1, январь. Печатается по тексту журн. «Первопоны», Рига, 1926, № 9.

«Перед закатом убежало...» (стр. 167).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 8, август, под заглавием «Первая любовь».

«Багряная печальная луна...» (стр. 168).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 10, октябрь, под заглавием «На окраинах Сиваша».

Смерть (стр. 169).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 8, август.

Лесная дорога (стр. 169).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 8, август.

На озере (стр. 170).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 7, июль. Печатается по кн. «Начальная любовь».

«Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена...» (стр. 171).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 8, август, под заглавием «В море». *Селена (древнегреч.)*— луна.

«Если б вы и сошлись, если б вы и смирнялись...» (стр. 171).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 8, август. По свидетельству В. Н. Муромцевой-Бунинной, это стихотворение обращено к первой жене Бунина А. Н. Цакки, совместная жизнь с которой была непродолжительна: менее двух лет («Жизнь Бунина», стр. 137).

«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...» (стр. 172).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 8, август.

«Крест в долине при дороге...» (стр. 172).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 9, сентябрь.

«Как все спокойно и как все открыто!...» (стр. 173).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 9, сентябрь, под заглавием «Осень».

Бродяги (стр. 173).— Журн. «Образование», СПб. 1902, № 10, октябрь.

Забывтый фонтан (стр. 174).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 9, сентябрь, под заглавием «Осенние дни». Печатается по кн. «Начальная любовь».

Эпитафия (стр. 175).— Газ. «Курьер», М. 1902, № 144, 26 мая, под заглавием «На кладбище».

Зимний день в Оберланде (стр. 175).— Журн. «Русская мысль», М. 1902, № 10, октябрь.

В ноябре 1900 года вместе с художником В. П. Куровским Бунин совершил путешествие по Швейцарии, в частности — в Оберланду и Зильбергорпу. «Погода была солнечная, в долинах лето, на горах ледный, веселый зимний день ливарский, — писал Бунин брату Юлию Алексеевичу. — ...Долго шли зимою по лесу, обливаясь потом. Шли без остановки более четырех часов и пришли в Мюррен. Там мертвая зимняя горная тишина. Пустой отель опять... Куровский играл из Бетховена, и я почувствовал на мгновение все мертвое вечное величие снежных гор» («Новый мир», 1956, № 10, стр. 208).

Ковдор (стр. 176).— Журн. «Мир божий», СПб. 1902, № 9, сентябрь.

«Широко меж вершин дубравы...» (стр. 176).— Сб. «Итоги», М. 1903, под заглавием «Полдень».

1903—1906

Северная береза (стр. 178).— Альманах «Факелы», кн. 1, СПб. 1906. Это и последующие шесть стихотворений печатаются по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, с правкой Бунина (ИМЛИ).

Портрет (стр. 178).— Журн. «Золотое руно», М. 1906, № 5, май.

Мороз (стр. 179).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906.

«Норд-остом жгут пылающие зори» (стр. 180).— Журн. «Северные записки», СПб. 1914, № 2, февраль, под заглавием «Норд-ост».

После битвы (стр. 180).— Журн. «Правда», М. 1905, № 9—10, сентябрь—октябрь.

«На окне, серебряном от инея...» (стр. 181).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906, под заглавием «Хризантемы».

«В сумраке утра проносится призрак Одина...» (стр. 181).— Сб. «Зарины», выпуск 1, СПб. 1908, под заглавием «Один». *Один* — в скандинавской мифологии — глава богов. Подробнее о нем см. в прим. к стр. 291. *Лохим* — название Скандинавии в так называемых «Оссановых поэмах» Дж. Макферсона.

Жена Азиса (стр. 182).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября.

Ковсерь (стр. 182).— «Знание», кн. 7, СПб. 1905, под заглавием «Мираж». Эпиграф — Коран, 108, 1. Слово *Ковсерь* («обильный») толкуется в мусульманском предании как название райского источника (реки). *Сакар* — адское пламя (в Коране). *Джиннат* (Джаннат), собственно, и значит «сад» — в Коране одно из обозначений рая.

Стихотворения на восточные темы Бунин неоднократно и в журнальных публикациях и в сборниках объединял в циклы, давал им заголовки «Из цикла «Восток», «Восток» и т. п. Однако полностью этот цикл никогда не был им собран. Наиболее полно он был представлен в сборнике «Стихотворения 1903—1906», 1906, где под общим заглавием «Ислам» были объединены

следующие стихотворения: «Путеводные знаки», «Пастухи» («Топет солнце, рдлым углем топет...»), «Мираж» («Ковсерь»), «Черный камень» («Черный камень Каабы»), «Мудрым», «Зеленый стяг», «Священный прах», «За измосу», «Авраам», «Почь Аль-Кадра», «Сатана богу».

Рецензируя этот сборник Бунина, А. Блок обратил особое внимание на восточные стихи Бунина: «Мир его — по преимуществу — мир зрительных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний. За пределы этого мира не выходит и та экзотика, которая присуща восточным стихотворениям Бунина. Это — экзотика красок, сонное упоение гортанными звуками чужих имен и слов... Истинное проникновение в знойную тайну Востока — в стихотворении «Зеленый стяг»... Читая такие стихотворения, мы признаем, что у Лермонтова был свой Восток, у Полонского — свой и у Бунина — свой; настолько живо, индивидуально и пышно его восприятие» (А. Блок, Собр. соч., т. 5, М.—Л. 1962, стр. 141—142).

«Звезды горят над безлюдной землею...» (стр. 183). — «Знание», кн. 7, СПб. 1905, под заглавием «Джинны». *Джинны* («гении») — по представлениям мусульман, духи, населяющие горы, пустыни, оазисы. Они рождаются и умирают, как люди, хотя природа их иная (они созданы из огня); джинны могут быть верными и неверными, добрыми и злыми; падающие звезды — это огненные копья, которыми ангелы отгоняют джиннов, подкрадывающихся к небу, чтобы подслушать, о чем там говорят.

Ночь Аль-Кадра (стр. 183). — Журн. «Пробуждение», СПб. 1906, № 7, 1 апрель, под заглавием «Млечная Река». Эпиграф — Коран, 97, 4—5. *Ночь Аль-Кадра* («ночь могущества» или «ночь определений», «благословенная ночь») — по мусульманскому преданию, ночь, когда ангел Гавриил (которому бог повелел передавать Магомету слова Корана для объявления людям), сойдя с неба, впервые явился Магомету, лежавшему на земле и погруженному в размышления о боге. Согласно традиции, эта ночь приходится на 24-е число месяца рамадана. В эту ночь утверждаются и разрешаются дела вселенной на год. *Великий трон* — престол бога на седьмом — самом высоком — небе.

«Далеко на севере Капелла...» (стр. 184). — «Знание», кн. 1, СПб. 1904, под заглавием «Дома».

«Проснулся я внезапно, без причины...» (стр. 184) — Журн. «Мир божий», СПб. 1905, № 10, октябрь.

«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...» (стр. 185).— Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908.

«Уж подсыхает хмель на тыне...» (стр. 185).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 10, октябрь, под заглавием «Сентябрь».

«Там, на припек, спят рыбацкие ковши...» (стр. 185).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1903, № 11, июль, под заглавием «В плавилх».

«Первый утрепник, серебряный мороз!..» (стр. 186).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1906, № 9, сентябрь, под заглавием «Утрепник».

«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...» (стр. 187).— Журн. «Золотое руно», М. 1906, № 7—9, июль—сентябрь, под заглавием «С обрыва».

Канун Купалы (стр. 187).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1904, № 7, июль. *Купала* (день Ивана Купалы, 7 июля) — народный праздник. Травы, собранные в ночь под Ивана Купалу, считались целебными.

Мира (стр. 188).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному Буниным (ИМЛИ). *Мира* (лат. «удивительный») — звезда в созвездии Кита, яркость ее меняется в пределах от второй до десятой звездной величины. *Пирр* (конец IV — нач. III вв. до н. э.) — царь Эпира (область на северо-западе Греции). *Талисманы* — возможно, имеется в виду рассказ о том, что один из пальцев ноги Пирра обладал таинственной делительной силой и при кремации его тела не сгорел; делительную силу в руках Пирра обрела и лапка принесенного в жертву белого петуха.

Диза (стр. 189).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904.

Надпись на чаше (стр. 190).— «Знание», кн. 6, СПб. 1905, без заглавия.

Могила поэта (стр. 190).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 7, июль.

Кольцо (стр. 191).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904.

Запустение (стр. 191).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904, под заглавием «Над Окой».

Одиночество (стр. 194).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906, с посвящением П. А. Нилусу. Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному

Н. А. Буниным (ИМЛИ). Стихотворение в чтении автора записано на пластинку в 1910 г.

Тепь (стр. 194).— Журн. «Мир божий», СПб. 1903, № 11, ноябрь, без заглавия.

Голуби (стр. 195).— «Ежемесячный журнал для всех» СПб. 1903, № 11, ноябрь.

Сумерки (стр. 196).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904.

Перед бурей (стр. 197).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904.

В крымских степях (стр. 197).— «Знание», кн. 1, СПб. 1904, под заглавием «В евпаторийских степях». *Шатер-Гора* — гора в Крыму близ Алушты (Чатырдаг).

Жасмин (стр. 198).— Журн. «Новое слово», М. 1907, № 1, под заглавием «Казбек». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному Буниным (ИМЛИ).

Полярная звезда (стр. 198).— Альманах «Факелы», кн. 1, СПб. 1906, под заглавием «Полюс».

«Набегает впотьмах...» (стр. 199).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906, под заглавием «Жизнь». Это и следующее стихотворение печатаются по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному Буниным (ИМЛИ).

Перекресток (стр. 199).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Вальдер (стр. 200).— Журн. «Мир божий», СПб. 1906, № 7, июль. В экземпляре третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915 (ИМЛИ), Бунин сначала поставил под стихотворением дату «1904», а потом зачеркнул все стихотворение. *Вальдер* (Вальдр) — в скандинавской мифологии светлый бог, сын Одина. Когда Вальдера стали мучить зловещие сны, его мать взяла со всех вещей клятву, что они не будут вредить Вальдеру. Только с ростка омелы, который показался ей слишком мал, не взяла она клятвы. Узнав об этом, коварный бог *Локи*, зачинщик всякого зла, срезал росток омелы и, договорив слепого бога Хёда (*Хаду*) принять участие в забаве богов (они развлекались тем, что кидали камни и копья в неуязвимого Вальдера), направил его руку так, что тот ростком омелы на смерть поразил Вальдера.

Огни небес (стр. 200).— Журн. «Мир божий», СПб. 1904, № 8, август, под заглавием «Угасшие звезды».

Развалины (стр. 201).— Журн. «Правда», М. 1904, № 11, ноябрь.

Косогор (стр. 202).— Журн. «Русская мысль», М. 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Разлив (стр. 202).— Журн. «Мир божий», СПб. 1904, № 9, сентябрь.

Сказка (стр. 203).— Журн. «Правда», М. 1904, № 1, январь.

Розы (стр. 204).— Журн. «Правда», М. 1904, № 6, июнь, без заглавия.

На маяке (стр. 204).— Журн. «Мир божий», СПб. 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

В горах (стр. 205).— Журн. «Правда», М. 1904, № 2, февраль.

Штиль (стр. 205).— Журн. «Правда», М. 1904, № 12, декабрь.

На белых песках (стр. 206).— Журн. «Мир божий», СПб. 1904, № 11, ноябрь, без заглавия.

Самсон (стр. 206).— Журн. «Мир божий», СПб. 1904, № 12, декабрь, под заглавием «Слепота». *Самсон* — библейский герой, прославившийся подвигами в борьбе с угнетателями-филистимлянами. Враги, узнав, что богатырская сила Самсона — в его волосах, захватили его хитростью, остригли и ослепили. Они привели его на устроенное по этому случаю торжество и стали глумиться над ним, но Самсон, у которого вновь стали отрастать волосы, уперся в колонны и обрушил дом, погибнув вместе с врагами под развалинами. *Ваал* — солнечный бог язычников Финикии и Палестины; его культ, чувственный и жестокий, согласно Библии, не раз соблазнил петвердых в вере. *Виссон* — тонкая драгоценная ткань.

Склон гор (стр. 207).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1904, № 8, август, без заглавия.

Сапсан (стр. 207).— Журн. «Мир божий», СПб. 1905, № 4, апрель, с подзаголовком: «Поэма». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному И. А. Буниным (ИМЛИ).

По свидетельству М. К. Куприной-Иорданской, «Сапсан» понравился А. И. Куприну, охотно поместившему его в журнале «Мир божий». Стихотворение привлекло внимание М. Горького; Бунин писал А. М. Федорову 25 апреля 1905 года из Ялты: «Внжусь с Горьким... каждый день... Я за эти дни заразил его стихоманией, предварительно убив его «Сапсаном» («Русская литература», 1963, № 2, стр. 182). А. Блок, отмечая приверженность Бунина классическим традициям русского стиха, писал: «...Толь-

ко поэт, проникший в простоту и четкость пушкинского стиха, мог написать следующие строки о «сапсане», призрачной птице — «гении зла»: «Быть может, он сегодня слышал...» Далее А. Блок процитировал 40—48 строки стихотворения (А. Блок, Собр. соч., т. 5, М.—Л. 1962, стр. 144).

Русская весна (стр. 210).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 3, март, под заглавием «Весна».

«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...» (стр. 210).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906, под заглавием «Тлен».

«Старик сидел, покорно и уныло...» (стр. 211).— «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Старик».

«Осень. Чащи леса...» (стр. 211).— «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Ольха».

«Бегут, бегут листы раскрытой книги...» (стр. 212).— «Знание», кн. 21, СПб. 1908, под заглавием «Будни». В сб. «Знание» вошло в цикл «Русь», составленный из следующих стихотворений: «Там иволга, как флейта, распевала...», «Шла сиротка пыльной дорогой...», «Пустошь», «Бегут, бегут листы раскрытой книги...», «Кружево».

«Мы встретились случайно, на углу...» (стр. 213).— «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Новая весна».

Огонь на мачте (стр. 213).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

«Все море—как жемчужное зеркало...» (стр. 214).— Журн. «Золотое руно», М. 1906, № 7—9, июль—сентябрь, под заглавием «После дождя».

«В лесу, в горе, родник, живой и звонкий...» (стр. 214).— Журн. «Новое слово», М. 1906, № 15.

«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темпом...» (стр. 215).— «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «На ущербе».

«Густой зеленый ельник у дороги...» (стр. 215).— «Стихотворения 1903—1906», 1906, под заглавием «Олень».

Стамбул (стр. 216).— Сб. «Новое слово», кн. 1, М. 1907.

«Тонет солнце, рдяным углем тонет...» (стр. 217).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1906, № 5, май, под заглавием «Пастухи». *Баранта (гюрхо-гат.)* — поход, набег, здесь — племя.

«Ра-Озирис, владыка дня и света...» (стр. 217).— «Знание», кн. 16, СПб. 1907, под заглавием «Египет». *Озирис* (Осирис) — один из главных богов Египта (см. прим. к стр. 260), убитый своим коварным братом Сетом (бог войны и пустыни) и воскрешенный. (Боролся с Сетом и стал царем живых не сам Осирис, а его сын Гор.) Культ Осириса позднее сблизился с культом бога солнца Ра. В лодке Ра совершал свой ежедневный путь по небу. *Гизе* (Гиза) — город под Каиром, где находятся знаменитые пирамиды, сфинксы и другие памятники. *Фивы* (название древнеегипетское — у египтян город Уасет) долгое время были столицей древнего Египта (ныне на их месте — г. Луксор).

Потоп (стр. 218).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. Стихотворное переложение древневавилонского (или, как одно время было принято говорить, халдейского) мифа о потопе, близкое к современным Бунишу переводам клинописного источника. Имена вавилонских богов даны в устаревших (частично — искаженных) транскрипциях. *Касисадра* и *Ксисугрос* — варианты написания одного и того же имени. *Синпар* — город.

Эльбурс (стр. 219).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. *Эльбурс* — горы на севере Ирана у южного побережья Каспийского моря. *Пазаты* (пзаты) — светлые духи и второстепенные боги древнеиранской (огнепоклоннической) религии. *Митра* — солнечный бог света и истины, популярный в древности (в частности, в Римской империи), почитался и огнепоклонниками как один из пзатов.

Послушник (стр. 219).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Хал-Баш (стр. 220).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Тэмджид (стр. 221).— «Знание», кн. 7, СПб. 1905. *Скутари* (Ускюдар) — азиатская часть Стамбула. Здесь на башне Махмуд-эфенди, монастыря дервишей ордена *Джелвети* круглый год в полночь пели (в утешение страдающим бессонницей) так называемый *Тэмджид*, который в других мечетях поют только во время рамазана (мусульманский пост).

Тайна (стр. 221).— «Знание», кн. 7, СПб. 1905. *Элиф. Лам. Мим* — буквы арабского алфавита, начинающие 2-ю, 29-ю, 30-ю и 31-ю главы Корана. Буквы (числом от одной до четырех) стоят в начале 29 глав Корана. Значение этих букв утеряно, почему они называются «темными» или «неспособными». Мусульмане считают, что в них скрыты великие тайны, извест-

ные лишь пророку и ангелам. *Агмейдан* — площадь в Стамбуле, бывший константинопольский ипподром.

С острогой (стр. 222).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Мистику (стр. 223).— Журн. «Русская мысль», М. 1906, № 7, июль.

Статуя рабыни-христианки (стр. 223).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 9, сентябрь.

Призраки (стр. 224).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 7, июль.

Неугасимая лампада (стр. 224).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 7, июль.

Вершина (стр. 225).— «Знание», кн. 6, СПб. 1905, без заглавия.

Тропами потаенными (стр. 225).— Журн. «Мир божий», СПб. 1905, № 10, октябрь, без заглавия.

В открытом море (стр. 226).— «Знание», кн. 6, СПб. 1905, без заглавия.

Под вечер (стр. 226).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 8, август.

Сквозь ветви (стр. 227).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 10, октябрь.

Келья (стр. 227).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 9, сентябрь.

Судра (стр. 228).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 9, сентябрь. *Судра* (шудра) — низшая каста в древней Индии. Дети судры и брахманки (женщины из высшей касты) были париями (неприкасаемыми); одежда их — одеяния мертвых, — сказано в древнеиндийских законах.

Огонь (стр. 228).— «Знание», кн. 6, СПб. 1905, без заглавия.

Песок (стр. 229).— «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1905, № 4, апрель.

На винограднике (стр. 230).— Журн. «Правда», М. 1905, № 12, декабрь.

Океаниды (стр. 230).— Журн. «Правда», М. 1905, № 8, август. *Океаниды* — в греч. мифологии нимфы, дочери титана (древнего бога) Океана.

Стоп (стр. 231).— Журн. «Русская мысль», М. 1905, № 9, сентябрь. *Озеро Мерида* (правильнее — Меридово озеро) — древ-

Эсхил (стр. 247).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906. *Эсхил* (525—456 гг. до н. э.) — великий древнегреческий поэт, «отец трагедии». Его творчество отмечено раздумьями о соотношении между воздействием божественных сил и сознательным поведением людей, о человеческой «дерзновенности» и неотвратимом божественном возмездии. *Адрастея* — богиня возмездия.

У берегов Малой Азии (стр. 248).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906, под заглавием «У северных берегов Малой Азии».

Агни (стр. 249).— «Стихотворения 1903—1906», 1906. *Агни* — бог огня в древнеиндийской религии. Унося пожертвованное к богам, служил посредником между людьми и богами.

Столп огненный (стр. 249).— Журн. «Мир божий», СПб. 1906, № 7, июль. По библейскому преданию, бог (*Яхве*), выводя евреев из Египта, где они томилась в рабстве, вел их через пустыню, идя перед ними днем в образе облачного (*гуманного*) столпа, а ночью — *огненного*, освещавшего путь.

Сын человеческий (стр. 250).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Сон (стр. 250).— «Стихотворения 1903—1906», 1912.

Атлант (стр. 251).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906. *Атлант* — по древнегреческим мифам, один из титанов, богов старшего поколения. В наказание за участие в восстании титанов против Зевса и богов-олимпийцев Атлант был поставлен у западной оконечности земли на берегу омывающего земной круг *Океана*, где должен был головой и руками поддерживать небесный свод.

Золотой невод (стр. 252).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Новоселье (стр. 253).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Дагестан (стр. 253).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

На обвале (стр. 253).— Журн. «Современный мир», СПб. 1906, № 1, октябрь.

Айя-София (стр. 254).— «Знание», кн. 9, СПб. 1906. *Айя-София* — константинопольский храм св. Софии, превращенный после турецкого завоевания в мечеть. Выдающийся памятник зодчества (VI в.).

К востоку (стр. 254).— «Стихотворения 1903—1906», 1906.

Путеводные знаки (стр. 255).— «Литературно-научный сборник», СПб. 1906, книгоиздательство «Мир божий». Эпиграф — Коран, 16, 15—16. М. Казимирский, чьим переводом пользовался Буний (см. прим. к стр. 234), передает это место так: «Он расположил знаки на дорогах. Люди руководствуются

также в пути звездами» — и поясляет в примечаниях, что арабы «ориентируются в пустыне исключительно по большим каменным глыбам или по грудам разбросанных там и сям камней». *Могиб* (Магриб) — западная (к западу от Египта) часть мусульманского мира. *Агарь* — по Библии и арабским легендам, наложница Авраама, мать Измаила, изгнанная с сыном, заблудилась в пустыне, но была спасена богом. Арабы чтут Агарь и Измаила как своих родоначальников.

Мудрым (стр. 255).— Журн. «Адская почта», СПб. 1906, № 1.

Зеленый стяг (стр. 256).— Альмапах «Факелы», кн. 1, СПб. 1906. *Зеленый стяг* — священное знамя Магомета — длинный (более 3,5 м) кусок шерстяной материи зеленого цвета. Это была падевавшаяся сверх чалмы повязка одного из приверженцев Магомета, которую он после битвы распустил и водрузил на пике. Очень ветхое знамя это хранилось в сокровищнице турецких султанов. В свернутом виде его возили в походы, где участвовал султан, и лишь в самые критические моменты развешивали. *Эски* (турецк.) — старый. *Гавриил* — по мусульманской легенде, возглавив отряд конных ангелов, пришел в сражении на помощь Магомету.

Священный прах (стр. 257).— Журн. «Новое слово», М. 1906, № 24—25. *Гавриил* — по представлениям мусульман — ангел, посредник между богом и пророками; в продолжение 23 лет являлся Магомету, часто пещидно для других. Мусульмане считают, что пыль, на которую ступал Гавриил, может оживлять неодушевленные предметы.

Авраам (стр. 257).—«Стихотворения 1903—1906», 1906. *Авраам* (по-арабски Ибрахим) — ветхозаветный пророк, почитаемый и мусульманами. Стихотворение передает рассказ Корана о том, как бог наставлял Авраама в единобожии.

Сатана богу (стр. 258).—«Стихотворения 1903—1906», 1906. Эпиграф — свободная передача рассказа, несколько раз повторенного в Коране (напр., 38, 71—77). *Эблис*, или Иблис (от греч. «диаволос», он же шайтан — от еврейск. «сатана»), по Корану, мятежный ангел. Отказавшийся поклониться созданному богом человеку («я лучше него: ты создал меня из огня, а его создал из глины»), он за гордыню был проклят богом и изгнан из сонма ангелов, но испросил себе позволение соблазнять людей (кроме праведных).

Зейнаб (стр. 258).—«Стихотворения 1903—1906», 1906.

Хамсин — южный сухой ветер, дующий весной в Египте, сопровождается душливым зноем, приносит сухую горячую пыль.

Белые крылья (стр. 258). — «Ежемесячный журнал для всех», СПб. 1906, № 6, июнь. По преданию, раб, сопровождавший Магомета в путешествии в Сирию, рассказывал потом, будто он видел в пути, как два ангела крыльями защищали Магомета от зноя. *Медина* — город в Аравии, где Магомет нашел пристанище на время изгнания из родной Мекки и откуда началось распространение ислама.

Птица (стр. 259). — «Стихотворения 1903—1906», 1906. Эпиграф — Коран 17, 14. *Птица* — по представлениям арабов, знак судьбы (в домусульманские времена гадали по полету птиц). Смысл эпиграфа: у каждого своя судьба. *Хамсин* — см. прим. к стр. 258.

1906—1911

За гробом (стр. 260). — Журн. «Русская мысль», М. 1907, № 3, март, под заглавием «В день суда». «*Книга мертвых*» (название нынешнее) — древнеегипетский сборник магических текстов, который клали в саркофаг с мумией. Эти тексты (заговоры, заклинания и т. п.), по верованиям древних египтян, помогают умершему оправдаться в грехах и пройти через суд царя мертвых, бога Осириса, чтобы получить бессмертие в загробной жизни. *Гор* — сын Осириса, изображался с головой ястреба. *Анубис* — бог, стоявший на суде у весов, где взвешивалось сердце покойного; изображался с головой шакала (или в виде шакала).

Магомет в изгнании (стр. 260). — «Знание», кн. 16, СПб. 1907. *Магомет*, чья проповедь не находила отклика в родной Мекке, удалился в расположенный неподалеку город *Тайиф*; там он был тоже встречен недружелюбно, по преданию, но был вознагражден тем, что толпа джиннов, выслушав проповедь пророка, приняла Коран.

«Огромный, красный, старый пароход...» (стр. 261). — Журн. «Современный мир», СПб. 1906, № 1, октябрь, под заглавием «В порту».

«Люблю цветные стекла окон...» (стр. 262). — «Знание», кн. 15, СПб. 1907, под заглавием «Цветные стекла».

«Луна еще прозрачна и бледна...» (стр. 262). — Журн. «Золотое руно», М. 1908, № 7—8, июль — сентябрь, под заглавием «На даче».

«И скрип и визг над бухтой, паводочной...» (стр. 263).— «Знание», кн. 14, СПб. 1906, под заглавием «Утро».

«Проснусь, проснусь—за окнами, в саду...» (стр. 263).— «Знание», кн. 15, СПб. 1907.

Петров день (стр. 264).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб. 1907.

«Ограда, крест, зеленая могила...» (стр. 265).— Журн. «Перевал», М. 1906, № 2, под заглавием «Панихида».

«Растет, растет могильная трава...» (стр. 266).— Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907, под заглавием «Забвение».

Вальс (стр. 266).— Сб. «Новое слово», кн. 3, М. 1908, под заглавием «Сон».

«Мимо острова в полпочь фрегат проходил...» (стр. 266).— «Знание», кн. 29, СПб. 1910, под заглавием «Старинные стихи».

«Геймдаль искал родник божественный...» (стр. 267).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб. 1907, под заглавием «Геймдаль». *Геймдаль* (Хеймдаль) — в скандинавской мифологии «страж богов», живет на горах у края неба. Он видит ночью, слышит, как растет трава и шерсть на оленях.

Пугач (стр. 268).— Журн. «Золотое руно», М. 1906, № 7—9, июнь—сентябрь. Печатается по тексту газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Дядька (стр. 268).— «Знание», кн. 15, СПб. 1907, без заглавия.

Стрижи (стр. 269).— Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907.

На рейде (стр. 269).— Журн. «Перевал», М. 1906, № 2.

Джордано Бруно (стр. 269).— «Знание», кн. 14, СПб. 1906.

В Москве (стр. 271).— Журн. «Новое слово», М. 1906, № 3.

«Леса в жемчужном нпее. Мороз по...» (стр. 272).— Журн. «Современный мир», СПб. 1909, № 1, январь, под заглавием «Иней». Печатается по экземпляру третьего тома Полного собрания сочинений, П. 1915, исправленному Бунным (ИМЛИ).

Проводы (стр. 272).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб. 1907.

Дил (стр. 272).— Журн. «Перевал», М. 1907, № 4, февраль.

Гермон (стр. 273).— Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 11, июль. *Гермон* (Большой Гермон, по-арабски Джебель

аль Шейх, то есть Шейх-гора) — южная вершина Антилибана (горный массив в Сирии). *Друзы* — горы Ливана и Сирии, воинственные и свободолюбивые, составляют замкнутую секту, исповедующую разновидность мусульманства. *Гениссарет, Тивериада, Назарет, Луз* и др. — места, связанные с евангельскими и библейскими преданиями.

«На пути под Хевроном...» (стр. 274). — Журн. «Русская мысль», М. 1907, № 9, сентябрь, под заглавием «Под Хевроном». *Хеврон* — город в Палестине (ныне в Иордании) к юго-западу от Иерусалима. Упоминается в библейских рассказах о временах патриархов, к которым относится и *Авраам* с сыном *Исааком* (*Сарра* — жена Авраама). *Гробница Рахили* — см. прим. к следующему стихотворению.

Гробница Рахили (стр. 274). — Сб. «Щит», М. 1915. *Рахиль* — по библейской легенде, жена патриарха Иакова (Израиля), «была красива станом и красива лицом» (Библия), умерла от родов по дороге в Вифлеем. Так называемая «*гробница Рахили*» — кубическое строение с маленькими куполами — позднее сооружение.

Иерусалим (стр. 275). — Журн. «Русская мысль», М. 1907, № 9, сентябрь. В журнале и в Полном собрании сочинений, П. 1915, стихотворение разделено на три части: «Эго было весной. За восточной стеной...», «В полдень был я на кровле. Кругом подо мной...» и «От Галгала до Газы, — сказал проводник...».

Храм Солнца (стр. 276). — Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907. Храм в древнем городе Сирии Баальбеке (городе Вала, то есть солнца, отсюда и древнее греческое название города: Геліополь). Развалины храма (II—III вв.) поражают монументальностью. Среди руин возвышаются на двадцать метров шесть сохранившихся (из 54) колонн, каждая около семи метров в обхвате. *Талес* — белое покрывало с черными или голубыми полосами — молитвенное облачение у евреев.

В Баальбеке Бунип был 5 и 6 мая 1907 года. 6 мая он писал неустановленному лицу: «Мы в Сирии, в Баальбеке, где пахотятся «циклонически грандиозные» руины храма Солнца — древнеримского... Из Бейрута едем по железной дороге в Дамаск. По пути свернули в Баальбек. Впечатления от дороги среди гор Ливана и Антилибана, а также в Баальбеке не поддаются, как говорится, никакому описанию. Из Дамаска поедем в Тивериаду» (сб. «Весна пришла», Смоленск, 1959, стр. 234—235). По пути из

Дамаска Бунип, очевидно, продолжал работу над стихотворением «Храм Солнца». В. П. Муромцева-Бунипа вспоминает: «Я прочел мне свои новые стихи, которые он написал по дороге из Дамаска, о Баальбеке и сопет «Гермонов», написанный уже здесь» (В. П. Муромцева-Бунина, Беседы с памятью).

«Чалма на мудром — как луна...» (стр. 277). — Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября.

Воскресение (стр. 277). — Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908, под заглавием «Смерть».

«Шла сиротка пыльной дорогой...» (стр. 277). — «Знание», кн. 21, СПб. 1908, под заглавием «Сиротка».

Слепой (стр. 278). — «Знание», кн. 15, СПб. 1907.

Новый храм (стр. 279). — Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907, под заглавием «Христос». Стихотворение написано на пластинку в чтении автора в 1910 году. Назарет — город в Галилее. По евангельским сказаниям, в нем прошло детство Христа.

Колибри (стр. 279). — Сб. «Новое слово», кн. 3, М. 1908.

«Кошка в крапине за домом жила...» (стр. 280). — Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 9, сентябрь, под заглавием «Кошка», вместе со стихотворением «Обвал», под общим заглавием «Из цикла «Смерть».

«Присела на могильнике Савуре...» (стр. 280). — Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907, под заглавием «Дети».

«Свежа в апреле ранняя зоря...» (стр. 281). — Журн. «Северные записки», СПб. 1914, № 2, февраль, под заглавием «Причастницы».

«Там инюлга, как флейта, распева...» (стр. 281). — «Знание», кн. 21, СПб. 1908, под заглавием «В роще».

«Нищий» (стр. 282). — «Ежемесячный журнал», СПб. 1914, № 1, январь.

«Щебечут пестрокрылые чеккапки...» (стр. 282). — Полное собрание сочинений, т. 3, под заглавием «За Дамаском».

«В столетнем мраке черной ели...» (стр. 283). — «Митина любовь», 1925.

«Тут поконтся хан, покоривший несметные страды...» (стр. 283). — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, № 5334, 31 октября.

Тезай (стр. 283). — Сб. «Новое слово», кн. 1, М. 1907. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929. Стихотворение —

вольная композиция по мотивам греческих мифов. *Тезей* — герой, сын афинского царя *Эгея*. Возвращаясь с Крита, где он убил Минотавра (чудовище, к которому Тезей отправился в числе посланных на съедение афинских юношей и девушек), Тезей забыл заменить, как было условлено на случай удачи, черный траурный парус белым. Эгей, уверившись в гибели сына, бросился в море. Коварство *кентавра* (мифическое существо — получеловек-полуконь) Несса погубило другого героя — Геракла. Умирая от отравленной стрелы Геракла, чьей женой он пытался овладеть, Несс передал ей ком своей запекшейся крови под видом талисмана, который поможет ей сохранить любовь мужа. Надев нитертый этим талисманом плащ, Геракл погиб. *Звезда* (точнее созвездие) *Кентавра* — согласно мифу, кентавр Хирон, взятый после смерти на небо. Общего с Нессом у него только то, что и он погиб от стрелы Геракла (случайно раненный ею, он, мучась от яда, отказался от бессмертия, которым обладал). Хирон мифов не похож на «кентавра» стихотворения — он мудр, справедлив и благожелателен.

Пустошь (стр. 284). — «Знание», кн. 21, СПб. 1908.

Канн (стр. 285). — Журн. «Русская мысль», М. 1907, № 10, октябрь. *Баальбек* — см. прим. к стр. 276. *Канн* — по Библии, старший сын Адама и Евы, убивший из зависти своего брата Авеля. Проклятый богом, стал изгнанником и скитальцем, построил город. Рассказ о Канне попал и в Коран. «...*Скалу на скалу громоздит...*» — основание Баальбека сложено из огромных (до 20 × 4 м) камней.

Пугало (стр. 286). — «Знание», кн. 15, СПб. 1907, с эпиграфом: «Страх-батюшка. Пословица».

Наследство (стр. 287). — Сб. «Новое слово», кн. 1, М. 1907.

Пля (стр. 288). — Журн. «Новое слово», М. 1907, № 4, с посвящением: «Н. А. Крашенинникову».

На Плющихе (стр. 289). — Журн. «Перевал», М. 1907, № 4, февраль.

Безнадежность (стр. 290). — Журн. «Перевал», М. 1907, № 10, август, вместе со стихами «Сатурн», «Трясина», «С корабля», под общим заглавием «Из цикла «Смерть».

Трясина (стр. 290). — Журн. «Перевал», М. 1907, № 10, август.

Один (стр. 291). — «Знание», кн. 16, СПб. 1907. *Один* — в скандинавской мифологии — глава и отец рода богов, бог ветра.

и буре, войны, вдохновения и мудрости. Его представляли в виде одноглазого длиннобородого старика в низко надвиннутой шляпе и синем плаще. Одина всегда сопровождают два ворона — *Хугин* («мысль») и *Мунин* («память»).

Сатурн (стр. 291).— Журн. «Перевал», М. 1907, № 10, август. *Сатурн*, по представлению арабских астрологов, холодная и сухая планета, влияние ее на судьбу людей — злое. Год, начинающийся со дня Сатурна — субботы, несет с собой скудость неба и земли, войну, голод, болезни, жестокость правителей. В алхимии Сатурн символ *свинца*.

С корабли (стр. 292).— Журн. «Перевал», М. 1907, № 10, август.

Обвал (стр. 292).— Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 9, сентябрь, без заглавия.

«Вдоль этих плоских знойных берегов...» (стр. 293).— Сб. «Новое слово», кн. 1, М. 1907, под заглавием «Берег».

Балагула (стр. 293).— Журн. «Русская мысль», М. 1907, № 8, август, под заглавием «В балагуле».

Из Анатолийских песней (стр. 294).— Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907.

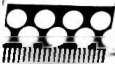
Закоп (стр. 295).— Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 11, ноябрь.

Мандрагора (стр. 295).— Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 11, ноябрь. *Мандрагора* — растение из семейства пасленовых — ее корень употреблялся как лекарственное, прижиготное и колдовское снадобье. С мандрагорой с древности было связано множество суеверий и легенд. *Каин* — см. прим. к стр. 285.

Розы Ширая (стр. 295).— «Знание», кн. 16, СПб. 1907. *Ирем* (Ирам) — город народа адли. По легенде, один из их царей, услышав об усадбах рай, захотел устроить у себя такие же сады и дворцы, но они были разрушены богом. Ирем упоминает в Коране, сравнение с садами Ирема часто встречается у восточных поэтов.

Собезьяной (стр. 296).— «Знание», кн. 20, СПб. 1908, вместе со стихотворением «Трои Соломона», под общим заглавием «Рассказы в стихах».

Мекам (стр. 297).— Журн. «Современный мир», СПб. 1907, № 11, ноябрь. *Мекам* — этим словом мусульманские аскеты, которые во время молитвенных ночных бдений впадают в экстаз



и «видят» проявления бога, пользуются для обозначения разных степеней приближения к божеству. Буквальный перевод этого слова «место», оно заимствовано из Корана (17, 81: «зато может случиться, что бог тебя вознесет по премия такого бедствия в блаженное место», перев. М. Казимирского — А. Николаева). *Расстояние лука* (то есть выстрела из лука) — «На расстоянии двух луков или ближе» Магомет, по его словам, приближался к богу.

Бессмертный (стр. 297).— «Знание», кн. 16, СПб. 1907.

Каир (стр. 298).— Сб. «Новое слово», кн. 2, М. 1907. Каирская цитадель (Эль Кала) — крепость, построенная Саладином в 1176 году и господствующая над городом. Али — мечеть Мохамед-Али (XIX в.) на одноименной площади возле цитадели.

Истара (стр. 298).— «Знание», кн. 16, СПб. 1907. *Истара* (Иштар) — богиня любви, плодородия, войны и охоты в древнем Двуречье; ее символом считалась планета Венера. *Син* — бог луны.

Александр в Египте (стр. 299).— Альманах «Шиповник», кн. 2, СПб. 1907. Александр Македонский, завоевавший Египет (332 г. до н. э.), предпринял путешествие в оазис Сива (*Сивах*) к храму бога Аммона. Согласно легенде, два вора (по другому варианту — два дракона) служили проводниками войску Александра, сбившемуся с пути в тучах пыли, несомой южным ветром. *Грядущий бог* — Христос. *Друг темных рыбак* — по Евангелию, апостолы Петр, Андрей, Иаков до призвания были рыбаками.

Бог (стр. 300).— Журн. «Современный мир», СПб. 1908, № 11, ноябрь.

Савоф (стр. 300).— «Знание», кн. 29, СПб. 1910, под заглавием «В детстве».

Гальциона (стр. 301).— Газ. «Одесские новости», 1910, № 8071, 21 марта. В основе стихотворения — миф, переданный Овидием. *Гальциона* (Альциона) — дочь бога ветров *Эола*. Когда море принесло назад тело ее мужа Кека, погибшего при кораблекрушении, боги, сжалившись над ними, превратили обоих в птиц (зимородков). «Днями Гальционы» древние называли несколько спокойных безветренных дней около времени зимнего солнцестояния.

В архипелаге (стр. 302).— «Знание», кн. 24, СПб. 1908.

Бог полдня (стр. 302).— Журн. «Золотое руно», М. 1908, № 10, октябрь.

Горный лес (стр. 303).— «Знание», кн. 24, СПб. 1908. Храм «Волчьего Зевса» стоял когда-то на вершине (1420 м) горы Ликея (то есть «Волчьей») в Аркадии (область в Южной Греции). Здесь в древнейшие времена приносили человеческие жертвы.

Иерихон (стр. 303).— «Знание», кн. 25, СПб. 1908.

Караван (стр. 304).— «Знание», кн. 25, СПб. 1908.

Долина Иосафата (стр. 305).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910. Долина Иосафата (отождествлялась с долиной Кедрон к северо-востоку от Иерусалима) — по Библии, место будущего Страшного суда.

Бедуин (стр. 305).— «Знание», кн. 25, СПб. 1908. Абая — верхняя одежда, род плаща; *гиксы* (гиксосы) — кочевые племена, завоевавшие в древности (ок. 1700 г. до н. э.) Египет; *Сиддим* (*древнеевр.* «равнины») — область на юго-востоке Палестины.

Люцифер (стр. 306).— «Литературно-художественный сборник издательства «Непогасшие огни», кн. 1, Екатеринбург, 1910. Люцифер (лат. «световосец») — здесь утренняя звезда. Эректон — Эрехтейон, храм в древних Афинах (развалины его сохранились); Авель — в Библии, один из сыновей Адама, кроткий пастух, убитый своим братом Каином.

Имру-уль-Кайс (стр. 306).— Сб. «Новое слово», кн. 3, М. 1908, под заглавием «След», с эпиграфом: «Его обдувает с юга и севера. Имру-уль-Кайс». Имру-уль-Кайс (Амур-уль-Кайс) — арабский поэт доисламского времени. Писал в середине VI века.

«Открыты окна. В белой мастерской...» (стр. 307).— Сб. «Новое слово», кн. 3, М. 1908, под заглавием «Дача».

Художник (стр. 308).— Журн. «Современник», СПб. 1913, № 5, май. Стихотворение о А. П. Чехове и его доме в Ялте, где Бунин часто бывал. «У Чеховых я как родной», — писал Бунин брату Юлию Алексеевичу в 1901 году (сб. «На родной земле», Орел, 1958, стр. 305).— Между Чеховым и Буниным установились близкие дружественные отношения со времени их встречи в Ялте в 1899 году (см. воспоминания Бунина о Чехове в т. 9 наст. изд.).

Отчаяние (стр. 308).— Журн. «Северные записки», СПб. 1914, № 2, февраль. *Ламб саватфан* — «Для чего ты меня оставил», по евангельской легенде, предсмертный крик Иисуса на кресте, обращенный к богу.

«В полях сухие стебли кукурузы...» (стр. 309).— Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908, под заглавием «Летаргия».

Трон Соломона (стр. 309).— «Знание», кн. 20, СПб. 1908. **Соломон** — царь Израильско-Иудейского царства (ок. 960—935 гг. до н. э.). В основе стихотворения мусульманская легенда (рассказы Корана и его комментаторов) о мудром и могучем Соломоне (Сулеймане), повелителе джиннов («гении пустынь»), которые работали на него. Состарившийся Соломон боялся, что после его смерти джинны не закончат работ, и просил бога скрыть от них его смерть. Он умер во время молитвы, склоненный, опираясь на посох, и джинны ни о чем не догадывались, пока «земная гадина» не извела посох, поддерживавший тело. В числе работ джиннов был и трон (описание его восходит к Библии). **Геджас** (Хиджас) — пустынная область на северо-западе Аравии.

Рыбалка (стр. 310).— Журн. «Современный мир», СПб. 1908, № 1, январь.

Баба-Яга (стр. 311).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Дикарь (стр. 312).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Папутствие (стр. 312).— «Стихотворения 1907 г.», 1908.

Последние слезы (стр. 313).— «Знание», кн. 24, СПб. 1908.

Рыбачья (стр. 313).— «Знание», кн. 24, СПб. 1908.

Випо (стр. 314).— Сб. «Новое слово», кн. 3, М. 1908.

Вдовец (стр. 314).— Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908.

Христл (стр. 315).— Сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908.

Кружево (стр. 315).— «Знание», кн. 21, СПб. 1908. Печатается по тексту газеты «Возрождение», Париж, 1926, № 499, 14 октбрия.

Туман (стр. 316).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910.

После Мессинского землетрясения (стр. 316).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «В Мессинском проливе». Землетрясение в Сицилии в 1908 году почти совершенно разрушило город Мессину. В 1909 году Бунин путешествовал вместе с Верой Николаевной по Сицилии. Они жили в Палермо. «Несколько дней мы осматривали столицу Сицилии,— пишет Вера Николаевна,— смотрящую на север, в бухте которой никогда не отражаются ни солнце, ни месяц... Из Палермо мы отправились в Сиракузы... Оттуда поехали в Мессину, где испытали настоящий ужас от того, что сделало землетрясение. Особенно поразила меня уцелевшая стена с портретами,—

какой-то домашний уют среди щепия» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, кн. 64, стр. 214—215).

«В мелкоколосье пело глухо, строго...» (стр. 316).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «Жолдун».

Сеникос (стр. 317).— «Знание», кн. 27, СПб. 1909.

Собака (стр. 319).— «Знание», кн. 30, СПб. 1910.

Могилы в скале (стр. 319).— «Знание», кн. 30, СПб. 1910.

Полночь (стр. 320).— «Сборник первый. Книгоиздательство для детей «Утро». Изд. 2-е, М. 1913, под заглавием «Остров».

Расчет (стр. 320).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910, под заглавием «До солнца».

Полдень (стр. 321).— «Знание», кн. 30, СПб. 1910.

Вечер (стр. 322).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Мертвая зыбь (стр. 322).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910.

Прометей в пещере (стр. 323).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Морской ветер (стр. 323).— Сб. «Друкарь», М. 1910.

Сторож (стр. 324).— Сб. «Друкарь», М. 1910.

Берег (стр. 324).— Сб. «Друкарь», М. 1910.

Спор (стр. 325).— Журн. «Современный мир», СПб. 1909, № 12, декабрь, под заглавием «Вино». Фессалия — область в северо-восточной Греции.

Звездонклонники (стр. 325).— Журн. «Современный мир», СПб. 1909, № 2, февраль, без заглавия.

Прощание (стр. 326).— Газ. «Утро России», М. 1909, № 67—34, 25 декабря, без заглавия.

Песня (стр. 326).— Сб. «Вершины», кн. 1, СПб. 1909, под заглавием «Лен».

Спалохи (стр. 326).— Газ. «Утро России», М. 1909, № 67—34, 25 декабря, без заглавия.

Ночные цикады (стр. 327).— «Знание», кн. 30, СПб. 1910, под заглавием «Цикады».

Пилигрим (стр. 328).— Сб. «Друкарь», М. 1910, под заглавием «Хаджи».

О Петре-разбойнике (стр. 328).— Газ. «Русское слово», М. 1910, № 299, 28 декабря.

В первый раз (стр. 330).— Газ. «Одесские новости», 1910, № 8094, 18 апреля.

При дороге (стр. 331).— Журн. «Новая жизнь», СПб. 1911, № 13, декабрь.

Океан под ласною луной... (стр. 331).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Ночные облака».

Мелькают дали, черныя, слепые... (стр. 332).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Дальняя гроза».

Ночлег (стр. 332).— «Ежемесячный журнал», СПб. 1914, № 4, апрель.

Зов (стр. 333).— Газ. «Речь», СПб. 1912, № 354, 25 декабря.

Солнечные часы (стр. 333).— Альманах «Поток», М. 1911.

Источник звезды (стр. 334).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910. Печатается по тексту газ. «Россия», Париж, 1928, № 20, 7 января. *Пса* — так арабы именуют Иисуса, которого Коран называет посланником бога (но не богом). Легенда о поклопении *волхвов* (мудрецов), приведенных звездой рождения к месту рождения Иисуса Христа, известна по Евангелию. *Рефайм* — долина близ Иерусалима и Вифлеема.

Матери (стр. 335).— Полное собрание сочинений, т. 3. В этом стихотворении Бунин использовал две строфы из стихотворения «В детской», помещенного в сб. «Полевые цветы», 1901.

Без имени (стр. 335).— «Стихотворения и рассказы 1907—1909 гг.», 1910.

Лимонное зерно (стр. 336).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Мужичок (стр. 336).— «Наш журнал», М. 1911, № 8, 1 мая.

Дворедкий (стр. 337).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Криница (стр. 337).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Песня (стр. 338).— Журн. «Новая жизнь», СПб. 1911, № 4, март.

Зимняя вишня (стр. 339).— Журн. «Современный мир», СПб. 1911, № 4, апрель.

Памяти (стр. 339).— «Рассказы и стихотворения 1907—1910 гг.», 1912.

Березка (стр. 340).— Журн. «Всеобщий ежемесячник», СПб. 1911, № 11, ноябрь.

Псковский бор (стр. 341).— Журн. «Северные записки», СПб. 1914, № 2, февраль. Это стихотворение, а также «В Сицилии», «У гробницы Вергилия», «Молодой король», «Дедушка в молодости», «Помпея» и «Игроки» написаны под влиянием Пушкина. Об этом Бунины писал в статье «Думая о Пушкине» (см. т. 9 наст. изд.).

Два голоса (стр. 341).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1913, № 2, февраль, под заглавием «Песня». Написано по мотивам русской народной песни «Ночь темна да не месячна...» («Песни, собранные П. В. Киреевским», новая серия, вып. 1, СПб. 1911, стр. 133).

Пращурь (стр. 342).— Газ. «Речь», СПб. 1913, № 1, 1 январь.

«Ночь зимняя мутна и холодна...» (стр. 343).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Великий лось».

Почная змея (стр. 343).— Журн. «Современный мир», СПб. 1913, № 2, февраль.

«На пути из Назарета...» (стр. 344).— Газ. «Русское слово», М. 1912, № 249, 28 октября, под заглавием «Мать».

В Сицилии (стр. 346).— Журн. «Новая жизнь», СПб. 1912, № 12, декабрь, под заглавием «Монастыри».

Летняя ночь (стр. 347).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1913, № 1, январь.

Белый олеп (стр. 348).— Журн. «Русская мысль», М. 1912, № 12, декабрь. Написано на сюжет русской народной песни «Не разливайся, мой тихий Дунай...» (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским», новая серия, вып. 1, СПб. 1911, стр. 288).

Алисафил (стр. 348).— Журн. «Современный мир», СПб. 1912, № 11, ноябрь. Написано по мотивам духовного стиха о св. Георгии, победившем змея.

Потомки пророка (стр. 350).— Журн. «Современник», СПб. 1913, № 4, апрель.

«Шипит и не встает перблюд...» (стр. 351).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «В Скутари».

Уголь (стр. 351).— Журн. «Современник», СПб. 1913, № 4, апрель.

Судный день (стр. 352).— Журн. «Живое слово», М. 1912, № 44, ноябрь, с подзаголовком: «Из суры «О Великой Вести» (78-я сура Корана). Ангел *Израфил*, по мусульманским пред-

ставлениям, в день Страшного суда призовет людей и поведет их на суд прямой дорогой.

Ноябрьская ночь (стр. 352).— Журн. «Современник», СПб. 1913, № 2, февраль.

Завеса (стр. 353).— Журн. «Рампа и жизнь», М. 1912, № 44, 28 октября. Коран, по представлению мусульман, недоступен неверным («на взорах их — *завеса*», Коран, 2, 6), которым бог сам заградил путь к «истинной вере».

Ритм (стр. 353).— Журн. «Современный мир», СПб. 1913, № 1, январь.

«Как дым пожара, туча шла...» (стр. 354).— Журн. «Вестник Европы», СПб. 1912, № 12, декабрь, под заглавием «На большой дороге».

Гробница (стр. 354).— Журн. «Современник», СПб. 1912, № 11, ноябрь.

Светляк (стр. 355).— Журн. «Заветы», СПб. 1912, № 8, ноябрь.

Степь (стр. 355).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

Холодная весна (стр. 355).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

Матрос (стр. 356).— Журн. «Просвещение», СПб. 1913, № 4.

Святогор (стр. 356).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Конь Святогора». Стихи были набраны в «Современном мире», но «во исполнение... желания автора», как сообщала редакция Бунину, святы (ЦГАЛИ). Печатается по кп. «Чаша жизни», Париж, 1922.

Завет Саади (стр. 357).— Альманах «Зарево», кп. 1, 1915. *Саади* (1184—1291)— персидский поэт. Бунин не однажды в письмах и произведениях обращался к стихам и изречениям Саади, приводил его строки в дарственных надписях на книгах.

Дедушка (стр. 357).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

Мачеха (стр. 358).— «Иоанн Рыдалец», 1913.

Отрава (стр. 359).— «Иоанн Рыдалец», 1913, под заглавием «Невестка».

Мушкет (стр. 359).— Газ. «Русское слово», М. 1913, № 212, 13 сентября.

Венеция (стр. 360).— Журн. «Современный мир», СПб. 1913, № 12, декабрь, под заглавием «В Венеции» и с посвящением А. А. Корзункину. Впервые Бунин побывал в Венеции в 1904 году, когда он вместе с драматургом С. А. Найденовым путешествовал по югу Франции и Италии. Второй раз он вместе с женой приехал в Венецию в 1909 году. Прибыли они

через перевал Бренен-Пасс в Итальянских Альпах, упоминаемый в стихотворении. *Ламартин* (1790—1869) — французский поэт и романист. Его творчество привлекло пристальное внимание Бунина. Он советовал Горькому переиздать роман «Признание». В. Н. Муромцева-Бунина переводила роман Ламартина «Грациелла». *Марк* — собор св. Марка в Венеции (X в.). *Пьяцетта (итал.)* — площадь.

«Теплой ночью, горною тропинкой...» (стр. 364). — Газ. «Русское слово», М. 1913, № 212, 13 сентября, под заглавием «На камнях».

Могильная плита (стр. 364). — «Иоанн Рыдалец», 1913. На экземпляре четвертого тома Собрания сочинений (ГБЛ) к этому стихотворению Бунина сделал приписку: «Не придется! 25. VIII. 48. Париж». *Огарев* Н. П. (1813—1877) — русский поэт, стихи которого привлекали внимание Бунина еще в ранней юности.

После обеда (стр. 365). — «Иоанн Рыдалец», 1913. «Дым» — роман И. С. Тургенева.

Господь скорбящий (стр. 365). — Газ. «Русское слово», М. 1914, № 80, 6 апреля.

Иаков (стр. 366). — Газ. «Русское слово», М. 1914, № 80, 6 апреля. По библейской легенде, Иаков, започевая по пути в *Хорран* (город в Двуречье), видел бога и говорил с ним. В другой раз, явившись Иакову ночью, бог боролся с ним до зари.

Магомет и Сафия (стр. 366). — Журн. «Современный мир», СПб. 1914, № 12, декабрь. *Сафия* — см. прим. к стр. 235. Другие жены Магомета из ревности попрекали ее происхождением. Библейский патриарх Авраам и пророк Моисей почитаются и мусульманами как пророки (Ибрахим и Муса).

«Плакала ночью вдова...» (стр. 367). — Газ. «Русское слово», М. 1914, № 80, 6 апреля, под заглавием «Плач ночью».

Тора (стр. 367). — Журн. «Отечество», П. 1915, № 5—6. *Тора* («закон») — первые книги Библии, содержащие законодательные установления, по легенде, заповеданные Моисею богом. В основе стихотворения — рассказ Библии о явлении бога Моисею на горе Синай, где Моисей получил две каменные скрижали откровения, одна из которых написано было перстом Божиим. *Светильник Седьми* — светильник с семью лампадами, изготовленный Моисеем по повелению бога.

Новый завет (стр. 368). — Газ. «Русское слово», М. 1914, № 80, 6 апреля, под заглавием «На пути из Египта». Стихотво-

рение — свободная обработка евангельской легенды: по смерти Ирода, бог послал к Носифу ангела, чтобы призвать его с богородицею и младенцем из Египта, куда они бежали (см. прим. к стр. 379), назад в Палестину.

Перстень (стр. 368).— Альмапах «Творчество», кн. 2, М.—П. 1918.

Слово (стр. 369).— Журн. «Летопись», П. 1915, № 1, декабрь.

«Просыпаюсь в полумраке...» (стр. 369).— Газ. «Руль», Берлин, 1920, № 34, 25 декабря.

Святой Евстафий (стр. 369).— «Роза Иерихона», 1924.

Порту (стр. 370).— Журн. «Летопись», П. 1915, № 1, декабрь.

«Взойди, о Ночь, на горный свой престол...» (стр. 371).— Газ. «Русское слово», М. 1915, № 296, 25 декабря, под заглавием «К ночи».

Невеста (стр. 371).— «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 1, январь.

«Роса, при бледно-розовом огне...» (стр. 372).— Сб. «Отлизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

Цейлон (стр. 372).— Журн. «Вестник Европы», П. 1915, № 12, декабрь, под заглавием «Гора Алагалла».

Белый цвет (стр. 373).— Газ. «Русское слово», М. 1915, № 296, 25 декабря.

Одиночество (стр. 373).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Бонна».

«К вечеру море шумней и мутней...» (стр. 374).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Дача на севере». Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

Война (стр. 375).— Газ. «Биржевые ведомости», утр. вып., П. 1915, № 15290, 25 декабря, под заглавием «Прокаженный».

Засуха в раю (стр. 375).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 1, январь.

«У нубийских черных хижин...» (стр. 376).— Журн. «Северные записки», П. 1915, № 11—12, ноябрь—декабрь, под заглавием «За Асуаном».

«В жарком золоте заката Пирамиды...» (стр. 376).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «На крыше отеля у Пирамид». Хедив (персидск.— «повелитель») — титул (в 1866—1914) наследственных правителей Египта, тогда еще подвластного Турции (со времени анг-

лийского завоевания в 1882 — формально). *Хуфу* (Хеопс) — египетский фараон середины III тысячелетия до н. э. *Камбиз* — персидский царь, завоевавший Египет в 525 г. до н. э.

«Что ты мутный, светел-месяц?» (стр. 377).— Журн. «Северные записки», П. 1915, № 11—12, июль — декабрь.

Казнь (стр. 377).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь.

Шестикрылый (стр. 378).— Журн. «Летопись», П. 1915, № 1, декабрь. О стихах, напечатанных в «Летописи», И. С. Шмелев писал Бунину 1 марта 1915 года: «Чудесно, глубоко, топо. Лучше и сказать не могу. Я их выучил наизусть. Я ношу их в себе. Чудесно! Ведь в «Шестикрылом» вся русская история, облик жизни. Это шедевры, дорогой, вы это знаете сами, но и я хочу, чтобы и вы знали, что я чувствую это. И «Слово» и «Порту». Это лучшее, что было последнее время для меня...» (ЦГАЛИ).

Парус (стр. 378).— Журн. «Вестник Европы», П. 1915, № 12, декабрь.

Бегство в Египет (стр. 379).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 9, сентябрь. По евангельской легенде, жестокий царь Иудейский *Ирод*, услышав о рождении в Вифлееме «царя иудейского» (как назван в Евангелии Христос), приказал перебить всех младенцев Вифлеема, но богородица с Христом и Иосифом, предупрежденные ангелом, бежали в Египет, откуда вернулись после смерти Ирода, о которой тоже возвестил им ангел. *Сион* — иерусалимская крепость, где стоял храм, в более широком значении — Иерусалим.

Сказка о козе (стр. 380).— Журн. «Жар-птица», Берлин, 1921, № 2.

Святитель (стр. 380).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 2, февраль.

Зазимок (стр. 381).— Альманах «Отзвуки жизни», III, 1916.

«Пустыня в тусклом, жарком свете...» (стр. 381).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

Аленушка (стр. 382).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 1, январь.

Ириса (стр. 382).— Журн. «Новая жизнь», М. 1915, декабрь, под заглавием «Дедушкины стихи». Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско», Париж, 1920.

Скоморохи (стр. 383).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 1, январь. Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско», 1920.

Малайские песни (стр. 384).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 2, февраль.

Святогор и Илья (стр. 386).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 4, апрель.

Святой Прокопий (стр. 387).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 3, март. Эти стихи, по словам Бунина, — «жесточайшая, сугубо-русская страница из жизни святого Прокопия» — были включены им в «Жизнь Арсеньева» (Собрание сочинений, т. XI, стр. 109). Зачеркнуты автором при исправлении текста для нового издания.

Сон епископа Игнатия Ростовского (стр. 387).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Сон епископа»; «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 9—10, сентябрь — октябрь.

Матфей Прозорливый (стр. 388).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 11, ноябрь.

Князь Всеслав (стр. 390).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 3, март. *Князь Всеслав* Брячиславич — князь Полоцкий (XI в.). В 1067 году киевский князь Изяслав Ярославич заманил его в Киев и заточил в темнице. В 1068 году киевляне, недовольные Изяславом Ярославичем, провозгласили своим князем Всеслава Брячиславича. Он княжил семь месяцев и вынужден был бежать в Полоцк, так как прежний киевский князь, Изяслав, предпринял на него поход при поддержке поляков. *Стол кияжеский* — в Древней Руси территория, которая управлялась киевлянами. *Софий* — Софийский собор в Киеве.

«Мне вестор, молодой, скучен терем был...» (стр. 390).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 4, апрель, под заглавием «Песня».

«Ты, светлая ночь, полволнунал высь!..» (стр. 391).— «Русская газета», Париж, 1924, № 51, 22 июня.

Богом разлученные (стр. 391).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Чернец».

Кадильница (стр. 392).— Сб. «В помощь пленным русским воинам», М. 1916.

«Когда-то, над тяжелой баркой...» (стр. 392).— «Господин из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Пора».

Дурман (стр. 393).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 8, август. Печатается по кп. «Избранные стихи», 1929. В. П. Муромцев-Бунин рассказывает, что стихи «Дурман» отчасти авто-

биографичны, в них отразились воспоминания детства: Буния и сестра Маша много времени «проводили летом... с пастушатами, которые научили их есть едкие травы, буйно росшие за огородом, за кухней, за варком. Но однажды они чуть не заплатились жизнью. Один из пастухов предложил им попробовать белены. Родителей не было дома, но их решительная няня, узнав об этом, стала отпαιвать детей парным молоком, чем и спасла их» («Жизнь Бунина», стр. 11).

Соп (стр. 393).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 8, август.

Цирцел (стр. 394).— «Господни из Сан-Франциско», 1916. Цирцел (Кирка) — дочь бога солнца Гелноса — волшебница с острова Эл, у которой Одиссей (*Улисс*) провел целый год на возвратном пути из Трои.

«На Альпы к сумеркам нисходят облака...» (стр. 395).— Сб. «Отчизна», кв. 1, Симферополь, 1919.

У гробницы Виргилия (стр. 395).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 5, май, под заглавием «У гробницы Виргилия, весной». Виргилий (Вергилий) — великий римский поэт (70—19 гг. до н. э.), автор «Энеиды» и «Сельских поэм» (как озаглавлены они в русском переводе). Похоронен, по сообщению биографа, в Неаполе «возле второго камня по Путьеоланской дороге». «Могила Виргилия» показывали в тех местах еще недавно.

«Сипие обон полинял...» (стр. 396).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «В пустом доме».

«На поморни далеком...» (стр. 396).— Альманах «Творчество», кп. 2, М.—П. 1918, под заглавием «Песня».

«Там не светит солнце, не бывает ночи...» (стр. 396).— Однодневная газета «Труд вновь даст тебе жизнь и счастье», М. 1916, 10 мая, под заглавием «Песня».

«Лиман песком от моря отделен...» (стр. 397).— Сб. «Веселиний салон поэтов», М. 1918, под заглавием «Даль».

Зеркало (стр. 398).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 8, август.

Мулы (стр. 398).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 7, июль.

Спрукко (стр. 399).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь.

Псалтирь (стр. 399).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 6, июнь. В автографе (ЦГАЛИ) к заглавию стихотворения Буния приписал: «Известие о смерти Саши Резвой». Ее инициалы —

«С. Р.» Бунин указал также в примечании, написанном на экземпляре пятого тома Собрания сочинений: «Вечером, получив письмо о смерти С. Р.» (ГБЛ). Саша Резвая — родственница соседей-помещиков по имени Бунных в Озерках — Рышковых.

Мишьона (стр. 400).— Газ. «Власть народа», М. 1917, № 195, 25 декабря. *Мишьона* — героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

В горах (стр. 401).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «В Аппенинах».

Людмила (стр. 401).— Журн. «Вестник Европы», П. 1916, № 3, март.

«Стена горы — до небосвода...» (стр. 402).— Сб. «Отчизна», кн. 1. Симферополь, 1919.

Иппийский океан (стр. 402).— Газ. «Киевская мысль», 1916, № 358, 25 декабря.

Коллизей (стр. 403).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь.

Стой, солнце! (стр. 403).— Альманах «Творчество», кн. 2, М.—П. 1918. Печатается по тексту кн. «Роза Нерихопа», 1924. Иисус *Навин* — по Библии, преемник Моисея, приведший евреев в землю обетованную. Во время одного из сражений продлил день, сказав: «Стой солнце над Гавоном и луна над долиною Авналопскою».

«Солнце полнотное, тепи лиловые...» (стр. 404).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «За Соловками», с эпиграфом: «Солнца полуночи тепи лиловые... Случевский».

Молодость (стр. 404).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 10, октябрь.

Уездное (стр. 404).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Колотушка».

В орде (стр. 405).— Журн. «Летопись», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Орда», с цензурными сокращениями строк 18—20, 25.

Цейлон (стр. 406).— Газ. «Эвеп», Париж, 1923, № 47, 24 декабря, под заглавием «Приморский путь».

Отлив (стр. 408).— Журн. «Вестник Европы», П. 1916, № 10, октябрь.

Богиня (стр. 409).— Журн. «Вестник Европы», П. 1916, № 10, октябрь.

В дирке (стр. 409).— Газ. «Приазовский край», Ростов-на-Дону, 1916, № 340, 25 декабря. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

Спутница (стр. 410).— Газ. «Звено», Париж, 1923, № 29, 20 августа. Печатается по кн. «Роза Иерихона», 1924.

Святителище (стр. 411).— Журн. «Вестник Европы», П. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Будда почивающий». *Ступа* — монументальное культовое сооружение над останками буддийского святого или реликвиями. *Вихара* — буддийский монастырь или искусственная пещера, служившая жилищем для монахов. *Сингалесы* (правильнее сингалы) — одна из коренных народностей Цейлона.

Феска (стр. 412).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1920, № 9, 12 января.

Вечерний жук (стр. 412).— «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 9—10, сентябрь — октябрь.

«Рыжими иголками...» (стр. 413).— «Господни из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Песенка».

Копчица святителя (стр. 414).— «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 9—10, сентябрь — октябрь, под заглавием «Копчина».

Руслан (стр. 414).— «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 9—10, сентябрь — октябрь.

«Край без истории... Все лес да лес, болота...» (стр. 415).— «Ежемесячный журнал», П. 1916, № 9—10, сентябрь — октябрь, под заглавием «Без истории». *Бортники* — пчельники.

Плоты (стр. 415).— Газ. «Одесский листок», 1919, 27 октября.

«Он видел смоль ее волос...» (стр. 416).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, 13 октября.

«Полночный звон степной пустыни...» (стр. 417).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

Дедушка в молодости (стр. 417).— Журн. «Северные записки», П. 1916, № 10, октябрь. *Окарина* — духовой музыкальный инструмент, изготовлялся из глины или фарфора.

Игроки (стр. 418).— «Господни из Сан-Франциско», 1916.

Конь Афины-Паллады (стр. 419).— «Господни из Сан-Франциско», 1916. *Конь Афины Паллады* — по греческим мифам, сооруженный по совету богини Афины деревянный конь, с помощью которого греки хитростью овладели (после десяти-

летней осады) городом *Илионом* (Троей). В полном брюхе коня были спрятаны лучшие воины. Оставленный удалившимися для вида греками лазутчик сказал троицам, что враги ушли, а конь — дар Афинне; введенный в город, он станет ему оплотом. Троицы поверили. Одна лишь царица *Кассандра* предвещала горе, но ее, как всегда, не слушали (бог Аполлон когда-то наделил ее пророческим даром, но за то, что она отвергла его любовь, наказал тем, что предсказаниям ее никто не верил).

«Архистратиг средневековый...» (стр. 420). — «Господин из Сан-Франциско», 1916, под заглавием «Фреска». Бунин послал это стихотворение в 1916 году в журнал «Летопись», но напечатано оно не было, как сообщал журнал, «но не зависящим от редакции обстоятельствам», то есть из-за цензуры («Летопись», II. 1916, № 9, сентябрь).

Капуи (стр. 420). — Журн. «Русская мысль», Прага — Берлин, 1923, кн. 6—8, без заглавия.

Последний шмель (стр. 421). — Журн. «Современный мир», II. 1916, № 10, октябрь.

«В море, домами сдавленной...» (стр. 422). — Газ. «Одесские новости», 1919, № 10884, 7 января. Печатается по кн. «Роза Нерихона», 1924.

«Вот он снова, я тот белый...» (стр. 423). — «Роза Нерихона», 1924. Печатается по тексту этого издания.

Благовестие о рождении Исаака (стр. 423). — Газ. «Киевская мысль», 1916, № 358, 25 декабря, под заглавием «Благовестие». Свободная обработка библейской легенды: к престарелым уже Аврааму и Сарре пришли три ангела, предсказавшие им рождение сына.

«Настанет день — исчезну я...» (стр. 424). — Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Без меня».

Памяти друга (стр. 424). — «Господин из Сан-Франциско», 1916. Стихотворение вызвано известием о самоубийстве друга Бунина, художника В. П. Куровского (1869—1915).

На Певском (стр. 425). — Журн. «Современный мир», II. 1916, № 10, октябрь.

«Тихой ночью поздний месяц вышел...» (стр. 426). — Альманах «Творчество», кн. 2, М.—П. 1918, под заглавием «Глухая гора».

Помпей (стр. 427). — Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь.

Калабрийский пастух (стр. 427).— Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь.

Компас (стр. 428).— Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь.

«Покрывало море свитками...» (стр. 428).— Журн. «Современный мир», II. 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Близ Бнаррица, зимой».

Аркадия (стр. 429).— Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь.

Капри (стр. 429).— Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь, под заглавием «Цветы».

«Едем бором, черными лесами...» (стр. 430).— Газ. «Понеделник «Народного слова», М. 1918, № 1, 15 апреля, под заглавием «Из цикла «Русь».

Первый соловей (стр. 430).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14 сентября.

Среди звезд (стр. 431).— Журн. «Северные записки», II. 1916, № 10, октябрь.

«Былает море белое, молочное...» (стр. 431).— «Митина любовь», 1925.

Падучая звезда (стр. 432).— «Митина любовь», 1925, без заглавия.

«Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий...» (стр. 432).— «Митина любовь», 1925.

Поэтесса (стр. 433).— Журн. «Жизнь», Одесса, 1918, № 7, июль. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Заклинание (стр. 433).— Журн. «Современный мир», II. 1916, № 2, февраль. Печатается по кн. «Господин из Сан-Франциско», 1920.

Молодой король (стр. 434).— Журн. «Летопись», II. 1916, № 2, февраль.

Кобылица (стр. 435).— Газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 151, 31 октября. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

На исходе (стр. 436).— «Господин из Сан-Франциско», 1916. Печатается по этому сборнику издания 1920 года.

Гадание (стр. 436).— «Русская газета», Париж, 1924, № 199, 14 декабря. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Эляда (стр. 437).— Журн. «Летопись», II. 1916, № 7, июль. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Рабыня (стр. 437).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1910, № 51, 20 октября. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Старая яблоня (стр. 438).— «Митина любовь», 1925. Печатается по этому изданию.

Грот (стр. 438).— «Русская газета», Париж, 1924, № 75, 22 июля. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Голубь (стр. 439).— «Русская газета», Париж, 1924, № 75, 22 июля. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

Семнадцатый год (стр. 439).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 98, 13 декабря, под заглавием «Пожары».

Укоры (стр. 440).— Журн. «Огоньки», Одесса, 1919, №№ 1—34, 4 января, с пометой «Из цикла «Русь».

Змея (стр. 440).— Журн. «Спалохи», Берлин, 1922, № 5.

«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...» (стр. 441).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 203, 3 февраля, с пометой «Итальянские строки».

«Как много звезд на тусклой синеве!..» (стр. 441).— Сб. «Эпоха», кн. 1, М. 1918, под заглавием «Август». Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929.

«Вид назавтра из сада таверны...» (стр. 441).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

«Роняя снег, проходят тучи...» (стр. 442).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

Луна (стр. 442).— Сб. «Эпоха», кн. 1, М. 1918, без заглавия.

«У ворот Сиона, над Кедром...» (стр. 443).— Газ. «Наш век», П. 1918, № 89, 4 мая. Печатается по кн. «Роза Нерихона», 1924.

Эпитафия (стр. 443).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 33, 29 сентября. В Собрании сочинений на полях рукой Бунина написано: «При воспоминании о кладбище в Скутари».

Воспоминание (стр. 443).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 39, 6 октября, без заглавия.

Волны (стр. 444).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 20 октября. Печатается по кн. «Избранные стихи», 1929.

Ландыш (стр. 444).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14 сентября. Печатается по кн. «Роза Нерихона», 1924.

Свет незакатный (стр. 445).— Сб. «Эпоха», кн. 1, М. 1918, под заглавием «Могилы».

«О радость красок! Снова, снова...» (стр. 445).— Журн. «Спалохи», Берлин, 1922, № 5, под заглавием «Листопад».

«Стали дымом, стали выше...» (стр. 446).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

«Ранний, чуть видный рассвет...» (стр. 446).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14 сентября, под заглавием «Рассвет».

«Смятение, крик и визг рыбалок...» (стр. 447).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919. Печатается по кн. «Роза Нерихона», 1924.

«Мы рядом шли, но на меня...» (стр. 447).— Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 19, 14 сентября.

«Белые круглятся облака...» (стр. 447).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 203, 3 февраля, с пометой «Итальянские строки».

«Мы сели у печки в прихожей...» (стр. 448).— Газ. «Руль», Берлин, 1920, № 34, 25 декабря, с эпиграфом «В лесной и глухой стороне... А. Фет».

«Сорвался вихрь, промчал из края в край...» (стр. 448).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

«Осенний день. Степь, балка и корыто...» (стр. 449).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919.

«Щеглы, их зноп, стеклянный, пеживой...» (стр. 449).— Журн. «Современные записки», Париж, 1924, кн. 21, под заглавием «3 октября 1917 года».

«Этой краткой жизни вечным изменением...» (стр. 450).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 100, 23 октября.

«Как в апреле по ночам в плее...» (стр. 450).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 100, 23 октября.

«Звезда дрожит среди вселенной...» (стр. 451).— Сб. «Отчизна», кн. 1, Симферополь, 1919. В Собрании сочинений на полях рукой Бунина написано: «Последний день в Васильевском».

Восход луны (стр. 451).— Газ. «Руль», Берлин, 1924, № 1084, 29 июня. Печатается по кн. «Митина любовь», 1925.

«В пустом, сквозном чертоге сада...» (стр. 452).— «Митина любовь», 1925. Печатается по тексту этого издания.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Над могилой С. Я. Надсона (стр. 455).— Журн. «Родина», СПб. 1887, № 8, 22 февраля. Первое опубликованное стихотворение.

Из «Вечерних дум» (стр. 456).— Газ. «Орловский вестник», 1890, № 237, 23 сентября, без заглавия. Печатается по кн. «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

Последние дни (стр. 457).— «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

«Пустынные поля, пейзажи деревень...» (стр. 458).— Газ. «Орловский вестник», 1891, № 243, 14 сентября. Печатается по кн. «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891.

Первый снег (стр. 459).— «Стихотворения 1887—1891 гг.», 1891, без заглавия. Печатается по тексту кн. «Под открытым небом», 1898.

Буря (стр. 459).— Журн. «Наблюдатель», СПб. 1895, № 6, июнь.

В темную ночь (стр. 460).— Журн. «Наблюдатель», СПб. 1895, № 8, август.

«О да, от злобы я молчу...» (стр. 461).— Журн. «Север», СПб. 1898, № 27, 5 июля.

На хуторе (стр. 461).— «Под открытым небом», 1898.

У залива (стр. 462).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 7, июль. Печатается по кн. «Полевые цветы», 1901.

В лесу (стр. 463).— Журн. «Детское чтение», М. 1901, № 6, июнь. Печатается по кн. «Полевые цветы», 1901.

Звезда Морей (стр. 463).— Газ. «Курьер», М. 1901, № 356, 25 декабря, под заглавием «Stella maris». Печатается по тексту сб. «Зарницы», вып. 1, СПб. 1908.

Горный путь к морю (стр. 464).— Газ. «Курьер», М. 1902, № 103, 14 апреля.

Первая любовь (стр. 465).— «Журнал для всех», СПб. 1902, № 8, август.

При свече (стр. 466).— Журн. «Северные записки», СПб. 1914, № 2, февраль.

С галь (стр. 466).— Альманах «Вершины», кн. 1, СПб. 1909.

В арабской деревне (стр. 467).— Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Се жених грядет... (стр. 467).— «Ежемесячный журнал», СПб. 1916, № 1, январь. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

«Лик прекрасный и бескровный...» (стр. 467).— Газ. «Русское слово», М. 1915, № 296, 25 декабря, под заглавием «В Аравийском море». Печатается по тексту газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 151, 31 октября.

Невеста (стр. 468).— Журн. «Современный мир», П. 1915, № 12, декабрь.

По теченью (стр. 469).— Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

На публийском базаре (стр. 469).— Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

Вещик (стр. 470).— Печатается по автографу (ЦГАЛИ). *Переводить (орловск.)* — звонить по покойникам.

«Ночь и алые зарницы...» (стр. 470).— Журн. «Современный мир», П. 1916, № 9, сентябрь, под заглавием «Дачная прогулка». Печатается по тексту газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

Ночной путь (стр. 471).— Журн. «Сполохи», Берлин, 1922, № 5. Это и следующие три стихотворения печатаются по тексту газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Бред (стр. 471).— Журн. «Сполохи», Берлин, 1922, № 5.

Отрывок (стр. 471).— Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

Портрет (стр. 472).— Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 781, 23 июля.

«Луна над шумною Курю...» (стр. 472).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

«Земной, чужой душе закат!..» (стр. 473).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

«Звезда, воспламеняющая твердь...» (стр. 473).— Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 355, 23 мая.

«Гор сиреневых кручи встают...» (стр. 474).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 203, 3 февраля, с пометой «Итальянские строки». Печатается по тексту газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 359, 27 мая.

А. Бабореко

СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
А. Твардовский. О Бушине	7

СТИХОТВОРЕНИЯ

1886—1899

«Шире, грудь, распахнись для приятия...»	53
Поэт («Поэт печальный и суровый...»)	53
Деревенский видный	54
«Месяц задумчивый, полночь глубокая...»	55
«Как печально, как скоро померкла...»	56
Полевые цветы	56
На пруде	57
«В темнеющих полях, как в безграничном море...»	58
«Серп луны под тучкой длинной...»	58
Затишье	59
Октябрьский рассвет	59
«Высоко полный месяц стоит...»	60
«Помню — долгий зимний вечер...»	60
«Какая теплая и темная зима!..»	61
«Бледнеет почва... Туманов пелена...»	61
«Осыпаются астры в сдах...»	62
«Любил я в детстве сумрак в храме...»	63
«Не пугай меня грозою...»	63

«Туча растаяла. Влажным теплом...»	64
«Ветер осенний в лесах подымается...»	64
«В полпочь выхожу один из дома...»	65
«Пустыни, грусть в степных просторах...»	65
«Как все вокруг сурово, снежно...»	66
«Под орган душа тоскует...»	66
«На поднебесном утесе, где бури...»	67
Цыганка	67
«Не видно птиц. Покорно чашпет...»	68
«Седое небо надо мной...»	68
«Далеко за морем...»	69
«Одни встречаю я дни радостной недели...»	70
«Как дымкой даль полей закрыв на полчаса...»	70
В степи	70
В костеле	72
«...Зачем и о чем говорить?...»	74
«...Поздним летом...»	74
Подражание Пушкину	75
«В туче, солнце заступающей...»	76
«Ту звезду, что качалась в темной воде...»	76
«Нет, не о том я сожалею...»	77
Ангел	77
Родные	78
«Лес,— и ясно-лазурное небо глядится...»	78
«Свежеют с каждым днем и молодеют сосны...»	79
«Бушует поля вода...»	80
«Догорел апрельский светлый вечер...»	80
Соловьи	81
«Гаснет вечер, даль синеет...»	82
«Еще от дома на дворе...»	83
Веселее	84
«В стороне далекой от родного края...»	85
«За рекой луга зазеленели...»	85
Тронца	86
«Крупный дождь в лесу зеленом...»	87
В поезде	87
«Ночь идет — и темнеет...»	88
«...И снилось мне, что осенней порой...»	88
Мать («И дни и ночи до утра...»)	80
Ковыль	90
В Гефсиманском саду	92

«Могины, ветряки, дороги и курганы...»	93
«Неуловимый свет разлился над землею...»	93
«Если б только можно было...»	94
«Нагая степь пустыней веет...»	94
«Что в том, что где-то, на далеком...»	95
Костер	95
«Когда на темный город сходит...»	96
«Ночь наступила, день угас...»	97
На проселке	97
«Долог был во мраке почи...»	98
«Поздний час. Корабль и тих и темен...»	99
Метель	99
«В окошко из темной каюты...»	100
Родина	101
«Ночь и даль седал...»	101
«Христос воскрес! Опять с зарею...»	102
На Двепре	103
Кипарисы	103
«Счастлива я, когда ты голубые...»	104
«Вьется путь в снегах, в степи широкой...»	104
«Отчего ты печально, печернее небо?...»	105
Северное море	106
На хуторе («Свечи нагорели, долог зимний вечер...»)	106
«Скачет пристяжной, снегом обдает...»	107
Три почи	107
«Беру твою руку и долго смотрю на нее...»	108
«Поздно, склонилась лупа...»	109
«Я к ней вошел в полночный час...»	110
«При свете звезд померкших глаз сиянье...»	110
«Снова сон, пленительный и сладкий...»	110
«Звезды ночью весенней нежнее...»	111
На дальнем севере	111
Плеяды	112
«И вот опять уж по зарям...»	112
«Листья падают в саду...»	113
«Таинственно шумит лесная тишина...»	114
«В пустынной вышине...»	114
«Все лес и лес. А день темнеет...»	115
«Как светла, как парадна весна!...»	116
«Нынче ночью кто-то долго пел...»	116
«Зеленоватый свет пустынной лунной ночи...»	116

«Враждебных полон тайн на взгорье спящий лес...»	118
«Затрепетали звезды в небе...»	118
«Нет солнца, но светлы пруды...»	119
Листопад	120
На распутье	124
Вирь	125
Последняя гроза	126
В отъездеж пою	128
После половодья	128
«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...»	129
«Не угас еще вдали закат...»	129
«Когда деревья и светлый майский день...»	130
«Лес шумит непнятым, ровным шумом...»	130
«Вдали еще гремит, но тучи уж свалились...»	130
«Еще утро не скоро, не скоро...»	131
По вечерней заре	132
«Ночь печальна, как мечты мои...»	132
Рассвет («Высоко поднялся и белесет...»)	133
Родник	133
Учаи-Су	134
Зной	134
Закат («Корабли в багряном зареве заката...»)	135
Сумерки («Все — точно в полусне. Над серою водой...»)	135
«На мертвый якорь кинули бакал...»	136
«К побережью моря длинная аллея...»	136
«Открыты живые золотые...»	137
«Был поздний час — и вдруг над темнотою...»	138
«Зеленый цвет морской воды...»	138
«Раскрылось небо голубое...»	139
«Зарницы лик, как сновиденье...»	139
«На глазки сишие, прелестные...»	140
Ночь и день	140
Ручей	141
«На высоте, на снеговой вершине...»	141
«Еще и холодеи и сыр...»	142
«Высоко в просторе неба...»	142
«Мил мне жемчуг нежный, чистый дар морей!..»	143
«Дымится поле, рассвет белесет...»	144

«Гроза прошла над лесом стороною...»	144
В старом городе	145
«Отошли закаты на далекий север...»	146
«Облака, как призраки развалил...»	146
«Стояли ночи северного мая...»	146
На монастырском кладбище	147
Кедр	148
«В поздний час мы были с нею в поле...»	148
Ночь	149
«Спокойный взор, подобный взору лави...»	150
«За все тебя, господь, благодарю!...»	151
«Высоко наш флаг трепещет...»	151
Утро	152
Веснянка	152
«Полями пахнет,— свежих трав...»	154
«Звезда над темными далекими лесами...»	155
Надпись на могильной плите	155
Из Апокалипсиса	156
«Пока я шел, я был так мал!...»	157
«Из тесной пропасти ущелья...»	158
«Не слышать еще тяжкого грома за лесом...»	158
«Любил он ночи темные в шатре...»	159
«Это было глухое, тяжелое время...»	159
«Моя печаль теперь спокойна...»	160
«Звезды ночи осенней, холодные звезды!...»	160
«Шумели листья, облетал...»	161
«Светло, как днем, и тень за нами бродит...»	161
«Смотрит месяц непастный, как сыплются желтые листья...»	162
Отрывок («В окно я вижу груды облаков...»)	162
Эпиталама	163
«Морозное дыхание метели...»	164
«Жесткой, черной листвою шелестит и трепещет кустар- ник...»	164
На острове	165
«Не устану воспевать вас, звезды!...»	165
Крещенская ночь	166
«Перед закатом побежало...»	167
«Багряная печальная луна...»	168
Смерть	169
Лесная дорога	169

На озере	170
«Когда вдоль корабля, каталась, вьется пеща...»	171
«Если б вы и сошлись, если б вы и смирились...»	171
«Чашу с темным вином подала мне богиня печали...»	172
«Крест в долине при дороге...»	172
«Как все спокойно и как все открыто!...»	173
Бродяги	173
Забывший фолтан	174
Эпитафия («Я девушкой, пещестой умерла...»)	175
Зимний день в Оберланде	175
Кондор	176
«Широко меж вершин дубравы...»	176

1903—1906

Северная береза	178
Портрет («Погост, часовенка над склепом...»)	178
Мороз	179
«Норд-остом жгут пылающие зори...»	180
После битвы	180
«Из окна, серебряном от инея...»	181
«В сумраке утра проносится призрак Одина...»	181
Жена Азуса	182
Консерв	182
«Звезды горят над безлюдной землею...»	183
Ночь Аль-Кадра	183
«Далеко на севере Капелла...»	184
«Проснулся я внезапно, без причины...»	184
«Старик у хаты велл, подкидывал лопату...»	185
«Уж подсыхает хмель на тыпе...»	185
«Там, на припеке, спят рыбацкие ковши...»	185
«Первый утренник, серебряный мороз!...»	186
«Обрыв Яйлы. Как руки фурий...»	187
Капуи Купалы	187
Мира	188
Диза	189
Надпись на чаше	190
Могилы поэта	190
Кольцо	191
Запустение	191

Одиночество («И ветер, и дождик, и мгла...»)	194
Тень	194
Голуби («Раскрыт балкон, сояжен цветник морозом...»)	195
Сумерки («Как дым, седая мгла мороза...»)	196
Перед бурей	197
В крымских степях	197
Жасмин	198
Полярная звезда	198
«Набегает впопыхах...»	199
Перекресток	199
Бальдер	200
Огни небес	200
Развалины	201
Косогор	202
Разлив	202
Сказка	203
Розы	204
На маяке	204
В горах	205
Штиль	205
На белых песках	206
Самсон	206
Склон гор	207
Сапсан	207
Русская весна	210
«В гостиную, сквозь сад и пыльные гардины...»	210
«Старик сидел, покорно и уныло...»	211
«Осень. Чащи леса...»	211
«Бегут, бегут листы раскрытой книги...»	212
«Мы встретились случайно, на углу...»	213
Огонь на маяке	213
«Все море — как жемчужное зеркало...»	214
«В лесу, в горе, родник, живой и звонкий...»	214
«Черные ели и сосны сквозят в палисаднике темном...»	215
«Густой зеленый ельник у дороги...»	215
Стамбул	216
«Тонет солнце, рдяным углем тонет...»	217
«Ра-Озирис, владыка дня и света...»	217
Потоп	218
Эльбурс	219
Послушник	219

Хая-Баш	220
Тэмджид	221
Тайна	221
С острогой	222
Мистику	223
Статуя рбмни-христианки	223
Призраки	224
Неугасимая лампада	224
Вершина	225
Тропами потопленным	225
В открытом море	226
Под вечер	226
Сквозь ветви	227
Келья	227
Судра	228
Огонь	228
Небо	229
На винограднике	230
Океаниды	230
Стои	231
В горной долине	231
Ормуз	232
День гнева	232
Черный камень Каабы	233
За измену	234
Гробница Сафий	235
Чибисы	235
Купальщица	236
Новый год	236
Из окна	237
Змея («Покуда март гудит в лесу по голым...»)	237
Невольник	238
Печаль	239
Несия («Я — простая девка на баштате...»)	239
Детская	240
Речка	240
Пахарь	241
Две радуги	241
Закат («Вдыхая тонкий запах четок...»)	241
Чужая	242
Апрель	243

Детство	243
Поморье	243
Допник	244
У шлаша	245
Терем	245
Горе	246
Дюпы	247
Каменная баба	247
Эсхил	247
У берегов Малой Азии	248
Агни	249
Стол огненный	249
Сын человеческий	250
Сон («Царь! вот твой сон: блистал перед тобою...»)	250
Атлант	251
Золотой невод	252
Новоселье	253
Дагестан	253
Па обвале	253
Айл-София	254
К востоку	254
Путеводные знаки	255
Мудрым	255
Зеленый стяг	256
Судебный прах	257
Авраам	257
Сатана богу	258
Зейнаб	258
Белые крылья	258
Птица	259

1906—1911

За гробом	260
Магомет в изгнании	260
«Огромный, красный, старый пароход...»	261
«Люблю цветные стекла окон...»	262
«Луна еще прозрачна и бледна...»	262
«И скрип и визг над бухтой, наводненной...»	263
«Приспущу, приспущу — за окнами, в саду...»	263

Петров день	264
«Ограда, крест, зеленая могила...»	265
«Растет, растет могильная трава...»	266
Вальс	266
«Мимо острова в полночь фрегат проходил...»	266
«Геймдаль искал родник божественный...»	267
Пугач	268
Дядька	268
Стрижи	269
На рейде	269
Джордано Бруно	269
В Москве	271
«Леса в жемчужном инее. Морозно...»	272
Проводы	272
Для	272
Гермон	273
«На пути под Хевроном...»	274
Гробница Рахили	274
Иерусалим	275
Храм Солнца	276
«Чалма на мудром — как луна...»	277
Воскресению	277
«Шла сиротка пыльною дорогой...»	277
Слепой	278
Новый храм	279
Колибри	279
«Кошка в крапине за домом жила...»	280
«Присела на могильнике Савуре...»	280
«Свежа в апреле равняя зоря...»	281
«Там изволга, как флейта, распевава...»	281
Нящий	282
«Щебечут пестрокрылые чеккашки...»	282
«В столетнем мраке черной ели...»	283
«Тут поконится хаи, покоривший несметные страхи...»	283
Тезей	283
Нустошь	283
Кани	286
Пугало	287
Наследство	288
Няня	288
На Плющихе	289

Безнадежность	290
Трясина	290
Один	291
Сатурн	291
С корабля	292
Обвал	292
«Вдоль этих плоских знойных берегов...»	293
Балагула	293
Из Анатолийских песней:	
Девичья	294
Рыбацкая	294
Закон	295
Мандрагора	295
Розы Шираза	295
С обезьяной	296
Мекам	297
Бессмертный	297
Каир	298
Истара	298
Александр в Египте	299
Бог	300
Саваоф	300
Гальциона	301
В архипелаге	302
Бог полдня	302
Горный лес	303
Нерихон	303
Караван	304
Долина Иосафата	305
Бедуны	305
Люцифер	306
Имру-уль-Кайс	306
«Открыты окна. В белой мастерской...»	307
Художник	308
Отчаяние	308
«В полях сухие стебли кукурузы...»	309
Троп Соломона	309
Рыбалка	310
Баба-Яга	311
Дикарь	312
Папутствие	312

Последние слезы	313
Рыбачка	313
Вино	314
Вдовец	314
Христия	315
Кружево	315
Туман	316
После Мессинского землетрясения	316
«В мелколесье пело глухо, строго...»	316
Сенокос	317
Собака	319
Могила в скале	319
Полночь	320
Рассвет («Как стая птиц, в пустыне одиноко...»)	320
Полдень	321
Вечер	322
Мертвая зыбь	322
Прометей в пещере	323
Морской востер	323
Сторож	324
Берег	324
Спор	325
Звездопоклонники	325
Прощание	326
Песня («Защита на воле...»)	326
Сполохи	326
Ночные цикады	327
Пилигрим	328
О Петре-разбойнике	328
В первый раз	330
При дороге	331
«Океан под ясною луной...»	331
«Мелькают дали, черныше, слепые...»	332
Ночлег	332
Зоя	333
Солнечные часы	333
Источник звезды	334
Матери («Я помню спальню и лампадку...»)	335
Без имени	335
Лимонное зерно	336
Мужичок	336

Дворедкий	337
Крещица	337
Песня («На пирах веселых...»)	338
Зимняя вишня	339
Памяти	339
Березка	340

1912—1917

Псковский бор	341
Два голоса	341
Пращуры	342
«Почь зимняя мутна и холодна...»	343
Ночная змея	343
На пути из Назарета	344
В Сицилии	346
Летняя почва	347
Белый олень	348
Алисафия	348
Потомки пророка	350
«Шипит и не встает верблюды...»	351
Утоль	351
Судный день	352
Ноябрьская ночь	352
Завеса	353
Ритм	353
«Как дым пожара, туча шла...»	354
Гробница	354
Светлая	355
Степь	355
Холодная весна	355
Матрос	356
Святогор	356
Завет Сладки	357
Дедушка	357
Мачеха	358
Отрава	359
Мушкет	359
Венеция	360
«Теплой ночью, горюю тропинкой...»	364

Могильная плита	364
После обеда	365
Господь скорбящий	365
Иаков	366
Магомет и Сафия	366
«Плакала ночью цюва...»	367
Тора	367
Новый завет	368
Перстень	369
Слово	369
«Просыпаюсь в полумраке...»	369
Святой Евстафий	369
Поэту («В глубоких колодцах вода холодна...»)	370
«Взойди, о Ночь, на горный свой престол...»	371
Невеста («Я косы девичьи плела...»)	371
«Роса, при бледно-розовом огне...»	372
Цейлон («В лесах кричит павлин, шумят и плещут ливни...»)	372
Белый цвет	373
Одишество («Худая компаньонка, иностранка...»)	373
«К вечеру море шумней и мутней...»	374
Война	375
Засуха в раю	375
«У нубийских черных хижины...»	376
«В жарком золоте заката Пирамиды...»	376
«Что ты мутный, светел-месяц?...»	377
Казнь	377
Шестикрылый	378
Парус	378
Бегство в Египет	379
Сказка о козе	380
Святитель	380
Зазимок	381
«Пустыня в тусклом, жарком свете...»	381
Аленушка	382
Ириса	382
Скоморохи	383
Малайская песня	384
Святогор и Илья	386
Святой Прокопий	387
Сон епископа Игнатия Ростовского	387

Матфей Прозорливый	388
Князь Всеслав	390
«Мне ветор, молодой, скучен терем был...»	390
«Ты, светлая ночь, полнолунная была...»	391
Богом разлученные	391
Кадильница	392
«Когда-то, над тяжелой баркой...»	392
Дурман	393
Соп («По спешной поляне...»)	393
Цирцел	394
«На Альпы к сумеркам нисходят облака...»	395
У гробницы Виргилия	395
«Синие обои полиняли...»	396
«На поморни далеком...»	396
«Там не светит солнце, не бывает ночи...»	396
«Лиман песком от моря отделен...»	397
Зеркало	398
Мулы	398
Сирокко	399
Псалтирь	399
Миньона	400
В горах	401
Людмила	401
«Стена горы — до небосвода...»	402
Индийский океан	402
Колизей	403
Стои, солнце!	403
«Солнце полпочное, тени лиловые...»	404
Молодость	404
Уездное	404
В орде	405
Цейлон («Окраина земли...»)	406
Отляп	408
Вогипл	409
В цирке	409
Спутница	410
Святилище	411
Феска	412
Вечерний жук	412
«Рыжими иголками...»	413
Кончина слятиеля	414

Руслан	414
«Край без истории... Все лес да лес, болота...»	415
Плоты	415
«Он видел смоль ее волос...»	416
«Нолночшыі зван степной пустыни...»	417
Дедушка в молодости	417
Игроки	418
Конь Афины-Паллады	419
«Архистратиг средневековый...»	420
Капуп	420
Последний шмель	421
«В норе, домами сдавленной...»	422
«Вот он снова, этот белый...»	423
Благовестие о рождении Исаака	423
«Настанет день — исчезну я...»	424
Памяти друга	424
На Невском	425
«Тихой ночью поздний месяц вышел...»	426
Помпея	427
Калабрийский пастух	427
Компас	428
«Покрывало море свитками...»	428
Аркадия	429
Капри	429
«Едем бором, черными лесами...»	430
Первый соловей	430
Среди звезд	431
«Бывает море белое, молочное...»	431
Падучая звезда	432
«Море, степь и южный август, ослепительный и жаркий...»	432
Портесса	433
Заклинание	433
Молодой король	434
Кобылица	435
На исходе	436
Гадавые	436
Эллада	437
Рабыня	437
Старая яблоня	438
Грот	438
Голубь («Белый голубь летит через море...»)	439

Семнадцатый год	439
Узоры	440
Змея («Зашелестела тонкая трава...»)	440
«Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны...»	441
«Как много звезд на тусклой синеве!...»	441
«Вид на залив из садика таверны...»	441
«Ропля снег, проходят тучи...»	442
Лупа	442
«У ворот Спона, над Кедропом...»	443
Эпитафия («Па земле ты была точно дивная райская птица...»)	443
Воспоминание	443
Волны	444
Ландыш	444
Свет пезакатный	445
«О радость красок! Снова, снова...»	445
«Стали дымом, стали выше...»	446
«Равный, чуть видный рассвет...»	446
«Смятенье, крик и визг рыбалок...»	447
«Мы рядом шли, но на мели...»	447
«Белые круглятся облака...»	447
«Мы сели у печки в прихожей...»	448
«Сорвался вихрь, прочтал из края в край...»	448
«Осенний день. Степь, бляка и корыто...»	449
«Щеглы, их зов, стеклянный, неживой...»	449
«Этой краткой жизни вечным измененьем...»	450
«Как в апреле по почам в аллее...»	450
«Звезда дрожит среди вселенной...»	451
Восход луны	451
«В пустом, сквозном чертоге сада...»	452

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧАВШИЕСЯ И. А. БУНИНЫМ В СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

Над могилой С. Я. Надсона	455
Из «Вечерних дум»	456
Последние дни	457
«Пустынные поля, пейзажи деревень...»	458
Первый снег	459
Буря	459

В темную ночь	460
«О да, от злобы я молчу...»	461
На хуторе («Опять кругом печалью веет...»)	461
У залива	462
В лесу	463
Звезда Морей	463
Горный путь к морю	464
Первая любовь	465
При свече	466
Сталь	466
В арабской деревне	467
Се жених грядет...	467
«Лик прекрасный и бескровный...»	467
Невеста («Косоглазая девушка, пожги скрестив...»)	468
По течению	469
На нубийском базаре	469
Вепчик	470
«Ночь и алые зарницы...»	470
Ночной путь	471
Бред	471
Отрывок («Старик с серьгой, морщинистый и бритый...»)	471
Портрет («Бродя по залам, чистым и пустым...»)	472
«Луна над шумною Курюю...»	472
«Земной, чужой душе закат!...»	473
«Звезда, воспламеняющая твердь...»	473
«Гор сирепевых кручи встают...»	474
Из ранних редакций	477
Примечания	503

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
БУНИН

Собрание сочинений, т. 1

Редакторы

Г. Бажанова, А. Козловский,

Художественный редактор

С. Данилов

Технический редактор

Г. Каукина

Корректоры

Р. Пунза, А. Юрсева

Сдано в набор 10/VI 1966 г. Подписано
к печати 3/IX 1966 г. Бумага 81 ×
108¹/₂ = 18,625 печ. л. 31,29 усл.
печ. л. 25,915 рч.-изд. л. + 1 вклейка =
26,966. Тираж 210000 экз. Заказ № 2675.
Цена 90 коп.

Издательство

«Художественная литература»

Москва, Б-66

Ново-Восманиная, 19.

Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати.
Москва, Ж-51, Воровая, 28.

